



ХАНТЫЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



УЧЕБНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

Часть IV

Ханты-Мансийск
2011

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок



ХАНТЫЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебная хрестоматия

Часть IV

Ханты-Мансийск
2011

УДК 82'282

ББК 83.3 (2Рос=Хат)

X 19

ISBN 978-5-9611-0069-3

Рецензенты:

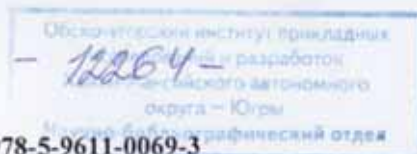
Соловар В. Н., кандидат филологических наук, доцент

Андреева Л. А., кандидат филологических наук

Сподина В. И., кандидат исторических наук

X 19 Хантыйская литература : учебная хрестоматия : [в 4-х частях] :
часть IV / сост. Е. В. Косинцева. – Ханты-Мансийск : ООО
«Доминус», 2011. – 385 с.

Сборник содержит тексты произведений писателей-ханты и задания к ним, которые помогут освоить основные направления развития хантыйской литературы, выявить общие тенденции ее развития, проследить индивидуальные особенности каждого автора. Хрестоматия предназначена для школьников, студентов и всех, кто интересуется хантыйской литературой.



ISBN 978-5-9611-0069-3

© Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 2011

© Оформление, ООО «Доминус», 2011

УДК 82'282
ББК 83.3 (2Рос=Хат)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ АЙПИН.....	5
Медвежье горе.....	5
Лебединая песня.....	8
Конец рода Лагермов.....	15
Клятвoprеступник.....	31
Осень в твоём городе.....	53
В мир вечного покоя.....	59
Вопросы и задания.....	72
Красная Нарта.....	75
Вопросы и задания.....	93
Я слушаю Землю.....	94
Вопросы и задания.....	147
Божья Матерь в кровавых снегах.....	148
Вопросы и задания.....	304
ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА ЛОНГОРТОВА.....	306
Плохая мать. Атам анки (Сказка, рассказанная моей бабушкой).....	306
Ведьма и Сказочница.....	310
С неба спустившаяся девушка.....	321
Золотой Бог-Отец.....	328
Свадебный аргиш.....	336
Вопросы и задания.....	349
ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА ШУЛЬГИНА.....	351
Мой Белый стих.....	351
Вьюга.....	351
О! Весна, весна!.....	352
Очаг любви.....	353
Смерть.....	354
Зов реки.....	355
Черемуха.....	355
Жизнь.....	356
Жизнь – это река.....	356
Вопросы и задания.....	357
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА НАКОВА (СЯЗИ).....	358
Когда улыбаются звезды.....	358
Вопросы и задания.....	383
Литература.....	384

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели! В руках у вас четвертая часть учебной хрестоматии, в которой представлены произведения поэтов и прозаиков хантыйской литературы. Книга бесценна сама по себе, так как в ней сосредоточены знания и талант людей, формирующих своим мастерством историко-литературный процесс целого этноса.

В четвертую часть учебной хрестоматии вошли произведения таких авторов, как Е. Д. Айпин, З. В. Лонгортова, Л. Я. Шульгина, Ю. Н. Накова (Сязи).

В книгу включены поэтические и прозаические произведения авторов, а также представлена литературная обработка фольклорных текстов.

Каждый раздел книги, разделенной по персоналиям, завершается вопросами и заданиями, которые помогут:

- * освоить основные направления развития хантыйской литературы;
- * выявить общие тенденции ее развития;
- * проследить индивидуальные особенности каждого автора;
- * раскрыть своеобразие жанра на материале хантыйской литературы;
- * представить разнообразие тем и мотивов хантыйской литературы;
- * проанализировать систему образов и язык произведений.

Отдельно следует сказать слова благодарности рецензентам – к. филол. н., доценту В. Н. Соловар, к. филол. н. Л. А. Андреевой, к. ист. н В. И. Сподиной, – которые своими отзывами подержали столь важное и нужное начинание.

ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ АЙПИН

МЕДВЕЖЬЕ ГОРЕ

Вот уже третий день мы преследуем медведя-шатуна. Зверь попался матерый. Не раз догоняли, но на выстрел не подпускал. Сколько сырых ночей придется коротать под открытым небом?! Сколько будет еще костров и привалов? Одна надежда на деда Ефрема – лучшего медвежатника нашего рода.

В сумерках, когда глаз теряет след на снегу, мы распрягаем усталых оленей и разводим жаркий костер. Наскоро ужинаем, кормим измученных хвостатых, сушим мокрую одежду и обувь, развешиваем у огня оленью упряжь и арканы. Потом, угомонившись, второй раз завариваем крепкий ароматный чай. Осенний вечер длинный – его надо скоротать. И тут наши взоры обращаются на седобородого деда Ефрема.

– Ну, Старый Человек, что-нибудь нам расскажи... – просим мы, молодые охотники.

Дед молча набил табаком трубку, потемневшую от времени и дыма. Не спеша прикурил от красного уголька и выдохнул сизое облако дыма. Проследил зорким оком, как дым поднялся и растворился в темном небе.

Отблески костра режутся на серебристой голове Деда, освещают суровое лицо, перечерченное глубокими морщинами.

Потрескивает огонь.

На сосновых поленьях посипывает смола.

Мы терпеливо ждем.

– Шатун – это не обычный лесной зверь, – начинает наконец дед Ефрем. – Это проклятый самим богом медведь. Оленя ест. Огня не боится. Человека может кончить, потому как бог не помнит его – вот он и грешит...

Дед помолчал, потом добавил:

– Ой-ей, много-много беды может наделать. Поэтому, если взял его след, нужно идти до конца...

И боровые сосны словно придвинулись к нашему костру, притихли, перестали меж собой шептаться. Им тоже, видно, интересно, что поведает нам бывалый таежник.

– Шатуна надо отличать от хорошего медведя, – проговорил Дед, не обращая на нас внимания. – Медведь, как и человек, бывает разный...

Помолчал он как бы в раздумье, посопел трубкой, потом неторопливо начал свой рассказ:

– То было в пору моей молодости. В одиночку промышлял зверя и птицу, всякое со мной случалось. Тайга-то, она какая? – горазда на разные неожиданности. Много слышал и пережил на своем веку, но такое только один раз видел...

Мы теснее придвинулись к Деду и затаили дыхание. Лайки-медвежатницы за костром, услышав голос старого охотника, наострили уши и, казалось, следили за каждым его движением. Олени, что копытили неглубокий снег возле нартов, теперь мирно жевали жвачку и прислушивались к легкому дыханию тоже притихшего соснового леса и говору почтенного человека.

– Жили мы тогда на болоте, на берегу озера Большой Вирсани, – вспоминал Дед. – За табаком да за чаем ходили на Аганреку по Бору Зимних Домов. Кто бывал там – видел тропу. Видел и песчаные поляны на окраине бора. Летом такие пески очень любят дикие олени. Они так накаляются, что мошкара и комары не выдерживают зноя – крылышки сохнут. Вот олени и спасаются там от гнуса. В жаркий летний день я возвращался домой. Подхожу к пескам, гляжу – медведица! Да не одна, а с маленькими деточками. За корягой притаилась. Смотрю, что же дальше будет. Мать цап за шкуру медвежат, трясет и шипит, словно что-то внушает несмышленьшам. Затем оставила их, а сама крадется к поляне, где олени лежат. Медвежата присели, чернеют, как обгорелые пеньки. Только звездочки сверкают черными ягодками. Забавные такие! Видно, не поймут, почему мать не берет их с собой. Поерзали немного и не выдержали – когда мать скрылась в кустах, пошли следом. Но тут под лапкой медвежонка треснул сучок. Мать в тот же миг вернулась. Грозно оскалилась, но не зарычала – побоялась испугнуть оленей. Оглянулась вокруг, увидела валежник. Подняла одной лапой конец замшелого дерева и сунула под него своих детей. Пусть, мол,

побарахтаются, пока на охоту схожу. Сама – снова к поляне. Я привстал, вижу: медведица вскинулась на задние лапы и навалилась на оленя. Поймала добычу.

Стадо как ветром сдуло.

Разбежались олени.

На поляне остались лишь медведица со своей добычей.

Ну, думаю, пора уходить. Я тут лишний.

Медведица немного постояла над убитым оленем, будто размышляла, прикидывала. То ли добычу тащить к детям, то ли детей привести к добыче. Как лучше сделать? Постояла еще немного и вернулась к деткам. Но что такое?! Медведица подняла валежину – а детки-то не шевелятся. С небольшим шумком, похожим и на бормотание, и на мольбу, она давай их тормошить и обнюхивать. Движения все быстрее, шум – все громче. Она неприкаянно туда-сюда, влево-вправо, вперед-назад. Что-то неладное случилось. Детки все неподвижны, все безмолвны. И тут медведица-мать заревела на весь лес:

– Бу-ху-ху-ууу!!!

Какой это был рев!

Деревья, показалось мне, и то заплакали.

А у меня аж сердце упало. И ноги пропали, будто убежали куда. Словно окаменел я, шелохнуться не могу. Только глаза мои все видят, да ум все это укладывает в память.

А медведица-мать вихрем крутанулась по лесу туда-сюда и бросилась на дерево. Как полоумная, ломая сучья, полезла на большую сосну.

Что затеяла?!

Может, думаю, рехнулась с горя. Детки, ведь, как-никак. Ничего я не успел сообразить: с ревом она грохнулась с этой сосны. С самой макушки. Упала около мертвых медвежат. Моему разуму и телу совсем плохо стало. Я бросился к ней. Она застонала, вернее, зарыдала, как человек-мать, а потом звезды ее стали медленно гаснуть в страшной тоске. Вскоре она была уже мертва. Видно, сломала себе хребет...

Замолк дед Ефрем, наклонил седую голову. Мгновение сидел неподвижно, потом пососал потухшую трубку. Молча взял головешку, молча прикурил. Затем отыскал на небе Большую Медведицу, прикинул время.

Пламя притухающего костра делало его еще более мудрым и таинственным.

Молчали люди.

Молчали сосны.

Молчали звезды на небе.

Молчал наш костер, догорал наш костер. Мы не догадывались подкинуть в огонь смолистого сушняка. А дед Ефрем был занят: набивал табаком свою древнюю трубку.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Утром она проснулась от лебединого крика. Птицы трубили на болотном озере. И хотя до озера было недалеко, ей казалось, что лебеди где-то рядом, за прокопченными стенами избушки, — так отчетливо доносились их крики. Они играли словно на серебряных трубах, они звали. Хотелось выйти и взглянуть на них.

Тревожила и осень: сентябрь донага раздел деревья — лес насторожился, стал чистым и звонким. Прозрачными были воздух и утро. Все стало тонким, трепетным, воздушным. Ничто не задерживало звуки, ничто не искажало их. Сколько в них грусти! Если внимательно прислушаться, уловишь все: и тяжесть предстоящего неведомого, далекого пути, и тоску по родному озеру, и надежду на возвращение, надежду на жизнь...

Девушка лежала в тепле спального мешка и слушала лебедей. Слушала так долго и внимательно, что стала понимать эту минорную музыку осени. До нее ясно доходило то, что играли лебеди. И мысль, что ей доступен язык этих гордых птиц, радовала ее. Никто до нее так терпеливо не прислушивался к голосу птиц, поэтому и никто не понимал их. И вот она первая...

На ее бронзовом от ровного загара лице блуждала улыбка. Улыбка до того легкая, что, казалось, ее может вспугнуть любой неосторожный шорох, любой посторонний звук. И тогда бы нежная кожа быстро разгладилась — ни морщинки, ни складочки, будто бы не улыбалась вовсе. Но никто не осмеливался нарушить таежную тишину, никто, кроме озерных лебедей. А они не мешали ей.

Как хорошо, что уговорила Диму взять ее с собой в это царство тишины и звуков! И уезжать никуда не хочется. Так и жила

бы весь век в этой прокопченной таежной заимке с ее лебединой музыкой и запахами осени...

Ей казалось, что так и будет. Что может помешать ее мечтам?!

Тонко скрипнула половица. Это поднялась бабушка Дарья — махонькая, но необыкновенно проворная старушка-хозяйка. Первым делом она затопила чувал — потянуло легким дымком. Наконец двери сказали, что хозяйка вышла на улицу. Если хозяйка встала, значит, половина седьмого — хоть часы проверяй. У нее все приготовлено с вечера: береста для огня, дрова, вода, спички. Утром только шаг — и оживает весь дом в одно мгновение.

Попозже, кряхтя и поохивая, поднимается дед Архип. Шумно выковыривает из трубки нагар, проволочкой прочищает мундштук. Потом не спеша набивает табаком трубку, чиркает спичкой — слышится посапывание. Старик молчит. На подогнутых ногах сидит он на лежанке, свесив седую голову с редкой бородкой, и курит свою трубку. Курит он долго — минут пятнадцать.

Девушка сейчас не видит его, но знает, что морщинистое лицо отвердело в глубокой задумчивости. Подслеповатые глаза прикрыты бледными веками. В этот миг он никого не видит и не слышит.

Лучик осеннего солнца через маленькое оконце проникает в избушку. Лебединый крик становится глуше. Потом медленно растворяется в наступающем дне и глохнет.

Выкурив трубку, дед Архип будит внука Диму. Голос у него резкий, не стариковский:

— Вставай, охотник!

— Тут тебе не город, вставай! — тонко вторит ему бабушка Дарья.

— Привык в городе-то...

— Звери-птицы далеко уйдут.

Дима мгновенно проснулся и тотчас же встал, зная, что дед не любит, когда нежатся в постели. Его румяное ото сна лицо с тонкими, правильными чертами и чуть-чуть раскосыми глазами ожило. Потянулся до хруста в суставах и, направляясь к умывальнику, поддел деда:

– Такое солнце! Хочешь на охоту, дедок, а?! Старик только махнул сухой кистью: не болтай, мол, вздор, я уже отходил свое. Потом сказал негромко:

– Че кричишь, как ворон?

– А что?

– Марину разбудишь.

– Проворная жена раньше мужа встает! – вставила бабушка Дарья.

– Да не жена еще, – понизив голос, поправил внук.

– Кто же тогда?

– Невеста. Разве не ясно?

– Что жена, что невеста – все одно... – не сдавалась бабушка.

– Хватит! – отрезал дед. Внук с бабушкой примолкли. – Хватит, – повторил дед. – Дайте человеку выспаться... – Помолчал дед, потом добавил: – Выйдет замуж – успеет еще намаяться.

Бабушка Дарья с удивлением взглянула на своего старика и тут же, хитро усмехнувшись, заторопилась:

– А я че говорю?! Неужто я одна с хозяйством не управлюсь?

Всю жизнь управлялась, а тут...

Разговор на этом прервался. Дима вышел на улицу. Бабушка хлопотала у чучала. Дед сердито сопел. А Марине стало неловко, и она притворилась спящей.

В доме стало тихо. Прошло сколько-то времени. Стукнула дверь – это вернулся в избушку Дима. От него едва уловимо пахло росой, сосновой хвоей и свежестью осеннего утра. Глухариным пером он пощекотал девушку по носу и шепотом пропел:

– Проснись, Маринушка!..

Она улыбнулась и, не открывая глаз, чмокнула его куда-то в небритый подбородок. Спросила тихо:

– Слышал лебедей? Не приснились?

– Лебеди? Какие лебеди?

– На озере... Утром рано...

– А-а. Я ведь сплю как бурундучок!..

– Знаешь, Дима, я, кажется, понимаю их...

– Ну, ты фантазерка, оказывается! – перебил он. – Скоро разговаривать начнешь с ними. – Девушка промолчала. – Ладно, поднимайся, – улыбнулся Дима. – Зам-мечательная сегодня погодка! Погляди!

После завтрака Дима ушел на охоту, он целыми днями бродил по тайге со своей мелкокалиберкой. Приносил рябчиков, изредка косача или копалуху. Как-то и Марина ходила с ним на охоту. Наткнулись на выводок рябчиков. Охотник так увлекся, что позабыл про свою спутницу. Когда спохватился, едва разыскал ее. Больше с ним она не ходила. Теперь она держалась за бабушку Дарью – собирала бруснику, грибы, делала снимки. Искала растения для гербария, ловила разных жучков и насекомых. Скучать было некогда.

Дед Архип ловил рыбу. На охоту он уже не годился, а в снастях еще разбирался. После рыбалки он садился на чурбачок возле заимки и, дымя трубкой, смотрел на реку. По ней изредка проходили рыбацьи моторки.

Из-за реки доносился далекий гул вертолетов и самолетов – там стояла какая-то экспедиция. Дед вырывал изо рта трубку, зажимал ее в костлявом кулаке как волшебную палочку, тыкал ею в сторону реки и глухо ворчал:

– Рру-бят!..

Он всегда с разной интонацией произносил это слово: с нестариковской злостью, с обреченностью усталого человека, с детским удивлением, с надеждой на определенный ответ. Но никогда – равнодушно!

Марина считала его добрым. Он любил поговорить с ней: знал много всяких небылиц про тайгу, про зверей и птиц. Девушка подумала однажды, что он видит лучше всех зрячих. Может быть, и вправду видит лучше?! Ведь человеку помогают жить не только глаза...

Вечером на озере снова затрубили лебеди. Звук теперь был далеким и неясным. Его приглушал поднимающийся сырой туман. Марина слушала молча. Задумчивые серые глаза ее остановились на мутном окошечке заимки. Потом, будто очнувшись от глубокого сна, сказала решительно:

– Видеть хочу... лебедей!

Дима подавился дымом сигареты и закашлялся. «Про фантазию начнет или зоопарк, – подумала девушка. – Или просто пожалеет, что взял с собой». Но дед Архип опередил внука.

– Верно, доченька, – была в тайге и не видела самое необыкновенное! веско заметил он. – Утром ранехонько я вас подниму,

посмотрите. Озеро недалеко тут. Кормятся они там, отдыхают перед дальней дорогой.

– А через топь на болоте как она перейдет? – поинтересовался Дима.

– Так же, как и ты! – отрезал дед. – Серdito попыхтел трубкой и добавил: – Совсем тебя, видно, город попортил, ох-хот-ник!

Поутру, когда птицы еще не осмеливались разбудить тайгу, дед поднял внука и Марину.

– Лебеди кормятся на Северном заливе, где водоросли у самого берега, – наставлял он. – Обойдете озеро, выйдете прямо на них. По утрам они бывают у самого бережка. Через озеро-то ничего не увидит наша деточка, кроме белых шариков. И то не разберешь – то ли лебедь, то ли пена.

Утро прозрачное, росистое и холодное. Шли сначала по сосновому бору, потом вышли на болото. Через топь перебрались по кочкам и скользким настилам, со слегами на руках.

Между деревьями в лучах восходящего солнца засеребрилась гладь озера.

– Теперь поползем! – сказал Дима.

– Зачем?

– Чтобы не увидели.

– А-а...

– Чтоб поближе подобраться...

Но Марину сейчас волновало другое. Она одними губами прошептала:

– Тиш-ше...

– Да они плохо слышат.

– Совсем не услышат?

– Зато они хорошо видят.

– Да?

– Да, главное, чтоб не увидели.

– А я ползать не умею... по болоту.

– Упрись на локти.

– Попробую...

– Ну, пошли.

Между серых болотных кочек доползли до последних кустиков. Дальше метров тридцать до воды – чистый берег с реденькими пучками осоки.

Марина, затаив дыхание, выглянула из-за куста: стая висела над водой со сложенными крыльями. Не плавала, а висела. До того птицы изящны, легки и чисты. Ничего белее в жизни она не видела. Озеро вдруг стало светлым-светлым, а берега раздвинулись до бескрайности.

Лебеди заслонили собой весь мир. И пред этой светлой бескрайностью защемило сердце, сладко и тревожно, словно оно оторвалось и парило где-то в груди – вот-вот выскочит. И тогда ты станешь таким же светлым, и чистым и поднимешься в бескрайнюю высь – в царство света и солнца. И там постигнешь что-то такое, такое... непостижимое. Может быть, остановишь мгновение, остановишь плавное течение времени... Так щемит сердце только раз в жизни.

А лебеди, лебеди... Одни плавали в сторонке с настороженно поднятой шеей, охраняли стаю. Видно, часовые.

Ближе всех к берегу кормилась птица с красным ободком у основания черного клюва и бесстрашными блестящими глазами. Она с головой уходила в воду, будто делала стойку. И так стояла до тех пор, пока не находила лакомство. Вынырнув и вытянув шею, тонкую и беспомощную, глотала добычу. Затем выгибала шею дугой и водила клювом по-над водой, словно высматривала что-то. Тут к ней подплыла другая птица. Наверное, друг. Он потянулся к ней клювом – видно, хотел поцеловать. Но лебедица мотнула гордой головой: не мешай, мол, нужно силы набирать перед дальней дорогой. Тот обиженно опустил голову, но далеко не отплывал. А лебедица осмотрелась, на миг замерла с выгнутой шеей. Потом, успокоившись, смахнула с крыла пылинку и вновь нырнула за пищей.

Марина спохватилась, легонько вытащила фотоаппарат и нацелилась на лебедицу.

Грохнул выстрел. Из рук девушки выпал аппарат.

Шум воды. Хлопанье крыльев. Утробный стон. Лебедица дважды хлопнула выгнутым крылом и, беспомощно волоча раненое, печально трубя, рванулась на середину озера.

На взлете в лучах восходящего солнца стая превратилась в золотисто-серебряную арфу, заигравшую тревожно-печальную мелодию озер и болот. А потом лебеди стали терять очертания в каких-то туманных наплывах, словно растворялись. Только трубные звуки доносились отчетливо и ясно. Затем в эту минорную музыку ворвалось что-то постороннее. Его растерянно-недоуменное:

– Я же охотник... пойми...

И ее – яростно-негодующее:

– Ты... ря... рряб... ряб-чишник!..

Гребенка соснового бора за озером проколола шар встающего солнца. Оно запуталось в ветвях-колючках.

На обратном пути, когда они переходили через топь, у девушки сердце уже не замирало, не билось трепетно перед бездонной черной пастью болота.

Весь день прошел у нее в каком-то полусне, все к чему-то она прислушивалась. Но был сильный ветер. Бор ворчал глухо и басовито: поглощал все шумы тайги.

Марина утешала себя: лебедица залечит свою рану и улетит. Но эту призрачную надежду теснили сомнения: вот-вот ударят морозы...

Утром Марина проснулась от гнетущей тишины. Вдруг услышала едва уловимую игру воздуха на иглах старой сосны, стоявшей близ избушки. Неожиданно тишину разорвала лебединая песня. Вовсю затрубила стая. Но ее мелодию пронзал другой звук. Крик, полный отчаяния и безысходной тоски. Он был на тон выше всех остальных звуков. Это плакала раненая лебедица. Сколько грусти, сколько тоски и надежды! От этой песни бросало в дрожь.

Девушка закрыла ладонями уши. Но даже так она слышала лебединую песню. Последнюю, прощальную. Она слышала каждой клеточкой своего тела, начиная с маленьких ступней и кончая длинными, хорошо развитыми пальцами рук с матово-темной от загара кожей. Но особенно боль этой песни усиливалась на девственных, никем не целованных грудях...

Песня безжалостно пробивалась к ней, звала далеко-далеко, в неведомую страну. Избушка вдруг поплыла, накренилась, будто корабль в сильный шторм. Девушка обхватила голову руками и зажмурилась до боли в глазах.

Вечером дед Архип мрачно сообщил опешившему внуку, который только вернулся с охоты:

– На попутной моторке. Уехала на попутной Марина-то, да!

Вздохнул, жажал в костлявом кулаке трубку так, что побелели пальцы, ткнул ею в сторону реки и добавил:

– Улетела наша лебедушка...

Москва, 1976 год

КОНЕЦ РОДА ЛАГЕРМОВ

Маремьян Лагерм попал в эти края давно, когда глаза видели лучше лебединых, слух был острее, чем у дикой чернобурки, а в мускулах чувствовалась твердость лезвия копья – без ружья выходил на медведя. Река щедро кормила рыбой, а в прибрежных урманах водились и зверь и птица. Место глухое, необжитое, зверье нагуленное, непуганное – привольно жилось. Только далеко в низовье реки находился маленький поселок, где были пункт по приему пушнины, магазин, школа и десяток-другой жилых домиков рыбаков к охотников. Оттуда Маремьян привез себе жену, срубил избушку. Жил он отшельником. Слыл человеком нелюдимым, угрюмым, с темным прошлым. Ходили слухи, будто пришел он с побережья Оби в смутные двадцатые годы. Жена родила ему семерых сыновей и дочь. Старший сын и дочь умерли во младенчестве. Оставшихся в живых сыновей он вырастил смелыми и удачливыми охотниками. Славились они как меткие стрелки и непревзойденные следопыты. Но двоих проглотила война, одного заломал медведь, другой погиб на дальневосточной границе. Остался самый младший сын – Проконий, единственный. Он стал известным в округе охотником. Жизнь шла своим чередом. Старая Анна с молодой невесткой Машенькой занимались хозяйством по дому, а мужчины – промыслом. Но обычный бег времени неожиданно прервался...

За тремя песками¹ от избушки Маремьяна вырос новый поселок лесорубов – Чистоборск. Говорили – лес будут корезить. А еще ниже по течению – песков и пряниц восемьдесят надо проехать – нефтеразведчики основали свой город. Там землю таежную станут буравить.

По некогда тихой реке засновали быстроходно громкие дюралевые шлюпки.

В тихий летний дом Лагермов зачастили гости: то за рыбой и мясом, то за снастями рыбацкими. Но больше всего ценились меха.

¹ Песок – здесь: песчаная речная коса в Сибири, средняя протяженность которой километр-полтора.

В это лето повадился сюда главный лесничий из Чистоборска Никита Никитич Щепкин, добродушный коротыш с блестящей лысиной. Охотничьи собаки люто ненавидели лесничего и, когда тот появлялся, поднимали яростный лай, наверное от того, что от него всегда разило спиртным. «Мик! – сказал Маремьян. – Пусть будет так!»

В тот вечер Мик приехал с высоким белокурым парнем неопределенных лет. Оба подвыпившие. Маремьян быстрым цепким взглядом окинул незнакомца: его красивое возбужденное лицо было помятым и красным от выпитой водки. Глаза ледяно-голубые, мертвые. Казалось, плесни туда воды – вывалится кусок льда. «Беспалый», – определил Маремьян, здороваясь с ним. – Без мизинца».

– Здорово, мужики! – Мик кричал так, словно все вокруг него были глухими.

– Здорово, здорово...

– Как поживаем, мужики?

– Живем помаленьку...

– Это вот Митрий! – представил Мик своего попутчика.

– Так скажи...

– Вишь, какой красавец!

– Ну...

– Мой новый помощник!

– Как варежки, ты их через каждый месяц меняешь, – заметил Прокопий, чинивший вершу перед домом.

– Этот надолго – твердый орешек!

– Твердый, значит?

– Да! – лесничий повернулся к помощнику. – Старик верно бачит, Митрий?!

– Старик знает, что бачить! – подыграл Беспалый.

– Ну, мужички, пошли в избу – мы вам кое-что привезли! – крикнул Мик.

Все двинулись к дому. Прокопий нехотя отложил в сторону вершу и присоединился к незваным гостям. Приезжие поставили на стол литр водки, попросили свежей малосольной рыбы.

Мик без умолку болтал и размахивал короткопальными ручищами. Лишь время от времени, прерывая себя, раскатисто похатывал, как мелкий бес.

Беспалый же изредка вставлял словечко, скалил зубы в не-раскрытой полуулыбке. Глаза его беспокойно что-то выискивали вокруг, ощупывали все предметы. «Что он вынюхивает, как лиса? – размышлял Маремьян. – Наверно, что-то ему очень нужно».

Тут Мик снова наполнил стаканы.

Из открытых окошек избышки вырывались невнятные фразы, бестолковый шум. Собаки наострили уши, потом глухо взвыли.

Лесничий подсел к Маремьяну:

– У тебя мотор поломался, говоришь?

– Да, не работает.

– Пойдем, я мигом сделаю!

– Ты же... пил.

– Ну и что?!

– Разберешь мотор, а собрать не сумеешь.

– Так я ж не пьян!

Мик проворно вскочил на ноги:

– Вишь, стою – не падаю!

– Вижу.

– А разбирать мотор не стану – так скажу, что барахлит!

– Это я сам знаю...

– Пошли, дружище! – Мик потянул хозяина за рукав. – Нет, стой! Дай, чмокну тебя, дружище!

У него была привычка – подвыпивши целовать всех подряд. Однажды Маремьянова медведевая собака чуть не откусила ему нос. Мик вздумал чмокнуть ее за то, что она удержала медведя, мясом которого он потом властью полакомился.

– Ладно, посмотри, – неохотно согласился Маремьян, чтобы отвязаться от него.

Они вышли на улицу. После их ухода нить беседы подхватил Беспалый, оборотился к Прокопию:

– Много в тайге соболя?

«Расставляет сети на зиму», – подумал Прокопий. Помолчав, он неохотно ответил:

– Раньше водился, теперь меньше стало.

– Отчего мало?

– Всякий зверь покой любит, тишину.

– Что, покоя не стало?

– Раньше один хозяин в тайге был – охотник, а теперь сколько?!
– Сколько?!
– Считаю: геолог, сейсмик, нефтяник, лесоруб... Все в лес идут – кому надо и кому не надо. С ружьем и без ружья...
– Соболь совсем не перевелся?
– Нет...
Беспалый, помолчав, жестко сказал:
– Мне позарез нужна дюжина соболей!
Прокопий ничего не ответил.
– Если деньги не нужны, могу достать все, что тебе надо...
Охотник будто не слышит.
– Хошь дюральку, лодку?..
Охотник молчит.
– Хошь «Вихрь» достану?
Охотник ни слова.
– Хошь бензопилу?
Охотник все молчит.
– Могу карабин! Кого хошь замочишь!..
Но охотник и на это не отреагировал.
– Может, техника какая нужна, а?! Говори, что хошь!..
Прокопий приподнял голову, перевел взгляд на собеседника.
– Ну... Ну-ну, давай!.. – подбодрил Беспалый.
И Прокопий серьезно, без всякой усмешки, медленно и тяжело отвесил свои слова:
– Мне вот позарез нужен вертолет!..
Беспалый в упор глянул на него ледяными глазами:
– Шутишь, что ль?
– Какие шутки!
– Зачем тебе вертушка?
– На дальние урманы летать...
– Тебе что – земли мало?
– Вблизи мало что осталось – все ваш брат-браконьер до срока выбивает... Вот вертолет пригодился бы...
Беспалый недоверчивыми ледяшками вцепился в охотника, протянул тягуче:
– Изгаляешься, что ль?..
На что Прокопий опять же с твердым лицом сказал неспешно:

– Ежели бы все охотники сдавали пушнину лесорубам, так государство, поди, давно бы развалилось...
– Зря стараешься: героя все равно не дадут – не та отрасль!
– Без всяких героев жили и проживем.
– Знаю: все равно ведь кое-что налево фугуете, мошенничаєте, коль навар есть.
– Мы не мошенники...
– Пожалеешь, что не мошенник! – пообещал Беспалый и положил на стол руку с неприличной картинкой-татуировкой.
Эта выставленная напоказ татуировка показалась Прокопию особенно оскорбительной и наглой, и он неожиданно вспылал: сдерживая внутренний огонь, резко бросил:
– Гротишь?!
– Пожалеешь!.. – многозначительно повторил Беспалый. – Мошенником легче прожить!
И тут Прокопий кивнул в сторону выхода:
– Это вот... дверь...
– Пожалеешь... – еще раз повторил Беспалый и вышел вон. В доме водворилась тишина.
Вдохнула старая Анна, мать Прокопия. Поднялась молодая хозяйка Машенька, начала убирать посуду со стола. Прокопий тоже встал, потоптался посреди пола и направился к выходу.
– Вершу нужно закончить и невод прибрать, – ответил он на вопросительный взгляд жены.
В это время Маремьян и Мик мирно копались в подвесном моторе, лежавшем на куске брезента.
Вдруг глухой дулет рванул вечернюю тишину.
Все бросились на берег.
Прокопий лежал наполовину в воде. Беспалый отчаянно дергал шнур стартера, но «Вихрь» не заводился.
У Маремьяна вмиг вышибло всю водочную одурь. Он подскочил к Прокопию и выхватил его из воды. Лицо сына стало берестяно-белым...
Речная вода всколыхнулась и алым пламенем лизнула берег.
Маремьян мгновенно почернел... Приложил ухо к груди сына и замер.
Мик бочонком носился по берегу, размахивая руками и пискливо кричал:

– Ружье! Ружье! Дайте мне ружье!

Беспалый бешено рванул шнур – мотор чихнул. В его руке осталась рукоятка от шнура. Он схватился за весла и поплыл к противоположному берегу. А там в несколько прыжков скрылся за деревьями. Тут Мик увидел катер, вынырнувший из-за поворота.

Маремьян оторвался от сына – в затуманенных глазах блеснула надежда: «Жив еще!»

– Неси тряпки! – вдруг заорал он на обезумевшую старую Анну, которая душераздирающе взывала. – Не вой, не покойник!

Старая рысцей помчалась к избушке. Она продолжала всхлипывать и выть, и древнее морщинистое лицо ее было совершенно сухим: выплакала все слезы за долгую и суровую жизнь. Вскоре она вернулась.

– За невесткой присмотри! – крикнул Маремьян, трясущимися руками перевязывая сына. – Перестань выть!

Он не терпел слез. Невестка Маша была в положении. И когда увидела мужа в окровавленной рубашке, мертвенно-бледного, подкосились у нее ноги – упала на желтый речной песок.

В суматохе не заметили, как причалил катер, из рубки вышел начальник лесоучастка Шнейдер.

Накануне они с Маремьяном собирались на рыбалку.

– Несите его в каюту! Да побыстрее! – крикнул Шнейдер, увидев Прокопия.

Мик вертелся у всех под ногами и, захлебываясь, рассказывал:

– Он его, наверное, в упор. Я, я... Меня там не было, ружье мое картечью... Мне ружье не дали, а то бы такого гада...

Катер круто развернулся и, оставляя за собой белые бурунчики, помчался к лесоучастку.

Молоденькая белокурая фельдшерица опустила руки и почти шепотом сказала:

– Я не могу, операция нужна. Скорее в район! И пить... Пить не давайте!

Шел девятый час вечера.

Радист, не выслушав до конца, отрубил:

– Нет, связь у меня в одиннадцать утра. Кто сейчас меня примет?

– Через другие станции попробуй! Можешь? – попросил Шнейдер. – Пойми, задержка даже на час...

– Человек может умереть, дубовая твоя голова! – взорвался лесничий Мик.

– А я тут при чем? Сказал же – завтра... А сейчас нет...

Неожиданно Маремьян с нестариковским проворством выскочил из-за спины Шнейдера и схватил радиста за грудки, прошипел, приподняв его:

– Как нет?! Как нет?!

Он вцепился в радиста с отчаянием загнанного зверя, который готов на все. Первым опомнился Шнейдер: он схватил Маремьяна за руки и вывел на улицу.

– Вот что сделаем, Маремьян, – заговорил он. – Я дам самый быстроходный катер, вези сына к геологам. Фельдшера возьмете. Там в экспедиции базируются вертолеты, дадут. Иного выхода нет. Выиграете десять часов...

Из небольшого юркого «костромича» выжимали все. Механик-моторист что-то смазывал, чистил, закручивал, прикладывая ладонь к корпусу двигателя, прислушиваясь к его дрожанию.

Северная ночь настолько коротка и светла, что не зажигали фару. Гул мотора тревожным эхом отзывался в спящей тайге.

В каюте на жестких нарах в бреду лежал Прокопий. Маремьян, не доверяя молоденькой девушке-фельдшерше, ни на минуту не отходил от сына. Сын с трудом стонал, губы запеклись, лоб покрылся испариной. Отец прикладывал к его горячему лбу мокрые бинты. Когда они нагревались, он убирал их. Смачивал водой запекшиеся губы. Иногда сын, порывался встать, скрипел зубами. Отец успокаивал его, что-то шептал ему, обещал, умолял, хотя вряд ли потом мог вспомнить то, о чем говорил.

К утру сын очнулся – в глазах появилось осмысленное выражение. Он долго смотрел на отца, губы пытались вытолкнуть невнятные, добытые мукой, слова:

– Сын... бу...

Отец кивнул и попытался улыбнуться: мол, отлично все понял. Но потом до него дошел истинный смысл этих слов, и он ужаснулся: может быть, это последнее дыхание сына, слова прощания... грань между жизнью и смертью. Иначе зачем просить, для чего? И вдруг так горько стало отцу, словно сердце

прищемило глыбами льда и оно стало медленно-медленно плющиться. И само собой, без его воли, на заросшую щеку выкатилась слеза, выжигая и вспахивая глубокую борозду. Сын, кажется, заметил это, хотел успокоить отца:

– Па-а...

Отец замотал головой. Он заметил, что глаза сына снова туманятся, что он вот-вот потеряет сознание. И тогда отец заговорил. Ему надо многое сказать сыну, его прорвало – говорил захлебываясь, без остановок. А что говорил – не мог потом припомнить. Может быть, оправдывался за свою нечаянную слезу, которую не удержал потому, что умирает последний сын – продолжатель рода, умирает на его руках, а он беспомощен перед костлявой старухой. Старшие сыновья погибли далеко от дома, и он не видел, как они умирали. Поэтому он выдержал их гибель, перенес. И надежда на своего младшего, бывшего всегда под рукой, помогала: передал ему весь свой жизненный опыт и свою мудрость, вложил в него свою душу. Быть может, говорил об отцовском горе. Оно не легче материнского. Мать выплачется – ей легче станет. А отцу нельзя плакать, мужчины не плачут, тайга презирает тех, кто плачет. У отцовского горя нет выхода – оно жжет изнутри и порою все выжигает... Возможно, он говорил молитвы, обещал богу в жертву все, что у него было, и даже собственную жизнь, – лишь бы Верховный спас последнего сына. Если в ураган рухнет старое дерево – его не жалко, отжило свое, а когда погибает молодое неокрепшее деревце – погибает сама жизнь.

Сын застонал тяжело, с надрывом. Отец замолк.

Сын давно потерял сознание и не слышал отца. Голова Маремьяна сникла, отвалилась на грудь, словно шея отказалась держать ее – тяжелую и лохматую, она семь десятков была черная как смоль, а теперь за одну ночь подернулась седым пеплом.

...Речной кулик пропел что-то на своем птичьем языке, и взошло солнце. Катер развернулся и мягко приткнулся к причалу. Городок геологов спал сладким предутренним сном.

Маремьян побежал к начальнику нефтеразведочной экспедиции, человеку лет пятидесяти с иссеченным морщинами лицом, многое повидавшему на своем веку. Тот сам разбудил ко-

мандира вертолета, наказал, чтобы тот на подходе вызвал санитарную машину.

Вертолет рванулся в небо.

...Заряд разорвал печень. Операция длилась четыре часа. После этого еще одиннадцать часов жизнь боролась со смертью. Но исход этой борьбы не мог решить ни Маремьян Лагери, отец семи сыновей и дочери, ни врачи, ни бог. Все были бессильны.

На следующий день Маремьян вернулся домой. Старуха Анна кое-как выдавила:

– Машенька родила...

– Кого?! – встrepенулся Маремьян.

– Сына... мертвого...

Они взглянули друг на друга и замолкли.

Время безжалостно и жестоко, как и судьба. Они остались с тем же, с чем встретились полвека назад. Только тогда им было по двадцать и все было впереди, а теперь по семьдесят и все, все уже позади.

На полуглиссере приехал вечно сонный участковый лейтенант Петушков. Осмотрел место происшествия, повелел замусоленным карандашом по записной книжке, такнул, дважды чертыхнулся и собрался уезжать.

– Никуда не денется, – сказал он, заметив хмурый взгляд Маремьяна. – Два дня уже прошло. Еще через два кончатся патроны, комары не дадут житья. Сам придет, куда он денется!

Участковый зевнул, вполз в кабину и был таков.

Маремьян сидел на перевернутом обласке и смотрел на темную речную воду. Трубка давно потухла. Старуха беспокойно наблюдала за ним. Она не знала, о чем он думает. Но по тому, как голова его клонилась все ниже и ниже, она догадывалась, что думы мужа тяжкие и мрачные. Наконец он сказал:

– Приготовь сухарей на четыре дня.

– Ох-хо-хо! Что задумал опять? – запричитала старуха. – Головушку потеряешь свою! Ох-хохо!..

Но все же отыскала заплечный мешок. Ей еще ни разу не удавалось отговорить Маремьяна. Что западет ему в ум – хоть шею свернет, но не отступится. Таков он был, особенно в молодые годы.

...По едва заметным признакам таежник находил след человека, который намного грубее и заметнее наметанному глазу, чем звериный в чернотропье. Сломана ветка, ободрана кора, осыпаны цветки и примяты мхи – все это о чем-то говорит, это язык тайги.

Беспальный шел прямо на юг, к Оби. Там большой поселок, отделение совхоза. Туда и метил преступник. Его нужно догнать на водоразделе или на худой конец в поселке. Если он, Маремьян, опоздает, то преследуемый скроется, вырвется из тайги. Вырвется туда, где он, Маремьян, безвластен и бессилен, потому что его сила только в знании тайги, ее законов. А там он кто?!

Не давала покоя мысль, что убийца сына, как и он, Маремьян, видит солнце и небо, вдыхает хвойный запах. Эта мысль острой болью вклинивалась в мозг. Имеет ли право на все это тот, кто сгубил жизнь? Он сам себе подписал приговор. Сам, никто не вынуждал. Значит, я должен судить его во имя единственного сына и внука. Взять грех на душу нелегко, но и не взять... еще тяжелее. Тяжко бремя усопшего, но во сто раз тяжелее оно у живущего на земле...

Жизнь за несколько соболиных шкур? Человеческая жизнь... разве это мыслимо? Человек превратился в зверя... только более опасного, чем лесной хищник.

Маремьян шел всю ночь. Было светло и мошкары меньше, чем днем. След Беспалого все время тянулся по левому берегу ручья. Видимо, опасаясь заблудиться, тот не отходил от воды.

Когда солнце выбралось на верхушки хмурых елок, Маремьян сделал первый привал. После кружки крепкого чая покормил собаку. Затем натянул полог в тени, в нескольких шагах от солнечных лучей, и задремал. Солнце разбудило его вовремя, как раз в намеченный срок.

В полдень Маремьян услышал лай своей собаки. Она твякнула несколько раз и замолкла. Он насторожился. В голове лайки не было ни озлобления, ни беззаботности, ни игривости, а будто только удивление: погляди, хозяин, что я нашла. Маремьян снял с плеча ружье, раздвинул кусты. У ручья лежала вздувшаяся лосиная туша. Над ней висел рой мух. Маремьян подошел к кострищу, что оно скажет. Пепел есть, а ветрено было вчера ночью. Значит, был здесь днем. Пустая бумажная табакерка – ку-

рево кончилось. Мясо жарил, с собой взял. Спал недолго, животом болеет... С лосихой, однако, погано обошелся, даже кишки не выпустил, разве можно так? Он покачал головой, вытащил внутренности лосихи и на совесть, по-хозяйски накрыл тушу ветками, словно собирался когда-нибудь вернуться сюда.

Маремьян уже хотел уйти, когда с другой стороны ручья на него вышли два ушастых лосенка, чудом державшихся на длинных тонких ногах. Солнце тонуло в их грустных выразительных глазах. Идут прямо на него, словно он убил их мать, он лишил их радости земной...

Лосята остановились у самой воды: Маремьян не мог отвести от них глаза. Выживут ли?.. С каких пор дикие звери без страха стали подходить к человеку? С каких пор перестали бояться?! Может быть, что-нибудь в мире изменилось, случилось что-то непонятное и страшное?! Да, да... страшное и непонятное!.. Маремьян вмиг вспотел, по спине поползла тяжелая липкая капля...

Он взял собаку на поводок и рысцой, ломая сучья и кустарник, бросился в глушь, подальше от злополучной поляны.

Усталое солнце стало медленно падать за горизонт. На мохнатых лапах елей застряли последние гаснущие лучи, медно отражаясь в струях ручья. Тайга насторожилась, замерла. Провалится солнце за лес – настанет время хищников.

На закате Маремьян попил чаю, взглянул на уходящее солнце, чтобы знать, каким будет завтрашний день, и пустился в путь.

Ручей давно исчез меж корневищ столетних гигантов-елей, и теперь Маремьян шел по следу, чтобы не потерять Беспалого в этой глуши. Помятая трава, поломанный кустарник и трухлявые колодины говорили о том, что преследуемый уже кое-как передвигает ногами и делает частые привалы.

Начался водораздел – густая, сумрачная и труднопроходимая грива, заросшая кедром и пихтой. Моховой покров по колено – трудно ступить. После пойдет смешанный лес и там будет река и поселок.

Всю ночь пробирался Маремьян сквозь девственный урман. Терял след, снова находил и шел дальше. Поутру впереди взлаяла собака Маремьяна, чуть позже – выстрел. Лайка, взвизгнув, свалилась под куст. Вздрогнул кедрч. Маремьян заскочил за

ствол дерева, притаился. Стало так тихо, словно остановился бег времени. Следопыт снял кепку, стряхнул с нее паутину, разгладил и осторожно высунул из-за кедра, поскреб ногтем по коре. Гулко бабахнуло – на козырьке осталась рваная дырочка.

– Черт возьми, козырек попортил, – досадливо пробормотал Маремьян.

Пуля шмякнулась о ствол рядом стоявшего дерева. Кедр брызнул янтарно-чистыми слезами. Они неторопливо катились на неровной серой коре и уходили в изжелта-зеленый мох, в землю. Маремьян пристально смотрел на капли, бегущие по шершавому стволу кедра. Время излечит тебя, Кедр! Теплые ветры залижут твою рану, осенние дожди промоют ее, яркое солнце согреет, и через год-другой все пройдет. Ты молод, ты силен. Ты проживешь много-много лет...

Раздался треск ломающихся веток. Беспалый небольшими перебежками от дерева к дереву уходил от таежника. Охотник даже не взглянул ему след: о чем-то думал, что-то прикидывал. Может решал, быть или не быть...

Маремьян похоронил собаку и пустился в погоню. Но шел теперь не след в след, а сторонкой, присматриваясь к каждой коряге, прислушиваясь к шорохам и звукам. Знал, что Беспалый попытается любой ценой оторваться от него, думая, что за ним идет несколько человек. Но осторожность никогда не повредит.

Солнце плыло высоко над тайгой – наступил полдень.

Вдруг Маремьяна остановил звук, похожий на стон. Он доносился откуда-то из-под земли. «Что за черт? Какая нечистая сила днем-то?» Удивленный Маремьян сделал шаг, другой... Никого нет, а стон слышится... из-под земли. «Леший, что ли, меня водит!» – выругался он, собираясь уйти. Но тут увидел ружье – двустволку Мика. То самое ружье... Оно лежало на мху, сверкая лакированным прикладом, вот, протяни руку и... Маремьян схватил ружье и хрястнул по дереву. Неистово молотил двустволкой по чему попало. Ему казалось, что при каждом ударе ружье повизгивает и стонет. Это доставляло необъяснимое удовлетворение. Уже отлетел приклад, рассыпались железяки и винтики. Когда от ружья ничего не осталось, он остановился, тяжело перевел дух, недоуменно поглядел по сторонам, и, опустошенный, повалился на землю, как в бездонную пасть ка-

кого-то чудовища. И не мог потом вспомнить, сколько пролежал так без всяких мыслей и чувств. Пришел в себя от того же подземного стога. Маремьян сделал шаг и замер – будто на стену наткнулся. В яме под корягой лежал Беспалый. Волосы в красно-бурой глине, лицо от мошкеры стало безобразным, бледным и безжизненным. По носу сновал муравей с кедровой иглой. Лежал какой-то бесформенной грудой, присыпанной сверху мхом. Ничего общего с тем Беспалым, которого преследовал Маремьян. Только глаза те же – до дрожи ледяно-голубые и мертвые.

«Медведь могилу приготовил», – не то подумал, не то пробормотал вслух Маремьян.

...На ночлег Маремьян выбрал поляну между двух разлапистых кедров. Напоил Беспалого чаем и уложил в полог. Сам прикорнул возле костра из гнилушек. Прошедший день вконец измучил его, поэтому задремал сразу, но спал чутко. Во сне слышал, как вздыхала тайга и трещал сверчок на стволе умирающего дерева.

Беспалый неподвижно лежал на спине. Он видел сквозь ситец полога неясные очертания деревьев, далекое небо в сизой дымке, да слышал унылую песню комаров. Боль в ноге не унималась. Но он старался не стонать, хотя знал: когда стонешь – легче. Боялся, что Маремьян проснется, будто таежник мог проникнуть в его мирок, заглянуть в душу. Этого он смертельно не хотел. Как ни странно, в этой глуши он боялся умереть. Теперь, когда смерть подошла почти вплотную и бродит где-то совсем рядом, со страшной силой хотелось жить. Где угодно, хоть в клетке. Ничего не нужно, готов отдать все, чтоб только вернуть жизнь. Раньше смерть была где-то далеко, говорил о ней презрительно, с гонором. А теперь?... Все зависит от этого угрюмого человека, который не сказал за весь день ни одного слова. Молча подносил кипяток и пищу, молча стелил постель, словно был один в лесу. А ведь он, Беспалый, совсем не хотел убивать этого парня. Сначала он озлился на несговорчивость Прокопия – ведь мог просто пообещать, до зимы вон сколько времени, а он даже слово обещания пожалел. А когда понял Беспалый, что охотник не чувствует страха перед ним, то вконец взбесился. Не помнит, кто бы мог выдержать без внутреннего содрогания сквы-

вающий холод его ледяно-мертвых глаз, когда, чуть сощурившись, буравил взглядом человека. А тут какой-то охотник только усмехался небрежно – или малость тронутый, или сильнее его, Беспалого. Неужели сильнее?! В нем что-то зашевелилось, заерзло – не то страх, не то слабость. Потом его охватил испуг и бешеная злоба на всех, кто был сильнее и не хотел попадаться в его сети.

Там, на пристани, все вышло как-то случайно, он сел в шлюпку, чтобы отрегулировать дозирующую иглу в моторе. Но шлюпка была не привязана, ее подхватило течением и стало относить от берега. «Эй, подтяни, уносит меня», – крикнул он Прокопию и протянул ружье Мика. «Давай», – сказал Прокопий и взялся за стволы бескурковки. И тут Беспалый увидел, что дула смотрят прямо в охотника. Если нажать на спусковые крючки... ведь курков не надо взводить.

Свое прошлое он почти не вспоминал. Война сделала его сиротой. Бродяжничал, скитался по детдомам. Потом попал в воровскую шайку, где кое-чему обучился. И сам начал добывать деньги всеми способами, ничем не гнушался. Грабил сберкассы в небольших селениях и скрывался. Первый раз пошел на «мокрое» вроде тоже случайно. Ночью, после очередного ограбления, подвернулся милиционер – видимо, заподозрил что-то неладное. Пришлось тюкнуть его по голове, чтобы отключился на время. Оказалось – совсем. Подобрали только утром. После Беспалый оправдывал себя тем, что не мог предвидеть последствий... Сюда, в Сибирь, Беспалого привезли на старой железной барже как рабочую силу. Но рук он не стал мозолить: кому это нужно?! Есть другая сфера деятельности: недавно вдвоем с дружком очистили в селе отделение связи и рванули в тайгу, неделю блуждали. Когда осталась буханка хлеба, он решил, и труп в болотной жиже утопил. Рассуждал: «Зачем делить на двоих? Кому нужен этот Дружок? Лягачи спасибо скажут, когда узнают – давно его разыскивают. Если бы не я его, так через день бы он меня кокнул!»

Он лежал, и мир сквозь полог виделся ему прозрачным и далеким. Не мог понять, почему Маремьян ломит под ним свою хребтину. Он всегда презирал людей непонятных, таинственных. Если не хочет марать руки – оставил бы, все равно не вы-

жить. Так поступил бы всякий здравомыслящий. Так поступал он, Беспалый. Зачем спасать убийцу сына? Предать законному суду? Лучше самому свершить. И даже не своими руками, а с помощью угрюмой тайги. А вдруг старик рехнулся?! Рехнулся – вот и тащит...

Трудно постигнуть душу человеческую. Но вдвойне трудно, если она бесхитростна и кристально чиста.

Втайне Беспалый надеялся, что когда кончится последний сухарь и выйдут все патроны, когда Маремьян выбьется из сил, что-то произойдет: таежник должен покинуть его в этой глуши, чтобы спасти себя. Тогда все станет на свое место, и он умрет со спасительной мыслью, что все люди – звери, что каждый старается урвать приличный кус: только одни это делают незаметно, красиво, изящно – на их стороне закон, а другие – грубо, открыто, всеми дозволенными и недозволенными способами, как он сам. Такие стоят вне закона.

Но настало утро, и Маремьян снова пристроил его на свои плечи.

Наконец кончились сухари, патроны были уже на исходе. Самое время спастись сильному, а не то будет поздно. Беспалый по ночам не смыкал глаз: прислушивался, когда Маремьян потихоньку встанет и ускользнет в тайгу. Ему казалось, что охотник обязательно бросит его ночью. Но наступал день, и все начиналось сначала. Маремьян шаг за шагом пробирался сквозь дебри к спасательной реке. Чем труднее становилось, тем с большим упорством шел он вперед. Откуда у него берутся силы, откуда это упорство – Беспалый силился понять, но тщетно.

Маремьян иногда сам удивлялся тому, что не бросил Беспалого, взвалил на себя такую ношу.

Тот день проплыл в каком-то тумане, хотя на небе не было ни единого облачка, солнце золотым шаром висело на своем обычном месте, щебетали птицы. Все шло своим чередом, жизнь не останавливалась, спешила. Узловатые сильные пальцы охотника беспокойно крошили веточку лиственницы, словно они должны были решить, что ему делать. «Может быть, надо побыстрее убежать отсюда, пусть медвежья берлога станет ему могилой. Но медведь – этот дух тайги – никогда не простит, что дом его стал кладбищем, а я видел и не вычистил... Но ведь Беспалый прино-

сит людям только зло. Кому такой нужен? На земле и без него много зла. Никто не будет упрекать старого Маремьяна. Да и за что? За то, что похоронит убийцу? Но мертвого можно закопать и жить со спокойной совестью, а этого, живого... попавшего в беду... В беду... По неписанным таежным законам попавшему в беду надо помочь. Давно в тайге перевелись бы все охотники, если бы не помогали друг другу, если бы не спасали попавших в беду, если бы не отдавали все, что нужно для поддержания жизни. В тайге это свято соблюдали. Ни один настоящий таежник не может преступить этот закон. Большой грех – дать угаснуть жизни, когда можешь предотвратить смерть. Человек иногда бывает сильнее смерти... и намного сильнее, чем думают...» Маремьян сипнул потухшей трубкой, вытащил ее изо рта, наклонился, чтобы высыпать пепел. И увидел под ногами кожаный бумажник. Из рассыпанных денег и бумаг глянули на него детские глаза. Большие и выразительные. Он отступил на шаг – глаза следили за ним. Несколько мгновений стоял неподвижно, затем выволоч Беспалого из берлоги, приспособил к его переломанной ноге выструганную из сушняка дощечку. Брезгливо вытер руки, словно прикоснулся к дерьму.

После, пробираясь по ельнику, Маремьян подумал, что вот вроде бы немало прожил, а никогда толком не знаешь, какие разумные и безрассудные поступки сделаешь. Не знаешь, а жизнь заставит... Пришла мысль о медведе. Этот всевидящий чернолицый тайги вряд ли простил бы то, если бы его Дом стал могилой и охотник не вычистил бы его.

...На вечерней заре Маремьян вышел на тропу и остановился на склоне таежной сопки. Сбросив свою ношу и, не оглядываясь, направился в сторону поселка.

Он решил, что участковому тоже надо поработать.

Он шел, и на него нахлынули воспоминания. Полвека тому назад, здесь, на этой реке, в леденящую стужу вооруженные военными ружьями всех его родных кончили. Под обрывом, в полынье... За то, что его отец вывел из-под смертельного удара других с такими же ружьями. А он, Маремьян, на охоте был, жив остался. Но потом и он отомстил за них – жестоко, беспощадно. И навсегда покинул эту реку, чтобы она не напоминала о тех днях, смутных и горьких. И вот приходится возвращаться...

От недалекой реки повеяло пронизывающей стынью.

1974

КЛЯТВОПРЕСТУПНИК

1

Ослепительная вспышка полоснула по сухому темному лику Михаила Копылова, и над крышей так громыхнуло, что задрожала избушка, и с потолка и верхних венцов посыпалась труха. Вздрогнул и Копылов. Он вскочил и заметался по избушке, словно загнанный волк. Стон просохших половиц еще больше подстегивал его – шальные глаза буравили старые стены и рвали черные сумерки. Ему померещилось, что сам Всевышний устами Ильи-пророка напоминает ему о неисполненной клятве и отцовском проклятии.

Его престарелая матушка в темном закутке вцепилась в икону и шептала молитвы бесстрастной Казанской богородице.

Грозы в июльский зной каждую ночь штурмовали село. Штурмовали всухую – оттого гром грохотал особенно яростно и часто. И в избах становилось невыносимо тяжело и душно.

Загрохотало пуше прежнего. Загрохотало возле самой печной трубы, словно молния метила в избушку и вот-вот разнесет ее в клочья. Этот грохот вытолкнул Копылова в дверь – и он в два прыжка пересек двор и влетел в сарай. Тут он перевел дух и наощупь пробрался в дальний угол, отодвинул ящик с каким-то хламом, по локоть запустил руки в рыхлую землю и вытащил завернутую в мешковину металлическую коробку. Откинул крышку, развернул тряпицу и клацнул хорошо смазанным затвором.

Глухо рыкнул.

И, сунув обрез под мышку, в темноте, между двумя молниями, пересек двор и открыл добротные ворота. Прижимаясь к пряслам, выжидая послевспышковые затмения, небольшими перебежками, не подобающими его возрасту, заторопился к чернеющему за околицей лесу. Он спешил на расправу с комиссаром.

Выжидая очередную вспышку молнии, Копылов присел возле ветхого прясла. Хотя был уже поздний час и дело шло к полуночи, в окне светилась плошка, и сквозь раскаты грома доносились голоса. Стукнула дверь – кто-то нетвердыми шагами вышел во двор и остановился у калитки. Заструилось где-то совсем рядом, чуть ли не над головой, и Копылов вжался в зло-

вонную землю. Он сообразил, что это изба сельмаговской продавщицы Маньки и, стало быть, стоит над ним командировочный, который не знает местных. И Копылову захотелось раскрошить ему башку, но здравая осторожность и предстоящая расправа с комиссаром еще сильнее вдавляли его в подгнивший навоз улицы.

Тут погасла молния, и он поспешил убраться подальше от злополучного жилища любвеобильной Маньки.

Хотя по-прежнему грохотал гром и на улице не видно было ни души, все равно Копылов хоронился у плетней и прясел, будто кто-то невидимый следил за ним. Рука наткнулась на толстые венцы, затем, словно из тумана, выплыл белый резной наличник. Он прижался к старым стенам и ощутил их древесное пыльное тепло, и сердце забилось чаще. «Мой дом, – подумал он. Бог когда-то надоумил – не пустил красного петуха». Про пепелище не скажешь «мой дом» и не ощутишь его тепло. Этот единственный двухэтажный дом в селе поставил дед Корней Копылов, здесь родился Михаил и теперь бы сидел и хозяйствовал в селе, кабы не «комсарик Никишка и Советская власть». И на него нахлынул прилив бессильной ярости: ироды, до чего довели *его* дом! Поочередно сюда вселялись Совет, потом правление колхоза, после – рыбкооп с конторой. А сейчас второй этаж отдали каким-то мелким конторкам, на первом же ютились спившиеся колхознички, называемые бичами. Одному богу ведомо, как еще не спалили! Но главное, как он обветшал: резьба с наличников ободрана, крыльцо, словно хромая нищенка, покосилось на один бок. Прохудилась крыша, и угол, по которому стекала дождевая вода, осел, вжался в землю. И Копылов молил бога, чтобы он непременно наказал красных за кровь и разорение России. И крепко надеялся, что его молитвы дойдут-таки до Всевышнего. Хотя нутром понимал, что при его жизни вряд ли будет возврат к тем временам, когда Копыловы были полновластными хозяевами, но мириться с этой мыслью не хотел.

Еще прапрадед Копыловых, ямской охотник,¹ за пятерку купил у живших здесь остяков¹ этот лесистый остров и, постепен-

¹ Ямской охотник – так в XVII веке назывались переселенцы из России, жители ямских слобод, обеспечивавшие зимние и летние перевозки.

но завладев богатыми окрестными угодьями – пастбищами, покосами, рыбными протоками и промысловыми урманами, заложил новое село. Русские переселенцы стали называть его «Копыловым», а обские же остяки сохранили прежнее название По-снакурт, что означает «селение на острове».

Было время – крепко стояли Копыловы на этом острове. Он никак не мог оторваться от теплой безопасной стены «собственного дома». Вот за этими венцами, в угловой горнице на первом этаже умирал отец, Лаврентий Копылов. Зимой девятнадцатого года, в междувластье в селе, его привез на оленьей упряжке охотник-остяк в темную холодную ночь. Он лежал на широкой деревянной кровати и его жесткое лицо, обрамленное черной бородой, было обращено в потолок, словно он беседовал с самим Господом Богом. Наконец он оторвался от потолка и глазами подозвал жену. Она подошла и с почтительным трепетом остановилась у изголовья его кровати.

«Позови сына и оставь нас!»

Она мигом исполнила его приказание.

Мишка со страхом поглядел на отца, осторожно приблизился к кровати. Отец приподнял воспаленные веки, поймал сына ясным и жгучим взором и тихо спросил:

«Ты знаешь, где твой дед?»

И хотя спросил он очень тихо, но Мишке показалось, что громыхнул на всю горницу – в здравии-то голос у него был дай боже. И поэтому Мишка поспешно прошептал:

«Знаю, на войне».

«А дядя твой где?»

«Там же, на войне...»

«На войне, на войне... – передразнил отец. – Нету их уже на войне...»

«Где же оне?» – робко спросил Мишка.

У отца что-то клокотнуло в горле, и он тяжело, с натугой, почти выкрикнул:

«На том свете!..»

Мишку передернуло словно от удара.

А отец все клокотал утробно:

¹ Остяки – прежнее название народа ханты, или обских угров.

«Их всех комсарик Никишка кончил!.. Кого забил!.. Кого утопил!.. Кого заморозил!..»

Отец яростно сверкнул глазами, в глухом бессилии выдохнул:
«Ублюдок говенный!..»

Тут отец закашлялся, и у него горлом пошла кровь. Мишка бросился за матерью. Прибежала мать с тряпками. Она приподняла отцу голову и, поглаживая его заросшую щетиной щеку и шею, что-то ласково стала нашептывать ему. Возможно, молитву. Отец немного успокоился, перестал кашлять – и приостановилось кровотечение. Мать начала поить его отваром каких-то трав, а потом он будто задремал. Но вдруг открыл глаза, знаком велел матери выйти из горницы и, собравшись с силами, спросил сына:

«За что комсарик их кончил?»

И сам же ответил: «Потому как помыкать собою не позволили!»

Пауза – и снова ответ:

«Потому как раздора не потерпели!»

Пауза – ответ:

«Потому как за батюшку-царя стояли крепко!» Пауза – ответ:

«Потому как живота своего не пожалели!» Отец снова помолчал, потом сказал наставительно: «Заруби себе: всех твоих родичей комсарик Никишка кончил!.. Мне бы тоже каюк, кабы не ранило в бою!.. Ты – последний...»

Отец опять замолк надолго, наконец тихо и грустно сказал: «Помру я, Михайло...» Помолчал, потом снова заговорил:

«За матушкой пригляди, Михайло – больше некому...» Мишка припал к постели отца и всхлипнул: «Не надо, батенька-а-а!»

«Ну-к, не хнычь, не хнычь! – сурово-ласково проговорил отец и положил руку на голову сына. – Дело есть!»

Он помолчал и, поманив сына поближе, зашептал что-то ему на ухо. Затем отстранил сына и застыл на кровати. Мертвенно-синий свет луны резко оттенил черты его костлявого и властного лица. Он лежал с закрытыми глазами, и Мишке невольно почудилось, что отец не дышит. Он попятился от постели, но отец, не открывая глаз, разомкнул губы: «Смазывай хорошо, слышь?» «Слышу!»

«А матери – ни-ни!» «Понял, батенька!..» «Неси икону!»

Мишка принес икону и отец глухо, будто уже с того света, прошептал: «Клянись!»

И Копылов-младший поклялся. «Не отомстишь – прокляну! Слышь?» «Слышу!»

«Михайло, ты – последний, больше некому...» «Понял, батенька...»

«А на том свете я встречу комсарика как подобает!..» «Слышу, бать...»

«Ну, так-то вернее», – отец будто свалил какую-то тяжесть и, облегченно вздохнув, протянул тяжелую жилистую руку.

И сказал сыну последние слова:

«Ну-к, упаси тебя бог!..»

Сказав, он вытянулся на кровати – высокий и жесткий – и затых, будто преставился уже. Но мать, скорбная и тихая в последние дни, только на второе утро, с трудом сдерживая крик, глухо зарыдала. И Мишка понял, что отца не стало.

Нахлынувшие воспоминания еще сильнее прижали Михаила Копылова к стене «своего дома». Да тут еще настораживал сельский клуб, что стоял наискосок через улицу. Это была когда-то небольшая, но на совесть срубленная церквушка, которую тоже поставил в начале века дед Корней Копылов. Дед занимал в ней почетное место во время праздничной службы, а в будни ходил сюда отмаливать свои земные грехи. «Без бога нельзя», – гудел он в бороду. Теперь же здесь по вечерам крутят кино и устраивают пляски. Это у них «танцами» называется. Сейчас вроде бы там никого не должно быть. Но его смущал садик возле церквушки, густо заросший лебедой и бурьяном. Парни обычно девчат сюда водили. Между раскатами грома «туговатый на ухо» Копылов уловил шорохи в садике. Можно было обойти его стороной, но ему не хотелось тащиться по задворкам – отчего-то собаки недолюбливали его и всегда были рады побрехать на него.

Все сверкали молнии, но гром погромыхивал теперь где-то на окраине села, возле самого леса. И Копылов вдруг испугался, что упустит гром и тогда ему не расквитаться с комиссаром в эту ночь. Он все не мог оторваться от «своей» стены – садик нагонял-таки страхи. Тут он стал внушать, что тем, кто в садике, сейчас не до него – они ж ходят туда, чтобы укрыться от людских глаз. Стало быть, им нет никакого резона попадаться ему.

Илья-пророк снова подстегнул, и он, укоротив свою долговязую фигуру, засеменил к чернеющему невдалеке пряслу.

Копылов торопился к комиссару Никишину.

2

Революционер-большевик Арнольд Никишин в этом селе отбывал ссылку. Жил он в пятистенке бабки Лукерьи подле леса. Корнею Копылову он сразу пришелся не по нутру – молодой ссыльный мутит народ. Со всеми он выискивал общие интересы: и среди степенных мужиков терся, и к седобородым дедам подкатывался, и молодым сладкие речи пел. «Полсела словесным поносом обмарал, – ворчал Корней Копылов. – Всем райство сулит, а сам за-ради райской жизни хребет не гнет, на казенных харчах сидит. Клянёт батюшку-царя, а его куском не гнушается. Ишь, трутень-мутень свалился на наши головы!» Копылов-старший особенно всерьез его не принимал. Но в смутные времена такие всегда на первом месте, соображал старик. Завсегда наверх выскакивают. И чем они людей привораживают? Хитросплетенными словесами?! Бесстыдными посулами аль чем-то еще?! Но так и не разобрался, не успел. На село накатила Октябрьская революция, и Арнольд Никишин объявил себя представителем народа и новой власти, которую нарекли Советской. Копылов-дед мог тешить себя лишь тем, что в своих предчувствиях не ошибся. Но это не доставляло ему радости или удовлетворения.

Свои счета с комиссаром Никишиным были и у Копылова-внука. К тому времени Мишка отдал свое сердце глазастой Евдокии Сухоруковой. Крепко-накрепко она завладела его сердцем и умом, будто каким приворотным зельем опоила. На всех вечеринках была Дуняша заводилой среди сельских девчат. Особенно Мишка любил слушать по вечерам ее чистый и нежный голос, что уводил песню высоко-высоко, в самое поднебесье. Слушал Мишка ее напевы, а вот дотронуться до ее лянно-белых кудрей не отваживался. Так ему и не суждено было прикоснуться к ее чудным легким волосам. В село приехал Никишин, и Дуняша Сухорукова вместе с частью сельской молодежи подпала под его влияние. Дед же Корней Копылов заказал Мишке появляться в избе бабки Лукерьи, где жил, как он выра-

жался, «нехристь, смутьян и каторжник». И ссыльный Никишин стал для Мишки смертным врагом. Он отнимал любимую женщину, первую любовь. Этого-то Мишка не мог простить ему. Такое не прощается... «Эх-х, Дуняшечка, да ты хоть поглядела бы на его рожу-то, – вздыхал Копылов влюбленный. – Не рожа, а морда лошадиная». И вправду, у ссыльного было странное лицо: продолговатое – вытянутое сверху вниз. Продолговатый нос, продолговатые, как у лошади, зубы, подбородок. Только глазки были нелошадинными: глубокосидящие, колкие и кровожадные. Да еще не было у него лба...

Мишка Копылов, как всякий деревенский, любил коней. Но это несоответствие даже по прошествии многих лет все озадачивало его: почему на таком чудовище появились черты благородного животного?! Впрочем, многие односельчане считали политссыльного вполне симпатичным малым и ничего лошадиного в его облике не находили.

Тут начался, по выражению комиссаров, «кулацко-эсеровский мятеж», охвативший весь Обской Север. И Евдокия Сухорукова ушла к красным сестрой милосердия. А вскоре в село пришла весть, что она погибла.

«Эх-х, Евдокея-душенька, Евдокея-любушка, что же ты надделала с собой?! Что ты надделала?! Что сделали с тобой, ироды?! – Копылову по сей день она является во снах. Он посреди ночи просыпался от черной жгучей тоски – не будь комсарика Никишки, ведь Дуняшка наверняка не ушла бы к красным. Женское ли дело – война!.. Во всем, выходит, виноват комсарик. – Копылов лежал до утра, не смыкая глаз. Лежал неподвижно и слушал, как в бессильной злобе плакала избушка. Это плакала его душа... – Евдокея-то детей могла народить мне, думал он, кабы не комсарик. И жизнь, может быть, потекла бы совсем по другому руслу...»

Погасла молния, громыхнуло, и Михаил Копылов затрусил к черному лесу, куда упиралась улица. Перевел дух, когда наткнулся на кресты кладбища. Взялся за оружие и ужаснулся – впопыхах не сунул даже под пиджак. «А если бы попался кто?! Слава богу, пронесло!» – и он быстро перекрестился.

На него дохнуло сладко-влажным духом прели и сырости.

На Копылова в упор смотрел комиссар. Молния выхватила из тьмы его продолговатое лицо, продолговатые зубы и кровожадные глазки. Столько в нем польхнуло ненависти и непощадь, что, казалось, даже смерть пред ним бессильна. Погасла молния, а Копылов все еще не мог прийти в себя, ошарашенный его пронзающим взглядом. И только когда в нутро стал заползать острый холод, Копылов очнулся и поспешно поднял обрез, передернул затвор и при вспышке молнии навел дуло на кровавые глазки комиссара. И, хотя на лбу выступила холодная испарина, он выжидал. Руки обрели твердость и теперь слушались его. Острый холод на это мгновение оттеснило чувство исполняемого долга за гибель рода Копыловых. Сейчас он снова стал полновластным хозяином двухэтажного дома, церкви, судов и барж, стрелевых песков, пастбищ, покосов и всего прочего, чем владел его дед Корней Копылов. И, возможно, дороже этих секунд ожидания в его жизни ничего не было. Вот так, замерев, он готов выстоять сколько угодно, лишь бы чего-то выждать. В его голове до мельчайших подробностей промелькнуло прошлое, докомиссарское прошлое.

Что же ты натворил, комсарик?! Зачем столкнул человека с человеком, родича с родичами, народы с народами и пустил большую кровь?! Зачем?! За-ради чего?! За-ради добра и богатств?! За-ради высокой власти?! Но ведь в этой круговерти, пустив кровь и разорение, ты сам сгинешь и ничего не получишь! За-ради чего всю эту пакость сотворил?! Ужель бог отнял твой разум, чтобы твоими руками наказать землян?! Ох-х, господи!..

Но грохнул гром, и гром вернул его к комиссару. Он неспешно нажал на спусковой крючок, и от неожиданности его отбросило назад. Выстрел слился с ревом грома, увидел только рыжее пламя из ствола. Все, конец, точка. Вздохнул облегченно, расправил плечи и выпрямился во весь свой огромный рост и, сунув теплый обрез под мышку, не спеша, ни от кого не таясь, напрямую направился домой. По привычке ворота и двери закрыл на запор и тут, почувствовав размаривающую усталость, опустился на кровать. Обрез перезарядил и сунул под подушку. Хотел отнести его в сарай и закопать, но тут по окну забарабанили крупные дождины. Дождь, едва начавшись, тут же перестал, а

гром заревел еще неистовее. Теперь у Копылова не было сил и желания вставать с кровати.

С чувством исполненного долга Копылов закрыл глаза: свою клятву исполнил – комиссар Никишин убит.

Над головой отцовское проклятие не висит.

Духовную свободу обрел.

А над селом вовсю бесновался гром.

3

Утром он опять не спрятал обрез в сарае. «Вдруг-то уже началось следствие по делу Никишина и всех подозрительных взяли на заметку, – подумал он. – А тут спозаранку Копылов со свертком в сарай, чего ни разу по утрам не делал. Нет, не след спешить. Пусть уж дома будет, – соображал он. Если захотят меня взять, так патроны есть, живым в руки не дамся».

Он отворил калитку и выглянул на улицу – в селе было тихо и мирно, будто ничего не случилось. Поправил кепку и направился на колхозную конюховку, где присматривал за лошадьми и шорничал. Шел прямо, высоко подняв голову, не оглядываясь, но все подмечал из-под нависших бровей зорким оком. Если бы односельчане присмотрелись к нему, то заметили, что шаг его стал тверже и решительнее, словно он уже стал хозяином своего двухэтажного дома и завладел всем своим хозяйством. Но однако сельчане не баловали его вниманием, считали обыкновенным бобылем-чудаком – избушка разваливается, но он строит вокруг нее добротный крепкий забор. На кой ляд забор, если крыши нет?! Поди разберись, что у него в башке! Только сельмаговская Манька, когда подолгу у нее никто не останавливался, пристально смотрела на долговязую фигуру Копылова – чувствовала его нерастратенную мужскую силу – и скалила белые зубы. Копылов же отворачивался, словно повстречался с самим дяволем-искусителем в образе Маньки. Его года и впрямь трудно определить – на голове ни одного седого волоса и на лбу морщин не более, чем у всякого мужика средних лет. А бобылем, видно, остался оттого, что не захотел впустить в свою жизнь никого, кроме Евдокии Сухоруковой.

Весь день, вздрагивая от скрипа плохо смазанных ворот, он чего-то ждал. Может быть, известия о расстреле комиссара. Но в

селе было пока спокойно. Только на следующий день, повстречав на улице Копылова, председатель Совета спросил:

– Слышал, Лаврентьич, что пацанье-то наделало?!

И председатель сообщил то, что хорошо было известно Копылову, в конце добавив, что с пацанья взятки гладки – що, мол, возьмешь...

Копылов согласно кивнул. Он прислушивался к разговорам и посмеивался в душе – на этот раз председатель Совета сыграл ему на руку. Пусть все думают так, как нужно власти. Раньше он ни во что не ставил председателя, считал его колодой неповоротливой, хозяином без штанов. Все дела сельсоветовские вела секретарь, востроносая рыжая бабенка, которой он не опасался. Теперь, надо же, председатель оказался нужным человеком. Несмотря на это, сейчас его интересовал и глава колхоза, который, по его мнению, мог бы быть настоящим хозяином села. Но тот, занятый своими делами, видно, вообще ничего не сказал или равнодушно принял известие о гибели комиссара.

Но Копылов постоянно был начеку. Он внимательно наблюдал за участковым, который приехал в село на третий день после той ночи. Уже вообразил, как ловко стал бы водить за нос следователя, случись, заподозрили бы его. Ведь улик-то никаких, кроме обреза, о существовании которого даже родная мать не знает. И в нужный момент можно легко избавиться от него – Обь-матушка рядом. Да и кому бы пришло в голову заподозрить его, лучшего колхозника, безупречного работника и тихого незаметного селянина?! Теперича не те времена, думал он, когда не смел шелохнуться и пискнуть, не говоря уже о мести. Тогда за один только обрез мог загреть в места, откуда нет возврата. Но такая участь не прельщала его, поэтому и выжидал. Но к выжиданию его принудила и осторожность, которой при рождении господь Бог его наградил почему-то больше, нежели всех остальных Копыловых, отбивших уже в иной мир. Он все присматривался к участковому, но тот, переночевав у сельмаговской Маньки, укатил куда-то по своим делам. И жизнь в селе неторопливо потекла по старому руслу.

Чутким и осторожным стал Копылов. Советская власть за многие десятилетия впитала в его кровь эту излишнюю ос-

мотрительность и осторожность: всем, кто высовывался и поднимался над толпой, красные тотчас отсекали головы.

Расстреляв комиссара, Копылов был готов ко всему. Он ходил по селу с высоко поднятой головой и всем своим видом говорил: вот он, я, последний из рода Копыловых, исполнивший свою клятву! Возьмите меня, попробуйте! Терзайте меня, убейте меня! Я готов умереть!..

Наверняка приедет милиция, думал он. Начнется следствие. На худой конец, делом займется председатель Совета, «партийный секретарь» или глава колхоза. Но пока тихо, и эта тишь беспокоила его. Если бы милиционер или кто-то другой попытался найти преступника среди детворы, хотя бы для острастки, то Копылов успокоился бы. Все-таки это удовлетворило бы его самолюбие, и расстрел комиссара еще больше возвысил бы его в собственных глазах. Может быть, комсарик теперь ничего не значит, размышлял он. Нужен был только в гражданскую, когда истреблял противников переворота?! Но в его сознании комиссар всегда оставался комиссаром. Ведь не кто иной, а именно Никишин уничтожил весь кремень-род Копыловых и вытряхнул в преисподнюю все их нажитое за века добро. Тут ох какая сила нужна! Видно, и дед Корней Копылов недооценил его. Корней, который никому спуска не давал и мог взять за рога самого дьявола. Не такие дела сотворил комсарик, чтобы так быстро позабыть его. Бродит комсарик невидимой тенью по селу. И Копылов всем нутром почувствовал, что борьба с ним только началась. Вся борьба еще впереди. Почудилось ему, что председатель Совета намеренно пустил ложный слух, что из города по телефону получил указание, чтобы усыпить бдительность мстителя и захватить его врасплох. При встрече, помнится, он дольше обычного задержал взгляд на нем, Копылове. Неспроста, выходит, неспроста. И глава колхоза, председатель то бишь, как-то слишком суетливо и быстро поздоровался с ним и заспешил неведь куда. И участковый, видно, не зря останавливался у любвеобильной Маньки. Ведь ее дом за три двора от избышки Копылова. Возможно, тот не с Манькой развлекался, а за его домом наблюдал. А тут еще соседка, что через улицу живет, нынче целыми днями сидит на лавочке возле ворот, исподтишка глазет на него, будто влюбленная какая. А вчера сын ее долго на

крыше околачивался, будто бы антенну усатую для телевизора устанавливал.

Только «комсарикова наследыша», партийного секретаря, не было в селе, в это дело не встревал. Им был мужичишка выморочный и щедушный – вечно скитался, как выражались односельчане, «по партийным салаториям и больницам». И сейчас он, горемычный, где-то не то отдыхал, не то лечился.

Неспроста все притихли, решил Копылов, власть коварна, хитра. Веры ей нет. Выжидает она, выжидает. И он почувствовал шемящую пустоту там, где у нормальных людей должно быть сердце.

Да, как и в двадцатых, в этой борьбе пощады не будет.

4

Недолго терпели на Обском Севере комиссарскую власть. Мужики поднялись против комиссаров. Красные назвали это «контрреволюционным мятежом».

«Грабь награбленное!» – призывал комиссар Никишин.

«Все ведь горбом нажитое! – стучал себя по загривку Корней Копылов и разводил руками, как бы показывая на свое добро. – Видит бог!»

«Грабь и бей буржуев!» – кричал на это комиссар Никишин.

Красные первым забили Елизара, младшего сына Корнея Копылова, его любимца. Елизара подвесили будто бы шутя за ноги и потребовали «отцово золотишко», якобы запрятанное с его участием. Озорной и своенравный Елизар, словно бы желая шепнуть на ушко, подманил комиссара к себе и кровью харкнул ему в лошадиную морду. Тут за парня взялись не на шутку: начали медленно колоть штыками. Но он только матюгался и бесено ревел. И вскоре его забили прикладами. Пулю пожалели...

Корней Копылов, узнав об этом, просто озверел.

«Ироды!.. – плакал старик. – Скотину так не кончают!..»

И пошло, и поехало.

Столкнулись лоб в лоб. Русские – с русскими. Остяки – с остяками. Красные – с белыми.

Красные называли белых «бандитами», а их отряды – «бандами». Белые тоже метили красных «бандитами» и «кара-телями». Когда же входили в деревни и города, те и другие

«охочи были до баб, самогонки и жратвы». Те и другие требовали постой, лошадей и фураж. Те и другие грабили и насиловали. Возможно, в чем-то для жителей были менее опасны хорошо организованные и дисциплинированные отряды белых, нежели разношерстная и озлобленная толпа красных.

Красные били белых. Белые били красных. И Корней Копылов не щадил комиссаров, попадавших в его руки. Мстил за сына Елизара, за батюшку-царя, за свой разор. И месть его была такая же беспощадная, как и комиссарская... Только об одном он пожалел – не попался ему в руки комиссар Никишин.

Но и власть белых продержалась не долго – в начале следующего года красные разбили отряд Корнея Копылова. Взятых в плен расстреляли. Красные, истребляя «контрреволюционных мятежников», продвигались в низовья Оби. И вскоре под заимкой Лорбой в бою был убит комиссар Никишин. Там его и похоронили. Когда Советская власть окончательно укрепилась на Обском Севере, то из Петрограда приехала Никишина жена, тоже профессиональная революционерка, только в семнадцатом вышедшая из Петроградской крепости. Она перевезла останки мужа-комиссара в село, где он провел годы ссылки, и похоронила на сельском кладбище под строгой хмурой елкой. Принесла на могилу свой первый и последний венок, омытый скупой слезой, и укатила комиссарить в Москву на центральный телеграф, где в те бурные дни ее ждали неотложные дела.

Время шло. Истлел ее венок, могила заросла травой.

Вначале Копылов в душе вроде бы обрадовался: погиб комиссар Никишин, стало быть, его клятва потеряла силу – кому метить?! Тут и времена жесткие настали, пикнуть не могли, за дедовские дела могут привлечь к ответу. Притаился Копылов, замер. Не пил, не буянил. Одним из первых записался в колхоз. Часто по праздникам ему вручали почетные грамоты. Его усердие и жадность до работы оценивал всякий новый председатель колхоза. Копылов же не стеснялся ломать шапку перед ними, хотя они менялись чуть ли не каждый год. Для него, кажется, все они были на одно лицо. Может быть, оттого, что и председатели видели в нем только одно – безотказного и добросовестного работника, «рабочую лошадку», остальное их не интересовало. Копылов никому в глаза не лез, ни с кем не враждовал и

дружбу не водил, скромненько держался в стороне. Говорил, что туговат на ухо и знал цену своим словам. Тихо жил себе в избушке-развалюшке с матерью, на жизнь никогда не жаловался и ни у кого помощи не просил – тем и был хорош в селе.

При людях не поднимал руку для крестного знамения, хотя бога в душе сохранил.

Тут нагрянул сорок первый год. И, по прошествии лет, возле бывшей церквушки в березовом садике появился высокий серый обелиск со звездой, а рядом – большой фанерный щит с именами более ста односельчан, павших на фронте. Исключением стали десяток фронтовиков, из коего в селе осталось ныне всего три-четыре человека. Остальные кто помер, кто уехал. Сам Копылов тоже хлебнул военного лиха – получил тяжелую рану в паху, долго валялся по госпиталям. Но, однако, вырвался из когтей смерти, выжил, вернулся домой. А из женской половины военного поколения тоже немногие выжили – отдали бабы свое здоровье лесозаготовкам, рыбалке на студеной Оби и тяжелой каторжной работе на полях. Стало быть, кроме Копылова и его престарелой матушки, мало осталось свидетелей событий двадцатых годов.

Но комиссар неожиданно напомнил о себе. Вдруг в селе пошли разговоры, что останки комиссара надо бы перезахоронить под обелиском в садике, ведь там никто не погребен. Копылов тогда не на шутку встревожился – комиссар переберется в село, придется жить с ним почти по соседству. И он каждый день станет напоминать, кто есть Копылов и кем бы мог быть, не ворвись в жизнь комиссар Никишин. Тут, пожалуй, спятить можно рядом с ним. Запросто спятишь. Но, к невысказанному удовлетворению Копылова, дело дальше слов не пошло. Но комиссар все же напомнил об отцовском проклятии, которое еще не опустилось на его косматую голову, но тяжким мечом висело над ним. Меч то притуплялся, и он начинал забывать о своей клятве, то заострялся и тогда его охватывало беспокойство и ожидание беды. Все это зависело от комиссара, от того, как часто он напоминал о себе. А Копылову уже виделся конец комиссара: время незаметно разрушало подгнившую оградку на комиссаровой могиле, выравнивало ее с землей. Был комиссар – не стало комиссара, нет даже останков. Он понадеялся вырвать комисса-

ра из людской памяти с помощью безжалостного времени и тем самым как бы исполнить свою клятву и зажить спокойно.

Бывало, с внутренней усмешкой он заводил беседу:

«Ты для них, комсарик, живота не пожалел, а от них даже трухлявого креста не получил!»

Тут перед ним всплывало бледно-зеленое лицо комиссара и он слышал насмешливый ответ Никишина.

«А жизнь-то ведь, Копылов, по-моему идет, а?!»

На это Копылову нечем было крыть, и он поспешно отворачивался и осенял себя крестными знаменами, чтобы побыстрее избавиться от комиссарова духа. Что верно – то верно, жизнь шла по комиссаровому руслу. Как вещал партийный секретарь, социализм в масштабе села и страны уже построили, все обобществили. Все вокруг ваше – колхозное, социалистическое, общественное. А сейчас ударно строим коммунизм. И до коммунизма осталось совсем чуть-чуть – возможно, полшага. Ну, самое большее – шаг, полтора. Всех там ждет всеобщее благоденствие, коммунизм, строящийся по мудрым заветам классиков марксизма-ленинизма. Главной заботой партийного секретаря было, чтобы лозунги и призывы на красной материи постоянно висели на стенах сельского клуба, на стенах контор колхоза и рыбкоопа. Но, однако, его мало волнует то, что колхоз на ладан дышит. Давно перестали сеять хлеб. Дедовы поля начали зарастать травой-кустами. Охотничьи промысловые урманы вырублены, а рыболовные угодья каждый год травят то нефтью, то еще какой-то гадостью. На пастбищах почему-то плохо приживаются колхозные коровы и кони. Избы, перешедшие в собственность колхоза, быстро обветшали и почти уже сгнили. Чудные дела творятся, размышлял Копылов. Комиссаровы последыши, «награбив награбленное», словно по божьему наказанию, не сумели по-хозяйски распорядиться всем этим добром. Бог не дал ума. Вернее, отнял разум у тех, кто преступил заповеди божьи и заповеди человеческие.

Но время работало на него, а не на комиссара. Все так шло, как он и предполагал. Но тут вдруг объявилась где-то под Москвой родная сестра комиссара. Она прислала сельским пионерам письмо и один за другим два денежных перевода – на могиле комиссара появились цветы и новая оградка. Партийный сек-

ретарь выдал призыв: даешь революционное прошлое! Разыскать, сохранить, увековечить!..

Слышит Копылов, как пионеры пристают к соседке-старожилке, к бабушке Сухининой. Расскажи да расскажи, как пришла в село Советская власть, как пришла революция. Бабушка, сидя возле дома на лавке, долго отнекивается. Наконец не очень охотно начинает вспоминать:

– Значица, было так: пришел пароход «Святая Мария», с городу Тобольска. Все в селе заговорили: каратели пришли, каратели... И там, среди них, был наш селянин Васька Шаламов...

Пионеры недоуменно переглядываются, потом переспрашивают:

– Дед Вася Шаламов?!

– Ну-у, да...

– Он приплыл с карателями?!

– Ну, да...

– Он не мог быть с ними! – засомневались они.

– Как это не мог быть?!

– Может, вы, бабушка, что напутали, а? Бабушка начинает сердиться:

– В ту пору я совсем молоденькая была. Глаза-очи мои тоже на месте были. И память, слава богу, еще не отшибло!.. Был с ними Васька Шаламов, был!..

– Неужели так было?!

– А почему бы ему там не быть?! Пионеры объясняют бабушке:

– Дед Вася Шаламов – красный партизан! Он революцию защищал, мы записали его воспоминания. И в сельсовете нам сказали: он – герой Гражданской войны, красный партизан!

– Ну и чо из этого?

Пионеры отвечают:

– Красный партизан не может быть карателем!

Бабушка Сухинина призадумалась, помолчала, потом пояснила:

– Все верно: тогда их называли карателями, а теперь – красными партизанами...

Тут приумолкли пионеры: видно, начали соображать, что бы это значило... А бабушка, победно оглядев своих слушателей, продолжила рассказ:

– Значица, на «Святой Марии» пришли каратели и начали делать эту самую революцию и советскую власть. Перво-наперво забили парнишку Елизарца, сына старшего Копылова... Царство ему небесное.

Бабушка вздыхает и незаметно, не поднимая руки, одними пальцами кладет крест. Помолчав, после тяжелого вздоха, она добавила:

– Видно, золотишко шибко почитали. Все золотишка требовали...

Все помнит старая, удивился Копылов. Будто вчера все это происходило. И его мысль ушла к Ваське Шаламову. Одряхлевший старик одиноко доживал свой век в избе с провалившимся полом недалеко от центра села. В первый раз Копылов наведился к красному партизану не из любви, конечно, к его революционному прошлому, а хотел выяснить кое-какие вещи о своем отце и дедушке Корнее Копылове. Разговорились. Оказалось, дед Шаламов волею случая попал к красным. Возвращаясь с войны с германцем, надолго застрял на ближней к дому железнодорожной станции в Тюмени. Не было попутного транспорта. Тут объявились красные, начали набирать людей в поход против мятежников-северян. Война давно насточертела ему. Не хотелось воевать ни с кем. Тем более с земляками, пусть и «контрреволюционными мятежниками». Красные посулили транспорт, хорошие харчи, дом и потом полную свободу. Собирали попасть домой взял верх. Решил, доплыву до дому, а там видно будет, авось отстанут от измотанного войной фронтовика. Но не тут-то было – до самого конца Гражданской пришлось оттрубить... То ли за откровенность, то ли за сострадания к старости, Копылов заменил в избе две сгнившие половицы, чтобы старик не провалился в подпол. Хотя нужен, конечно, основательный ремонт. Но мольбы красного партизана к Советской власти действия не возымели. Копылов знал почему. Во-первых, у Совета давно все село сгнило, а не только изба Шаламова. Во-вторых, об этом же просят ветераны ближней войны, вдовы и семьи погибших на фронте. Ждут помощи многодетные и сироты.

ты. Словом, очередь длинная. В-третьих, видно, всякой власти в тягость человек, в свое время сделавший дело и теперь ни на что не пригодный. Такова жизнь.

Прилаживая половицы, токая топориком и прислушиваясь к неумолчному говору старика, Копылов тешил себя мыслью, что Всевышний видит все и каждому отмеривает по заслуженной мере. Воистину, на чужом горе не построишь себе счастье. Вот и красный большевик Василий Шаламов, некогда поднявший руку на своих же сородичей, теперь без семьи и детей, без родных и близких, никому не нужный, одиноко умирает в полусгнившей избе. А о комиссаре и вовсе сказать нечего. Останься он в живых, возможно, его конец был бы еще более мучительным.

Между тем сестра комиссара в последнем письме прислала карточку брата. Физрук школы врезал ее в краснозвездную пирамидку на могиле.

Комиссар беспощадным прищуром притянул к себе всю округу.

5

И глаза комиссара сказали Копылову:

«Вижу твою черную душу, контра! Вот погоди, доберусь до тебя!..»

Копылов на это лишь усмехнулся и сказал резко:

– Баста, шабаш – кончается твое время, комсарик!..

Повернулся и степенно, не спеша пошел с кладбища.

Еще одним открытием тешил себя Копылов: в селе первым пророчески подметил, что «комиссарьево время» пошло на убыль. Пошло на убыль одновременно с двух концов – сверху и снизу. Сверху так пошло: стали в селе рассказывать разные побаски про Генерального Комиссара, про самого наивысшего, который заместо батюшки-царя сел и начал народом править. Попервости передавали их потихоньку, с опаской, ухо в ухо. А потом заговорили в открытую, со смешком, с издевочками, с неприличными жестами. Разве такое было возможно хотя бы еще десяток лет назад?! Нет, конечно. Понял Копылов: плохи дела у Генерального. Стало быть, дни его сочтены... Снизу же «комиссарьево время» подтачивалось несколько по-иному, а именно: просто «комсариновы наследыши» шибко помельчали и

утратили силу в народе. Вот, к примеру, партийный секретарь. Ладно, не вышел статью и ликом – не его вина, это от бога. Но, главное, по делу мало на что пригоден. В колхозе председательствовал – что-то не клеилось, перевели в Совет. В Совете тоже не заладились дела, поэтому двинули его в рыбокооп. Там он какие-то товары не то растранижил, не то украл. Словом, и тут оказался не у дела. Вот тогда-то и попал в «комсариковы наследыши» и, по всему виду, пришелся ко двору. Лозунги, призывы, доклады, партийные путевки. Тут он как утка в воде: где захочет – там и нырнет, где захочет – там и вынырнет. Словом, он владел не хуже большевика Арнольда Никишина. Правда односельчане на его, как выражался Корней Копылов, «словесный понос» не обращали особого внимания. Михаил же Копылов чутьем фронтовика безошибочно угадал, что этот, как Никишин, за красную идею на белые пулеметы не пойдет. Нет, не пойдет. Скорее, перекарасится в другой цвет. Коль сам не готов идти, так зачем других к этому подталкиваешь?! Зачем словесную чушь несешь?! Вот и выходит, что и внизу плохи дела у комиссаров. Только по этой причине Копылов так резко отбрил комиссара: кончается твое время!..

Но он все еще чувствовал на себе пронзительный взгляд комиссара. И не мог избавиться от ощущения, что Никишин постоянно подсматривает за ним. А это было мучительно для него. Нужно искать, как избавиться от этого надзора, иначе жизни не будет.

Дома престарелая матушка, которая уже жила не столько настоящим, сколько прошлым, спросила:

- Миш, нынче в селе-то кто?
- Красные, мам, – отвечал сын.
- Разе боже не покарал их?
- Нет, еще, мам.
- Коды покарат?
- Скор, мам.
- Комсарик Никишка верховодит?
- Нет, мам, другие.
- Где он, ирод?
- Нету его, скончался.
- А-а, божья кара...

- Да, мам.
- Мотри, Миш, не шастай по улке-то!
- Хорошо, хорошо.
- Кокнут ведь, ироды, ни за што!..
- Да я дома буду, мам.
- Батяня-то где?
- На небеси, мам.
- Будто я токо с им баила...
- Ну, так ушел.
- Белые-то коды придут?
- Не знаю, мам.
- Далеко ушли?
- Да, далеко-далеко...
- Бог даст!..
- Даст бог, мам!..

И мать слабой рукой кладет крестное знамение.

Михаил же только вздохнул тяжко. Вздохнув, подумал: на нашем с тобой веку, матушка, белые-то, видно, уже не доберутся до села. Больно медленно убывает «комиссарьево время».

Ночью к нему явился комиссар Никишин и, сверля кровавым глазом, с хитро-наглым прищуром, прошипел:

«Вот погоди, доберусь до тебя, Копылов!..»

У Копылова похолодело нутро, и сначала он весь съежился, а потом стал наполняться яростной злостью, и эта злость распрямила его, и он закричал:

– Да нет же, нет – не доберешься!..

И проснулся. И сгинул комиссар. Копылов долго лежал неподвижно, прислушиваясь к тишине и ощущая, как наполнявшая его ярость медленно, как бы нехотя, уползает из его нутра.

– Ой ли, и на том свете не доберешься, – пробормотал он комиссару. – Кому рай, а кому ад...

Но, однако, Никишин пока на этом свете не давал ему покоя: даже в глухую полночь, просыпаясь, он чувствовал, как из темного угла бьет по сердцу кровавый глаз комиссара. Тот кровавый глаз, что испепелил его любушку Евдокию Сухорукову, отца, дядю Елизара, деда Корнея Копылова и многих других. Тот глаз, что многих безвинных преждевременно отправил в мир

ной. Он втягивал голову в плечи и еще сильнее укутывался в толстое одеяло, но и это мало помогало. И тогда он взялся за обрез – другого выхода нет.

Нужно уничтожить испепеляющий душу глаз, и заодно этим исполнить свою клятву...

Он свершил то, что должен был сделать еще в двадцатых годах после гибели отца и всех близких родственников. Сгинул глаз, избавился от него Копылов. Теперь он свободен и независим.

На четвертый день как бы мимоходом он завернул на кладбище, чтобы взглянуть, что осталось после его ночной вылазки. У комиссара не только кровавых глаз, а лица нет вообще. И Копылов не выдержал: не то подумал, не то сказал вслух, имея в виду красных:

– Я расстрелял тебя, а им-то, вишь, до тебя, что до... матери, комсарик!.. Хе, розыск учинить не могут!..

И подумал, что наконец-то дважды убитого комиссара припер к стенке. Потоптался, прислушался к тишине – молчит комиссар. Знать, навечно замолчал на сей раз. Однако ночью тот сам явился в избушку Копылова и ответил:

– А жизнь-то ведь, Копылов, по-моему идет, а!..

На сей раз Копылов не осерчал. С великодушной снисходительностью победителя, усмехнувшись, сказал:

– Погоди, вот начнет колхоз хрен сосать – тогда помянут тебя, комсарик!..

А дело как раз к этому шло. Колхоз не только других, а себя прокормить не мог. Что ни год – все пятились и пятились назад. Копылов это давно подметил хозяйской сметкой, унаследованной от дела. А ведь при Корнее Копылове на этой земле кормилась вся округа, а излишки вывозили в низовье в Обдорск-город и в верховье в Тобольск-город.

И он пообещал комиссару:

– Погоди, еще намылят тебе ж..!

Повернулся на другой бок и захрапел как ни в чем не бывало.

На следующее утро, проходя мимо Совета, он услышал, как физрук школы жаловался председателю:

– Какой снимок испортили, а?!

– Другой патрет сделай, – сказал председатель.

– А другого нет, – развел руками физрук.

- Как так нет?
- Снимок был в одном экземпляре.
- А сестра его что?
- Перестала писать.
- Почему?
- Кто знает. Может померла...
- Надо было копию снять.
- Кто знал, что такое случится.

Копылову показалось, что председатель недоверчиво, исподлобья покосился в его сторону. И, когда он приблизился, вовсе замолчал. Неспроста это, подумал он. Неспроста.

У него никогда не было доверия к власти. Власть эта завсегда не по-человечески подкатывала к человеку. Наобещает одно – сделает другое. Посулит рай, а на деле рай оборачивается адом. Вся она какая-то с загибами, с вывертами, с выкрутасами. Не знаешь, с какой стороны и куда кольнет, за что уцепится мертвой хваткой. Она еще никого с миром, с богом не отпускала. Надо ухо держать востро.

Но власть все медлила, все тянула, все не брала Копылова. Вконец, что ли, она ослабла? Вконец, что ли, она обессилела?..

Бывало, просыпался он по ночам от малейшего шороха и скрипа. Лежал, охолодев, под толстым одеялом и прислушивался к напряженной тишине, а рука сама тянулась к обреза под подушкой.. Живым не дамся, думал он. Крестился нетвердой рукой и немного успокаивался.

Гнетущее чувство безысходности то накатывало, то снова откатывало. Но он осознанно готовил себя к мысли о близком конце. Правда, в этой жизни его еще удерживал наказ отца, чтобы он позаботился о матери. Однако она уже давно жила в потустороннем мире: больше разговаривала со своим ненаглядным Лавриком, нежели с сыном Михаилом. Думая о будущем, его более всего волновал сейчас другой вопрос: куда определит его господь бог – в рай или в ад?! Раз Всевышний отвернулся от Копыловых на грешной земле, значит, должен позаботиться о них в загробном мире, размышлял он. Тем более, что последнего Копылова теперь ведь не назовешь клятвoprеступником.

В душную грозовую ночь он вздрогнул от комиссарского голоса:
– Копылов, собирайся!..

В дверях стоял комиссар Никишин с ехидной усмешкой на губах и с пустыми глазницами. А, погасил я кровавый огонь твоих глаз – теперь ты не страшен, подумал Копылов. И спокойно, без всякого внутреннего трепета, сказал: «Щас, погody...» Хотел осенить себя крестным знаменем, но рука уже сама потянулась к обреза.

Комиссар, поигрывая неразлучным маузером, стоял в дверях и терпеливо ждал. Время нисколько не тронуло его: все такой же молодой и бессмысленно беспощадный, каким запомнился сельчанам в двадцатые. За своей третьей, последней погибелью притащился, между тем соображал Копылов. Ах ты, бес, не хочешь без меня оставить землю в покое...

– Щас!.. – повторил Копылов и, прикрывшись одеялом, передрнул затвор, и почувствовал, как рванулась рука, но выстрела уже не услышал, – громыхнул гром.

Тяжелый обрез выскользнул из рук и грохнулся на пол – гулко отозвались старые половицы...

1978

ОСЕНЬ В ТВОЕМ ГОРОДЕ

Ты помнишь ли ту Осень?

Я приехал к Тебе.

Падал снег. Снег падал огромными хлопьями, закрывавшими все небо.

Помнишь ли тот Снег?

И мы пошли на реку. Точнее, на набережную Твоей реки.

У реки, где с моря налетал резкий ветер, хлопья снега как бы взрывались и бешено неслись неведомо куда.

На реке стояли на якорях корабли с грозно торчащими стволами пушек. Над ними – низкое тяжелое небо, а под ними – свициново-ледяная вода. И корабли тоже отливали свинцом.

Был праздник.

И на кораблях была праздничная суета. Матросы в черных бушлатах, подобно муравьям, сновали по палубам. Мы тогда

гордились этими кораблями. Вот какие мы сильные! Вот какие могучие! Вот какие мы великие!.. В то время я еще не понимал, что любой подобный корабль – это смерть. Это погибель всем нам или живущим на других континентах.

Мы шли в снегу.

Мы шли в снегу под ударами ветра в спину. Я шел со стороны реки, как бы прикрывая Тебя от ледяного холода воды. Мы шли медленно, не спеша. Я шел и молчал. Я молча слушал Тебя. Слушал Твой изумительный голос. Ты сказывала мне сагу о своем городе. Сказывала с любовью. С любовью к своему городу, где на каждом шагу возникало чудо.

Я слушал. Слушал ревниво. Я ревновал Тебя к Твоему городу. И, ревнуя, наслаждался Твоим изумительным голосом. Изумительным голосом, чистым и нежным. Я слушал как сказку, как песню, как симфонию. Я улавливал в очаровывающей музыке Твоих слов и вздохи ласкового моря, и шелест осенних листьев в прибрежном лесу, и серебряный звон таежного родника. Твой голос завораживал меня, усыплял, волшебным переносил в совершенно другой мир, в другое измерение. Кажется, помню все, что Ты мне говорила. Но неожиданно и ненадолго я куда-то исчезал. Проваливался неведь куда. Вернее всего, попадал в неземное пространство.

Если в прозрачно-ясный и тихий вечер в укромном лесном закоулке, пред разгорающейся вечерней зарей, очень осторожно и нежно задеть отливающий живым оранжевым огнем Небесный Купол, возможно, он издал бы что-то подобное Твоему голосу... Не знаю, говорил ли Тебе кто про Твой необыкновенный голос. Не знаю, ведаешь ли, каким волшебством Ты обладаешь?! Не знаю. Я же про это Тебе ничего не сказал...

Я был счастлив. И казалось мне, этим ощущением счастья было заполнено все вокруг нас. И падающие снега, и холодные воды. И черное железо мостов, и тусклый гранит набережных, и строгая бронза памятников, и ягельно-зеленоватая медь церквей и храмов, и буро-песчаные стены домов. И сумрачное небо, и мокрая земля. Да, я был счастлив. Но я сразу уловил необыкновенную хрупкость этого мгновения счастья. Все было неустойчивым и зыбким, как наступающий осенний день. День короткий, призрачный, почти неуловимый. Ведь Ты и сама была

легка и хрупка, как падающая с неба снежинка. А снежинка неслышно садилась на руку – и в следующий миг стекала на землю родниковой капелькой воды. А возможно ли было сохранить снежинку на многие-многие лета и зимы?! Навсегда?! Навечно?!

По набережной сновала не очень веселая, принудительно-добровольно выведенная на улицы, прозрачная толпа. Она казалась серо-темной на фоне падающего снега.

С набережной, свернув вправо, мы вышли на знаменитую Главную площадь Твоего города. Шли медленно, не спеша. Ты говорила, как сказку сказывала, как песню напевала. А я слушал и смотрел. Конечно же, больше смотрел на Тебя, нежели на достопримечательности города. Вернее, всматривался в Твои глаза. Ты все показывала глазами. И я спешил за Твоим взглядом, очерчивавшим пространство вокруг нас. И этим пространством был весь мир, в котором нас было только двое.

Ты и я.

И больше никого.

И это была жизнь наедине с Тобой.

И я наслаждался этой жизнью и этим миром. Хотя иногда мне казалось, что Ты идешь не рядом со мной, а витаешь высоко-высоко в небесах, в мире грез и мечтаний. Ты не просто шла по жизни – Ты совершенствовала мир. Ты вся светила. Ты горела. Ты одухотворяла мир, человека и все сущее во Вселенной. Я знал, что Ты не подозревала, что сама была обворожительным совершенством мира. И все, к чему Ты прикасалась, становилось лучше, прекраснее...

Потом мы повернули под арку и прошли на Главную улицу Твоего города, тоже знаменитую. Впрочем, тут все, к чему ни прикоснешься, чем-нибудь да памятно. Хотя каждый город по-своему примечателен. Но это Твой город!.. Город, как и Ты, не был похож ни на какой другой...

Мы перешли Главную улицу напротив кинотеатра.

Помнишь ли, как назывался тот кинотеатр? Я помню. Но мне не хочется, чтобы кто-то узнал Твой город. Он принадлежит только Тебе – и никому больше. И кинотеатр тоже принадлежит только Тебе и мне.

Город был наполнен Твоим дыханием.

Город дышал Тобой.

На улице пронизывающий ветер с моря бил в наши спины. Падающий снег сразу же превращался в мокрую слякоть под ногами. Прохожие, съжившись, спешили по своим делам. Зябко, сыро. Но мне рядом с Тобой было тепло. Никто еще в этом мире не излучал такое тепло. Ровное, всепроникающее тепло. Оно согревало меня, стены домов, деревья, камень ближайших дворцов и храмов. Казалось, всю землю и небо. Я не чувствовал ни холода, ни ветра, ни слякоти. Но в фойе кинотеатра мы выпили кофе. Кофе был не очень горячим, но приятным.

В зале я сидел слева от Тебя и слушал Твое сердце. Его биение отзывалось во льдах и снегах моего Севера, и я улавливал эти милые отзвуки... Я чувствовал только Тебя. Ничего не скажу о Твоих глазах, о Твоих волосах, о Твоих губах, ибо до сих пор, до самого последнего мгновенья, никому не хочу отдавать Тебя. Не помню, как назывался фильм. Наверное, ни разу не глянул па экран. Не помню ни одного кадра. Но я помню Твое тепло. Ты излучала тепло, и я улавливал это тепло, начиная с колена. И чем выше, тем теплее, тем горячее Ты становилась, постепенно превращаясь в испепеляющий огонь. И я горел в этом сладостном огне... Ты согревала Вселенную. Всю. Ты согревала и дом моего отца на далеком Севере, и наш сосновый белоягельный бор, и наши озера, и нашу реку, и нашу Богиню...

Я вздрогнул от неожиданности. Нашу Богиню!.. Может быть, Ты сама Богиня?! Возможно ли такое?!

Я горел в Твоем огне...

И эта огненная строчка все вписала в мою память.

Помню Твои слова.

Помню Твои глаза.

Помню Твои волосы.

Помню Твои губы.

Я помню...

Словом, все я помню...

Тогда, в кино, справа от Тебя сидела Твоя подруга, тихая и красивая блондинка. Сначала я огорчился – зачем Ты пригласила ее с нами в кино? Но она оказалась девушкой деликатной, и я не чувствовал ее присутствия. При ней мы были вдвоем. Точнее, для меня была только Ты. Одна. Единственная. Незабвенная, никому не принадлежащая...

Я тихонько горел... Я был счастлив.

Потом, уже в сумерках осеннего дня, мы вышли из кино. По-прежнему шел снег, дул ветер и праздничные прохожие, радующиеся нерабочему дню, неистово месили уличную слякоть.

Загустели сумерки.

Загустели сумерки короткого осеннего дня Твоего города.

Я был невыразимо счастлив. И думал, что буду вечно счастливым рядом с Тобой. Хотя и предчувствовал, что слишком большое и неожиданное счастье не может быть вечным и непоколебимым. Наоборот, оно очень хрупкое и ранимое.

Наступил вечер.

Спустились сумерки.

И мы поехали к Тебе. И я все еще был переполнен счастьем. Мне было хорошо. И Тебе было хорошо. Нам было хорошо. И казалось, нам всегда будет хорошо...

Странно, почему в тот наивысший миг счастья я не сгорел?! Почему я не превратился в пепел?!

...А потом мы расстались. Думали – ненадолго.

Оказалось – навсегда.

Расстались навсегда.

Расстались.

Разъехались.

Потом я приехал в Твой город. И уже один бродил по нашим следам. Вернее, но Твоим следам. Набережная реки, Главная площадь, арка, короткий проезд, Главная улица, кинотеатр, Твоя улица, Твой дом. Я бродил как бы в сомнамбулическом сне. Никого и ничего не воспринимал. Видел только горящие тихим огнем Твои следы. Слышал только Твой чудный голос. Вспоминал только Твои слова. Улавливал запах только Твоих волос. Удивительно четко отпечатались на камне мостовых Твои следы. Я находил и всматривался в них необъяснимым внутренним зрением. Порою наплывали искаженные пушкинские строки:

... ходила маленькая ножка, вился локон золотой...

Хотя у Пушкина все это, кажется, было в настоящем времени.

Я снова в Твоем городе.

Город без Тебя опустел.

Город без Тебя осиротел.

Город без Тебя помертвел.

Вот и кинотеатр. В кино я безошибочно нашел место, где Ты сидела в тот счастливый осенний день. Замерев, я долго стоял над Твоим креслом. Стоял, ждал, когда Ты явишься ко мне. Я был уверен, что Ты придешь. Я все ждал и ждал Тебя. Наконец тихо и осторожно опустился в кресло. Осмотрелся, возможно, вздохнул незаметно для себя. Руки сами собой крест-накрест обхватили мои плечи, голова упала на грудь, глаза зажмурились, и все тело мое непроизвольно, до хруста в костях, сжалось в один единый бесформенный ком. Весь я оцепенел и впал в забытьё, будто провалился куда-то. А время как бы остановилось.

Сколько это длилось – не знаю. Но потом я очнулся. В изнеможении. Голова с трудом откинулась назад. Я закрыл глаза. И стал поджидать Тебя. Ждал, ждал. И наконец почувствовал Твое тепло. Как и в ту осень, в тот день, тепло от колена стало подниматься вверх. И чем выше, тем теплее, тем жарче, тем горячее. Сейчас Ты была рядом со мной. Я вернулся в прошлое. Или Ты пришла ко мне из ушедшего времени. Впрочем, это неважно. Главное, Ты была сейчас рядом со мной. И я ощущаю Твое тепло. Ты рядом, рядом со мной. И мне больше ничего не нужно. Я слышу, как и тогда, Твой голос. Я вслушиваюсь в чарующие звуки твоего голоса и впитываю твое тепло. И понимаю, что такое мгновенье уже не повторится никогда. Это в последний раз. Но мне достаточно и этого. Вместе со мной подошла к концу, заканчивалась, обрывалась жизнь вселенская. Вне моей жизни, как и у каждого человека, ничего не существует – ни солнца, ни луны, ни земли, ни Вселенной, ни Тебя. Ничего. И теперь наступил миг, когда я готов расстаться со всем этим ради Тебя. Ибо я уходил в небытие вместе с Тобой. Вместе с Твоим теплом. Вместе с Твоим голосом. Ведь сейчас мы слились воедино. Мы неразделимы... Я готов к уходу. Я вдохнул воздух, потом выдохнул. И стал замедлять дыхание. И, почти не дыша, медленно, не спеша, убавил бег сердца, чтобы потом, постепенно, как это мог делать мой прадед-шаман, остановить его и тихо, без суеты, уйти навсегда в небытие. И я стал терять ощущение реального мира, но Твое тепло еще долго-долго согревало меня...

...Но так и не канул я в небытие. Не ушел. Вопреки моему жгучему желанию, не остановилось мое сердце. Отчего?.. Почему?

Ну?.. Не потому ли, чтобы я смог написать эти строки о Тебе, чтобы люди знали, что они жили на земле в Твое Чарующее Время...

Проходили осени.

Проходили зимы.

Проходили лета.

Прошли годы.

Но годы ничего не стерли во мне, ничего не притупили. Как ни странно, время оказалось бессильным пред моим чувством к Тебе. Твое божественное имя живет во мне, и я это имя не доверю никому... Ты теперь от меня далеко-далеко, недостижимо далеко. И я часто думаю, что было бы, если бы все сложилось по-иному и мы бы остались вместе?! Что было бы?! Что?! Как прошли бы мы вместе по жизненной тропе?!

Недавно я узнал, что Твоя подруга, та славная и красивая блондинка, ушла из жизни. Жаль ее, жаль... Теперь свидетелями нашего таинственного осеннего свидания в Твоем городе останемся мы вдвоем. Нас двое. Ты и я – и больше никого.

Жизнь моя, как Солнце в полдень, уже поворачивается в сторону заката. И наверное, мы с Тобой уже не свидимся. Но я знаю, что никто и никогда не смог и не сможет полюбить Тебя так, как я любил и люблю Тебя.

Теперь я тешу себя одной мыслью, что в Нижнем мире, как уверяла меня моя языческая бабушка, каждый человек, и я в том числе, проживает еще раз одну жизнь, но только в обратном направлении. И сейчас я живу надеждою, что в той жизни я проведу с Тобой еще один день в Твоем осеннем городе и еще раз испытаю короткий миг наивысшего счастья.

Ради этого стоило пройти по этой жизни...

Барвиха, 27 января 1993 года

В МИР ВЕЧНОГО ПОКОЯ

Ушла в мир вечного покоя моя первая тайна...

Когда я впервые увидел тебя – сразу молнией ударила мысль: «Моя!» Я открыл дверь и увидел тебя с двумя подругами. Вы сидели у окна. Ты привстала и, улыбаясь, сказала, что ждете ме-

ня. Так мы познакомились. И хотя ты выглядела совсем юной девушкой, но уже была несвободна. Впрочем, все красивые рано теряют свободу. Это, конечно, меня немного огорчило. Но я знал, что ты все равно будешь моей. Рано или поздно. Помоему, ты тоже тогда почувствовала неотвратимость этого. Поняла неотвратимость любви, неотвратимость судьбы.

И мы стали вместе заниматься научными исследованиями. Работали весело, легко, с увлечением. Ты бывала в моем городе нечастыми наездами. В твои приезды, немного побыв в городе, мы почти всегда уезжали в сельские глубинки на полевые изыскания, «в народ». Я ждал тебя. Ждал с нетерпением. Мы встречались. И тихо радовались каждой встрече, дарованной судьбой.

Шли дни, месяцы, годы. Но я не особенно торопил время. Размышлял о том, что еще вся жизнь впереди. И все равно ты будешь моей.

В ту осень с тобой поехали на моторной лодке в верховье таежной реки. Ехали долго. В пути нас застало ненастье. Дул сильный ветер. То с холодным дождем, то со снегом. Тяжелые тучи почти задевали верхушки деревьев по левому и правому берегу. И когда наконец мы добрались до усадьбы моих родителей, то совсем продрогли.

Вечерело. Ранние осенние сумерки начали сползать на землю по ветвям деревьев.

Мы быстро выгрузились из шлюпки и, чтобы согреться после пронизывающей сырости реки, первым делом затопили крохотную баньку, стоявшую в соснах за жилым домом, на берегу ручья. Пока ты отогревалась в бане, я вскипятил чай и приготовил еду. Потом, наскоро поужинав, легли спать. Летний дом был довольно просторным. И железная печурка в осеннее ненастье не могла сразу прогреть его. Было прохладно. Поэтому мы развернули постели посреди широких нар и легли рядом, чтобы согревать друг друга своим теплом. Утомленный ненастной дорогой, я сразу же уснул, как только моя голова прикоснулась к подушке.

Проснулся тоже как-то неожиданно, вдруг. Открыл глаза и в сочившемся из двух окон зыбком сумеречном свете раннего утра увидел твое лицо. Точнее, твои глаза. Точнее, твой чистый и внимательный взгляд. На твоем лице не было ни следочка сна, слов-

но ты и вовсе не спала, а всю ночь, во тьме, вот так пролежала с открытыми глазами. На мгновение, как мне показалось, я окунулся в глубину твоих глаз. А может быть, я навечно остался в их ясной бездне. И, возможно, из этой бездны вытянул руки. И мы разом прильнули друг к другу. И в первый раз я почувствовал вкус твоих губ. Потом моя рука нашла молнию твоего спальника, и спальник мешок стал расползаться, превращаясь в одеяло. И ты обдала меня жаром своего прекрасного тела. И, почти задохнувшись, я потерял ощущение времени и пространства...

После, придя в себя, я осторожно повернулся на спину и долго смотрел в потолочное окно. Бледный, ровный и по-осеннему мягкий рассвет тихонько, словно боясь спугнуть нас, вползал в дом. Твоя голова лежала на моем плече, а кончики твоих каштановых волос, будто лаская, шекотали мою голую шею. Твои волосы всегда были какими-то вольными, независимыми. Ты их просто расчесывала, и они, прикрывая плечи, блестящим коричневатым щитом оберегали твое лицо со спины и с боков. Эта твоя прическа больше всего нравилась мне. Впрочем, все мне нравилось в тебе. С первого взгляда, с первого мгновения, как увидел тебя. Ты блистала классической красотой. В чертах твоего лица, в цвете глаз и волос, в жестах, в манере речи, в походке, в мироощущении много было от очаровательных муз девятнадцатого века, от эпохи Пушкина. Но те были далеко, за пределами почти двух столетий. А ты рядом. Ты могла спалить жаром своей души и своего тела. Ты была, конечно, лучше. С тобой им, конечно, не сравниться. Ни в чем. Ни в красоте, ни в любви. Сейчас впервые я узнал, как может любить любящая женщина. Беззаветно, безрассудно, безоглядно, безумно. Ты без слов мне сказала, что ты вся, каждой частицей своей принадлежишь мне. И поэтому душа моя горела. Душа моя полыхала. Мне было жарко. Жар распирал мое тело. Но мне было хорошо лежать рядом с тобой. Тело к телу. Голова к голове. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно.

Потом я вышел на улицу. И поразился тому, что увидел. Все вокруг было белым-бело. Выпал первый снег. Вчерашний ветер ночью стих. И в ушах стояла звенящая тишина. Казалось, весь мир надолго замер и прислушивался к тишине. Слушали тиши-

ну молодые сосны в снегу, дома в снегу, земля в снегу и низкое осеннее небо.

Наша шлюпка тоже была в снегу. Берега тоже белые, в снегу. Только вода в реке вилась черной струей. Вода струилась, серебристо и чисто звенела, словно напевала мне тихую песню о тебе. А мне было жарко. И жар, как вода реки, струясь, уходил в дремлющий под снегом сосняк, в небо, в свежевывающий снег. Но от этого ощущение счастья у меня не убывало. Наверное, нечто подобное испытывал библейский первочеловек Адам после сотворения Евы...

Я еще немного постоял у причала, прислушиваясь к музыке воды, затем с прежним жаром в душе вернулся в дом.

Почти рассвело. Наступал первый осенний день моего нового периода жизни. Будто я заново родился. И все начиналось с чистого листа, с первоснежья. В доме я сказал тебе:

– Зима пришла.

– Зима нашей жизни... – сказала ты своим певучим, похожим на звучащую музыку голосом.

– Весна нашей жизни, – сказал я.

– Пусть будет весна... – согласилась ты.

Мы отшельниками жили в усадьбе. С утра работали, каждый занимался своим делом, а после полудня обычно навещались на моторке к соседям, ездили вверх и или вниз по реке. Вечером возвращались домой. Топили печку, ужинали. Слушали тишину и вели неторопливые разговоры.

Мне совсем не хотелось уезжать отсюда. Если бы можно было, жил бы тут с тобой, никуда и никогда не выезжая. Но жизнь ставила свои условия. И мы вскоре вернулись в деревню. В деревне жили в отдельном домике. По утрам я рано просыпался. Шел на кухню, садился за стол у окна и, наблюдая за тихим сумеречным рассветом, пил кофе. Потом выходила на кухню ты. В голубой спортивной форме, обтягивающей твою ладную фигуру. Всегда с ясным взором, с чистым лицом, будто вовсе не спала. И мы вместе смотрели за таинственно тающими утренними сумерками. Это были лучшие часы наших встреч. Впрочем, все мгновения с тобой казались прекрасными в моей жизни.

Через несколько дней мы выбрались в ближайший город. Там расстались. Ты полетела в свой, я – в свой.

И начался эпистолярный период в нашей жизни. Я писал тебе почти каждый день. Ты мне отвечала. Конечно, не ежедневно. У тебя забот больше, чем у меня. А в конце зимы не выдержал – приехал к тебе.

Вернее, в твоём городе уже наступала весна. Трогуары были сухими. Снег на обочинах дорог побурел, стал ноздреватым от полуденных солнечных лучей.

Ты пришла ко мне в отель. И когда мы проходили через вестибюль, все мужчины смотрели на тебя. А женщины – на мужчин. Ты, чуть смущенная всеобщим вниманием, царственно прошествовала к лифту.

Я смотрел на тебя и слушал твои певучие, похожие на музыку, слова. Смотрел и слушал, слушал. Тебя можно было слушать бесконечно...

Вспомнили про вечер. Была возможность сходить в театр. Втроем, с твоим мужем. Было три билета. Немного подумав, я отказался от этой затеи. Может быть, стоило сходить. Тебе виднее, и ты всегда оказывалась права. Но мне, конечно же, больше хотелось побыть с тобой вдвоем, без третьего. И я все смотрел и слушал тебя. Будто вечность прошла после нашей последней встречи.

На другой день я пришел к тебе на работу.

Потом мы пошли в парк, где под сенью вековых сосен еще лежал печальный, обреченный на гибель, ноздреватый снег. Неторопливо, тихо переговариваясь, прогуливались по дорожкам. В конце аллеи, когда надо было повернуть назад, ты приостановилась, посмотрела мне в лицо и сообщила:

– Я все сказала мужу. Про нас с тобой...

Я молча смотрел на тебя. Не знаю, что отобразилось на моем лице. Не знаю. По-моему, немая сцена затягивалась. Ты подняла на меня свои прекрасные глаза. Губы твои чуть дрогнули, и ты чуть смущенно, с виноватой полуулыбкой сказала:

– Так будет лучше. По-другому я не могла...

Я не мог себе представить, что творилось в твоём доме. Не мог представить, как он принял твоё признание... Ты, ребенок, муж, наука, работа, домашние дела. Господи, как же теперь ты станешь жить?! Каково тебе?! Я больше беспокоился о тебе. Хо-

тел, чтобы тебе было хорошо, чтобы у тебя не было проблем. А теперь?

Тогда я еще не знал, что в любви надо доверяться женщине. Особенно если это любящая женщина. Может быть, просто интуитивно чувствовал это. Только намного позже я понял, что с того мгновения у тебя не стало мужа. Это была самая большая жертва, которую ты могла принести во имя любви. Но осознал это слишком поздно – уже после твоего ухода в мир вечного покоя. А тогда, в парке, мне подумалось, что тебе виднее, как быть. Значит, в самом деле так будет лучше. Прежде всего, лучше для тебя.

Я быстро поцеловал тебя. Но поцелуй пришелся чуть выше переносицы. Ты, конечно же, правильно поняла значение этого поцелуя, тихо засмеялась переливчатым ручьем:

- В лоб целуют покойников.
- Я попал в переносицу, – сказал я.
- Хорошо, пусть в переносицу, – согласилась ты.
- Ладно, сейчас все исправим, – уверил я и, наклонив голову, нашел твои губы.

Я долго не отпускал твои губы. Мы нечасто встречались, и поэтому каждый раз я старался навечно сохранить в себе любую частицу твоего тела. Потом я обнял тебя за талию, и мы пошли не спеша обратно по сосновой аллее. Шли, и я всем своим существом ощущал зыбкие ускользающие струи нашей жизни. Пройдя немного, медленно ступая, ты продолжила свою первую фразу:

– Потом я все перемыла в доме.

Я молча внимал каждому твоему слову. Выдержав паузу, ты сказала:

- Сапоги плохо просохли. У меня, кажется, зябнут ноги.
- Давай погрею, – сказал я.

Мы остановились посреди дорожки. Я присел на корточки и, расстегнув молнию, снял твой правый сапог. И приложил ладонь к твоей пятке. Она была прохладной и в то же время очень приятной, как все прохладное и свежее бывает в жаркий полдень. Ты стояла, опершись рукой о мое плечо. Я не видел твоего солнечно-светлого лица. Но знал, что тебе хорошо. Ведь мое тепло уходило в тебя. И ты невольно становилась частью меня.

И я, уходя в тебя, тоже превращался в частицу твоего тела и твоей души.

Так я продлял каждое мгновение нашей совместной жизни.

Потом, согрев тебя, предложил:

– Пойдем в тепло...

– Пойдем, – легко согласилась ты. И мы направились к выходу из парка.

Я все думал, как ты теперь станешь жить. Не думаю, чтобы твоя исповедь обрадовала мужа. Как он отреагировал, я не знаю. Ты ничего про это не сказала, а я не стал расспрашивать. Меня беспокоила твоя дальнейшая судьба. На это ты мне сказала своим музыкальным голосом:

– Не волнуйся. Я знаю, что делать...

И посмотрела на меня своим удивительным взглядом, в котором смешались вместе и любовь, и сочувствие нам обоим. Ты ведь не могла умчаться со мной неведомо куда, оставив свой город, дом, семью, работу и науку – словом, все то, к чему так привязалась за годы своей разумной жизни.

В ответ я только сильнее обнял тебя.

Потом ты сидела за фортепиано и играла. Я устроился в кресле чуть правее и впереди тебя. И смотрел на тебя. Смотрел и слушал. Кресло было старенькое, возможно девятнадцатого века, но гостеприимное, теплое, удобное.

Ты играла мне классику. И я мог бесконечно слушать и смотреть на тебя. Я видел тебя в профиль. Видел твою чуть наклоненную голову, ниспадающие на плечи вечерние волосы, чистый лоб и трепетно-чуткие длинные ресницы. Время от времени, не прерывая музыкальной фразы, ты поднимала на меня свои задумчиво-спокойные очи, и я тонул в их таинственной и томной глубине. В такие мгновения мы оставались совсем одни во всей Вселенной, и лишь нежная, тихая мелодия, будто льющаяся с небес, напоминала нам о наших земных днях. Мне особенно дороги были эти мгновения наших встреч и нашей жизни.

В тепле нам было тепло. В тепле нам стало жарко.

Это был удивительный жар. Я помню каждое прикосновение к твоему телу. Помню каждое твое движение. Помню каждый твой вздох. Ты была талантлива во всем. И в любви тоже. Каждый раз ты представляла предо мной другой, неизвестной и непо-

знанной. И каждый раз я открывал для себя новый мир твоего тела и твоей души. И эта бесконечная неизвестность и неизведанность все сильнее и сильнее меня тянула к тебе. При людях ты была скромна и даже застенчива, но когда мы оставались вдвоем, ты чувствовала себя удивительно свободной. И я радовался твоим переменам, твоему таланту так быстро переходить к естественному состоянию нормального человека. За одно только прикосновение к твоему телу можно было спокойно и без всякого сожаления умереть. Умереть в одночасье, в одно мгновение.

Потом я уезжал и писал тебе письма.

И опять начался эпистолярный период нашей жизни. Я писал тебе почти каждый день. Писал утром. Писал днем. Писал вечером. Писал ночами. Я посылал тебе тысячи и тысячи прекрасных слов. Может быть, миллионы и миллионы. Возможно, тьму и тьму слов и пожеланий. Все равно их никому не сосчитать. Они летели к тебе с каждой почтой. Они неслись к тебе в каждую секунду нашей жизни. Я жил только этим. Только ожиданием твоих писем. Ты писала, но чуть меньше и реже, чем я. Я понимал тебя. Ведь у тебя ребенок, наука, работа, мама, дом и множество других чисто женских забот.

Этот период закончился немного грустно. В твоём же сосновом парке, когда мы прогуливались в мой очередной приезд, ты тихо, как бы между делом, сказала мне:

– Я сожгла твои письма... – Обвела взглядом нахмурившиеся сосны, помолчала, потом добавила: – В этом парке. – Еще немного помолчала и пояснила: – Их негде хранить...

Мы без слов понимали друг друга. Я тоже часто задумывался о твоих письмах. Очень не хотелось, чтобы кто-то другой мог прикоснуться к твоему слову, предназначенному только мне. Не хотелось, чтобы кто-то узнал о твоих милых моему сердцу глазах, о твоей легкой грусти и сводящей с ума нежности и тайной страсти. Но у меня рука не поднималась избавиться от твоих писем. И, наверное, никогда не поднимется. Мне было грустно оттого, что все мои прекрасные слова к тебе под этими соснами превратились в пепел и улетели в небо. Улетучились. Я мог себя тешить только тем, что и с небес, когда ты вспоминаешь о них, мои самые лучшие слова согревают тебя. Ступок их энергии,

оная тебя теплой волной, витает где-то там, высоко-высоко, в неведомых звездных дальях.

Но в те дни мы уже плавно переходили к телефонному периоду нашей жизни. Мы все чаще стали переговариваться по телефону. Я звонил тебе на работу, домой, в науку... И всегда с упоением слушал твой голос, похожий на неповторимую и никем еще не записанную музыку. Ровный, мягкий, чистый и зачаровывающий голос. То ловил музыку твоего голоса, то смысл слов, то совсем отключался и думал только о нас с тобой. О том, как хорошо, что ты есть. Какое это счастье, что ты есть! И я могу слушать тебя. И могу приехать к тебе. И могу увидеть тебя. И могу прикоснуться к тебе. И могу поцеловать тебя и задохнуться на мгновение от пьянящего вкуса твоих губ. И могу согреться в испепеляющем жаре твоего тела. Какое это счастье!..

Я приезжал к тебе как на праздник. Садился в свое кресло, смотрел на тебя и слушал твою волшебную музыку. Ты, как всегда, играя, то опускала, то поднимала свои ослепительные очи. Это были мгновения, равные вечности. Ты общалась со мной и языком жестов и движения, и языком музыкальных фраз, и своим изумительным голосом. Однажды, сидя за фортепиано, не поднимая головы, ты сказала:

– В следующем году пойду в отпуск.

В словах ничего особенного, как бы все обыденно. Но музыкальная фраза выразительно предупредила меня, что речь пойдет о чем-то очень важном. Я молча слушал. Через мгновение, когда мелодия опустилась с высоты и выровнялась, ты своим ровным мелодичным голосом добавила:

– Возможно... на год.

Ты помолчала. Мелодия, замедляя темп, пошла в сторону пиано. И тут ты подняла на меня свои индиго-загадочные и словно бездонные омуты глаза, чуть улыбнулась и спросила:

– Возможно?..

Я молча встал, подошел к тебе и окунул руки в льющиеся чистым родником твои медно-лиственничные волосы, затем опустил, как в журчащий ручей, свое лицо и нашел губами твою макушку. Молча стоял и впитывал в себя лесной запах твоих волос. Это значило одно:

– Воз-мож-но...

Потом многое я узнавал о малыше по телефону. Прорезался первый зуб. Встал, сделал первые шаги. Пошел в первый класс. Закончил второй. Перешел в третий. Так водопадом мчалась-металась наша быстротечная жизнь. Я все думал, что впереди у нас еще много-много прекрасных дней и ночей. Но оказалось, ошибался. Оказалось, всему есть предел. И безмерному счастью тоже приходит конец.

Я звонил тебе весной. Звонил знойным летом. Звонил слякотной осенью. Звонил студенными зимами.

Звонил днем. Звонил вечерами.

И бессмысленную весть о твоём уходе тоже получил по телефону.

В тот год мне очень хотелось увидеть тебя. И я звонил тебе ранней весной. Звонил в апреле. Звонил в мае. В июне. В первых числах июля. Позвонил в конце июля.

Потом позвонил в самом начале августа. И сказал о главном:

– Я хочу приехать к тебе.

Ты помолчала в трубку, потом своим изумительным голосом пропела:

– Не надо.

– Почему? – удивился я.

Ты выдержала паузу и сказала:

– Я плохо выгляжу.

Я тихо засмеялся в трубку – ты не могла выглядеть плохо. Ты всегда прекрасно выглядела. В любом положении. В любой ситуации. В любое время дня и ночи. Я был уверен: плохо выглядеть ты просто не могла. Значит, подумал я, сейчас просто не очень удобное время для моего приезда.

И я уверенно возразил:

– Ты не можешь плохо выглядеть.

Ты снова чуть помолчала, затем сказала:

– Я недавно вышла из больницы.

Это меня насторожило, и я быстро спросил:

– Что-нибудь серьезное?

– Да нет, – услышал я твой спокойный ответ.

– Значит, я могу заехать к тебе?

– Да скоро мне опять надо будет туда...

– Может, помочь в чем?..

– Нет, ничего не надо.

Мы чуть помолчали. Потом я на всякий случай спросил:

– Выкарабкаешься?

– Да, конечно, – уверенно сказала ты.

Мы еще немного поговорили и попрощались.

Меня усыпил твой уверенный и всегда изумительный голос. Я не уловил ни одной тревожной нотки. Разве мир мог существовать без твоего певучего голоса, без твоей классической строгой красоты, без твоей грации в движениях, без изящных линий и форм твоего тела, без твоего таланта, без таинственной и непостижимой глубины твоих прекрасных глаз?! Нет конечно. Нет и нет.

И я не поехал к тебе. Хотя был уверен, что все равно ты выглядишь прекрасно. Но раз не очень удобное для тебя время, значит, не нужно приезжать. Я слишком тебя любил. Любил и прислушивался к каждому твоему слову, старался предугадать каждое твое пожелание.

А осень того года в моей безалаберной жизни выдалась суетливой и бурной. Та осень пролетела, как один день. А потом, в начале зимы все как-то не дозванивался до тебя. И лишь перед самым Новым годом меня озадачил незнакомый голос, который неинтересовался, кто спрашивает тебя. Я от неожиданности ничего не смог сказать. Никто и никогда такой вопрос мне не задавал. Если тебя не было дома, то сообщали, где ты и когда вернешься. Возможно, поэтому я не стал отвечать, как мне показало, на бестактный вопрос.

Наконец после новогодних праздников я позвонил твоей маме. Она назвала твое имя и обрушила на мою голову страшную беду одним словом:

– Умерла.

Я не поверил. Машинально переспросил:

– Умерла?

– Да.

– Когда?

– ... августа.

Она назвала точное число. Я быстро сообразил: это случилось менее чем через три недели после нашего с тобой последнего разговора.

Я потерял дар речи. Оцепенел. И долго сидел в этом оцепенении. Все мое нутро охватил огонь. И огонь нещадно сжигал меня. И будто рухнул в странное пустое пространство между миром живых и ушедших. Все теперь делал неосознанно. Встал, прошел на кухню, открыл холодильник, нашел бутылку. Налил стакан чего-то хмельного, выпил. Постоял, прислушался к тишине. Потом выпил второй стакан. Опять встал, прислушался, словно хотел услышать твой голос. Боль внутри меня немного притупилась. И я вернулся в комнату. Нашел телефон, набрал номер твоей мамы, спросил:

– Где похоронили?

– Там. Я не стала ее тревожить...

– Рядом с ней есть свободное место?

– Есть.

Немного помолчал, потом сказал:

– Хочу быть... рядом с ней.

Твоя мама выдержала большую паузу:

– Она сказала...

– Что она сказала?! – я перебил ее слова.

– Она сказала: пусть полюбит – и выживет...

Зачем выживать и жить, если нет тебя? Сейчас я думал только об одном: умереть и лечь рядом с тобой. Голова к голове. Рука к руке. Бок о бок. Как когда-то мы с тобой любили лежать на нашей земле и смотреть на небо, на звезды, в таинственную бездонную ночь. Я лежал бы и чувствовал, что ты рядом со мной, за тонкой пластиной земли, за тонкой стенкой гробовой доски.

Какое это блаженство лежать рядом с любимой в мире вечного покоя... Ничто уже не тревожит, не беспокоит. Мы вместе навеки. И никто и ничто нас уже не разлучит. Умереть, умереть, скорее умереть. В сию же секунду.

Но здравая половина моего рассудка подсказала, что попасть к тебе сейчас не так-то просто. Ты в другом городе. До тебя далеко. Сначала нужно добраться до тебя. А на дворе ночь, темно. А потом надо будет, чтобы кто-то положил меня рядом с тобой. Этот кто-то очень хорошо должен знать, почему это нужно нам обоим – и тебе, и мне. А таких людей, кто бы знал нашу тайну, почти нет. Какая-то необъяснимая магическая сила оберегала нашу любовь от всех посторонних, оберегала от всего любопыт-

ного и суетного мира. Даже твои близкие подруги вряд ли догадывались о ней. А твоя мама все чувствовала только интуитивно. Однажды в первые годы нашей встречи по пути к тебе я заехал зачем-то в ее мегаполис, в дом твоего детства. Было мне там уютно и хорошо. И твоя мама, учтивая и внимательная, с искренним добродушием, присущим широкой натуре, принимала меня. А я, кажется, тихо радовался твоему незримому присутствию в этом доме.

Разумеется, твоя мама ничего не спрашивала о наших с тобой отношениях. Только потом, спустя много времени, она как-то спросила тебя: «Он все еще любит тебя?» Ты тогда просто отшутилась, и эта тема больше не затрагивалась.

Огонь внутри меня опять стал усиливаться. Я пошел на кухню и снова один за другим с небольшим перерывом выпил два стакана хмельной жидкости. Боль немного притупилась. Потом оделся и вышел на улицу. Та зима выдалась особенно лютой. Но я холода не чувствовал.

Постоял возле дома. Было темно. Лишь кое-где светились тусклые уличные фонари в морозном ореоле льдинок. Потом сделал шаг и, будто во мне был компас, по мрачным, темным кварталам двинулся в сторону твоего города. Шел медленно, не спеша. Потому что был очень занят: думал о тебе. Думал и видел тебя. И в конце концов, после долгих изнурительных раздумий, возможно, вдруг открыл для себя природу любви. Твоей любви. Почему ты любила меня? И сейчас вдруг озарило меня: ответ упал будто с темной небесной высоты. Просто я любил тебя больше всех на этом свете. Больше, сильнее, веселее и добрее, чем все остальные, кто встречался на твоём пути. В этом я никому не уступал и не уступлю. И, осознав и поняв это, я будто заново родился на свет.

И теперь шел в морозном дыму и ждал, ждал с нетерпением своей кончины, своей смерти. И когда бы она ни пришла, какой бы она неожиданной ни была – я приму ее с радостью. Так моя земная жизнь уравнилась с потусторонней жизнью. Теперь живу ожиданием той, другой жизни. И свою кончину восприму с тихим ликованием – ведь там, в мире вечного покоя, ты ждешь меня.

Ханты-Мансийск, 21 апреля 2001 года

Вопросы и задания

1. Поясните название рассказ Е. Д. Айпина «Медвежье горе»?
2. Как вы думаете, прав ли герой рассказа Е. Д. Айпина «Медвежье горе» в своем утверждении, что «медведь, как и человек, бывает разный»? Поясните свое мнение.
3. Какой художественный прием использует Е. Д. Айпин, изображая природу в рассказе «Медвежье горе»?
4. Определите сюжет и композицию рассказа Е. Д. Айпина «Медвежье горе».
5. Как вы думаете, почему Дед Архип назвал Марину «лебедушкой» в рассказе Е. Д. Айпина «Лебединая песня»? Обоснуйте свой ответ.
6. Какую роль сыграли лебеди в судьбе героев рассказа Е. Д. Айпина «Лебединая песня»?
7. Составьте характеристику Марины в рассказе Е. Д. Айпина «Лебединая песня».
8. Можно ли считать «говорящим» название рассказа Е. Д. Айпина «Лебединая песня»? Аргументируйте свой ответ.
9. Определите сюжет и композицию рассказа Е. Д. Айпина «Лебединая песня».
10. Составьте характеристику Беспалого и Маремьяна в рассказе Е. Д. Айпина «Конец рода Лагермов».
11. Как вы думаете, почему Маремьян спас Беспалого в рассказе Е. Д. Айпина «Конец рода Лагермов»?
12. Как вы думаете, почему Е. Д. Айпин назвал рассказ «Конец рода Лагермов»? Аргументируйте свой ответ.
13. Можно ли утверждать, что разыгравшаяся в семье Маремьяна трагедия – это расплата за его давние поступки? Обоснуйте свою точку зрения.
14. Определите сюжет и композицию рассказа Е. Д. Айпина «Конец рода Лагермов».
15. Как вы думаете, почему Е. Д. Айпин назвал рассказ «Клятвопреступник»? Аргументируйте свой ответ.
16. Как вы считаете, кто является клятвопреступником в одноименном рассказе Е. Д. Айпина? Аргументируйте свой ответ.

17. Составьте сравнительную характеристику Михаила Копылова и Арнольда Никиштина по рассказу Е. Д. Айпина «Клятвопреступник».

18. Какие средства помогают писателю раскрыть психологическое состояние героя в рассказе Е. Д. Айпина «Клятвопреступник»?

19. Можно ли считать грозу символом в рассказе Е. Д. Айпина «Клятвопреступник»?

20. О каких событиях региональной истории упоминает автор в рассказе «Клятвопреступник»? Докажите свой ответ цитатами из текста.

21. Определите сюжет и композицию рассказа Е. Д. Айпина «Клятвопреступник».

22. Можно ли считать жизнь Михаила Копылова в рассказе Е. Д. Айпина «Клятвопреступник» счастливой? Как вы думаете, кто или что стало причиной этого? Аргументируйте свой ответ.

23. Согласны ли вы с автором в определении жанра произведения «Осень в твоём городе» – осенняя грусть? Поясните свой ответ.

24. Как вы думаете, почему вместо имен героев Е. Д. Айпин использует местоимения в рассказе «Осень в твоём городе»?

25. Какую роль сыграла осень в рассказе Е. Д. Айпина «Осень в твоём городе»?

26. Можно ли утверждать, что в рассказе «Осень в твоём городе» Е. Д. Айпин создал образ Возлюбленной? Обоснуйте свой ответ. Какие детали использует автор, создавая образ Возлюбленной?

27. Можно ли утверждать, что тема любви стала главной в рассказе Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя»? Поясните свой ответ.

28. Как автор определил жанр своего произведения «В мир вечного покоя» и обосновано ли такое определение? Аргументируйте свой ответ.

29. Кем была для героя героиня в рассказе Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя»?

30. С кем из библейских героев сравнивает свои ощущения герой рассказа Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя»?

31. В какое время года происходят основные события в жизни героев в рассказе Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя»? Определите «погодные ощущения» героев?

32. Какую роль сыграл поцелуй в лоб в рассказе Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя»?

33. Что составляет категорию счастья в рассказе Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя»?

34. Когда герой рассказа Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя» осознал, что чувства, испытываемые к героине, были любовью?

35. Определите сюжет и композицию в рассказе Е. Д. Айпина «В мир вечного покоя».

КРАСНАЯ НАРТА

ПРОЛОГ

Бой тайги, свист ветра, отдаленный гул тайги. Из темноты с лучем света выезжает Красная Нарта с красным флагом. Проезжает, освещая заимку охотника, партизан.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Вдоль урманов и рек Красная Нарта с красным флагом идет!..

ВТОРОЙ ГОЛОС: Зачем в дебри таежные Красная Нарта ломится?! Зачем?!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Она людям везет Красное Время. Новое Время!

ВТОРОЙ ГОЛОС: Кому это новое Время?! Зачем оно, красное Время?!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Новое время охотнику и рыбаку! Красное время таежнику и оленеводу!

ВТОРОЙ ГОЛОС: А что же купцу?! А что же шаману?!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Красная Нарта и купца, и шамана прогонит!

ВТОРОЙ ГОЛОС: Как без купца да шамана народ проживет?!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Красное время народ от всякой беды спасет!

ВТОРОЙ ГОЛОС (зловеще): Красная Нарта в вековых сугробах тайги завязнет! В непроходимых урманых с пути собьется. В таежные реки-озера провалится! На крутых сопках-горах разобьется! В вековых сугробах тайги завязнет! Завязззнет!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС (подхватывая окончание последнего слова): Нет!.. Врешь – не завязнет!.. Вдоль урманов и рек Красная Нарта с красным флагом идет! У Красной Нарты:

– Красное солнце!

– Светлое небо!

– Удачливые тропы – удачливые пути!

У Красной Нарты:

... Счастливые песни, счастливые сказки!

(торжествующе) Вдоль урманов и рек Красная Нарта с красным флагом идет!

(После песни включаются все прожекторы).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Охотничье зимовье. В переднем углу Аксинья в окружении туесков, игольниц, мешочков – шьет кисы. Возле нее, собрав из утиных носов длинный аргиш, играет Миколка. Захар занят ремонтом подволок.

ЗАХАР: Теперя-все пурга, пурга... (покосился на потолочное окно). На кого небо разгневалось? Такого года не упомяну. На охоту с собаками как пойдешь?

АКСИНЬЯ: Может, это хорошо? Старые охотники говорят, новый снег удачу приносит.

ЗАХАР (в раздумье): Удачу-то, удачу. Так-то так. Но Нум Торыму не мешало бы и людей послушать. Чтоб охотника послушал. Чтобы рыбака послушал. Знал бы чо от него таежные человеки хотят...

АКСИНЬЯ (сердито): Жди-ка, услышит!.. Мои молитвы в год большого мора он услышал?! Помнишь – ему сколько молилась?! Услышал?! Всех ребятишек моих взял! Всех троих! В год один! В день один... Его сколько просила?! Слез моих сколько в землю упало! Тогда в тайге один человек все людские поклоны брал – Гаврил Паук! Вороном над зимовьями летал, добычу смотрел. Они с купцом самогонку хохотом закусывали, а мы лосиные копыта варили. Рыбы кости толкали, чтобы ребятишки не померли.

ЗАХАР: Ладны, хватит...

МИКОЛА: Мама?! Ма-ма-а?!

ЗАХАР (жене): Ребятишку не пугай...

АКСИНЬЯ: Иди, иди, маленький, играй.

МИКОЛА (радостно): Мама, Харгур лает – гость! Я посмотрю, кто приехал?

АКСИНЬЯ: Иди, только теплую малицу надевай! (Миколка бросается к малице)

ЗАХАР (прислушиваясь): Таперя не успеешь, Микола – быстрый гость, в сених уже идет.

(В зимовье стремительно влетает молодой охотник Василий, брат Аксиньи).

ВАСИЛИЙ: Питя вола! Питя вола.

ЗАХАР: Питя вола!

АКСИНЬЯ: Питя вола!

ВАСИЛИЙ: Питя вола, маленький человек Микола!

МИКОЛА: Мама говорит, скоро я большой совсем стану!

ВАСИЛИЙ: Верно Микола – Большое время пришло (возбужденно). Слыхали, родичи, большую новость?!

АКСИНЬЯ (настороженно): Что случилось, Васи?! Какое горе, несчастье идет? Война?!

ВАСИЛИЙ: Сестра, не пугайся. По словам знающих людей, это хорошая новость. Белого царя скинули!

АКСИНЬЯ (удивленно): Скинули?!

ЗАХАР (недоверчиво): Как так?!

АКСИНЬЯ (все еще удивленно): Откуда ... Скинули?!

ВАСИЛИЙ: Где он всю жизнь спал, вот оттуда и скинули. Говорят, травой-мхом весь оброс. Страшный такой, у-ух!

АКСИНЬЯ: Его разбудили, значит. Подняли. А кинули куда?

ВАСИЛИЙ: К нам кинули. Говорят, в Тобольск-город везут. Там им сидеть место. Жить место. Вот какое время пришло! (смеется).

ЗАХАР: Куда твой смех, Васи?! Таперя кто заместо Белого царя-то править будет?! Скажи, на кого сидеть нам, таежным людям?! Таперя как без царя-то жить?!

ВАСИЛИЙ: Жить можно. Время Красного царя пришло. Мне говорили, это царь бедных людей. Царь охотников я рыбаков. На него теперь будем сидеть. Он станет править!

(Аксинья накрывает на стол, наливает брату чай. Тот садится к столу, ест, Аксинья и Захар некоторое время молчат).

ЗАХАР: А его имя как?

ВАСИЛИЙ: Про кого ты?

ЗАХАР: Этого Красного царя. Белого знал – Миколой звали. А этого как?

ВАСИЛИЙ: (озадаченно морщит лоб, потом воскликнул) Вспомнил!.. Много в голове новостей – все спуталось! Вспомнил, имя его – Совет! Советская власть теперь заместо Белого царя!

ЗАХАР (сдержанно): И какой он... этот... Сое... Совет? Советская власть? – Видел – так скажи.

ВАСИЛИЙ: Совет и есть Красный царь. А в Совете не один есть человек, а много. В городе был. В Совет хотел. Он теперь главный. Своими глазами видел. Там больше бедные. Попа и

купца к Совету не пустили. Вот как там! А главным в Совете, председателем, – Арсений-старик. Теперь он заглавный в городе! Большой человек!

ЗАХАР: Это который мой Арсений-старик?

ВАСИЛИЙ: Тот. Тот Каторжник. Твой друг Арсений-старик, которого Белый царь из большого города прогнал.

АКСИНЬЯ: Ох, это он в Год Большого мора нас от смерти спасал! Только ребяташек не успел, а нас вот... Пусть он с удачей-здоровьем долго-долго живет! Хоть и не старый, а недаром люди к его имени мудрое слово «старик» приложили – Арсений-старик!

ВАСИЛИЙ: Видно недаром. А над домом, где Совет и где Арсений-старик, красную материю повесили. Флагом называется.

АКСИНЬЯ: А что это такое? Для какого дела?

ВАСИЛИЙ: Арсений-старик так сказал: это значит, время белых кончилось, а теперь Время Красных пришло. Был век богатых, начался век бедных!

ЗАХАР: Таперя скажи: Время красных сколько будет жить? Надолго?

ВАСИЛИЙ: Арсений-старик сказал, навсегда. Такие его слова помню.

АКСИНЬЯ: Время крепкое, наверно?! Он напрасно слова на ветер не пустит.

ВАСИЛИЙ: Крепкое-крепкое. И красную материю, которая флагом называется – не напрасно повесили. Так я думаю. Видел Гаврилу Паука, так ниже травы стал, ниже мха стал. Семенит, косится на красное – и дрожь его взяла. Тихий такой, но злой, как змея. Флаг бы сорвал – но руки короткие. (Довольно) Ах, какой Паук стал. Не признаешь. Совсем другой стал.

ВАСИЛИЙ: А купцов совсем не видел – видно, дома притаились. Конец пришел. Шипят. Арсений говорит, все у них возьмут будто бы бедным. Рыбаку – сети, невода, пески стрелевье! Охотнику – уголья в урманах и кедровниках! Оленным людям – стада и пастбища! И шаманам ничего не будет! Вот кто такой Совет!

(Василий допивает чай, поднимается. Надевает капюшон, поправляет малицу).

ЗАХАР: Ужо поехали? Сидел бы ишо, вестей много везешь.

ВАСИЛИЙ: Нет. Мне надо быстро-быстро ехать! Весть о Совете и революции всем охотникам надо передать! Всем, всем!

АКСИНЬЯ: А кто такой ... Ррр ... Ре-во-лю-ца?

ВАСИЛИЙ: Красная Нарта по тайге идет. Скоро до ваших мест доберется. Тогда поймете, что такое Совет, революция! Кто такой Ленин! Красная Нарта с теплом, удачей идет! Ждите Красную нарту!..

(Василий уходит. За ним выходит Микола).

АКСИНЬЯ: Вот какая весть!.. И Васи другим стал: легким и скорым. Раньше будто сонный ходил. А тут проснулся и по тайге с большой вестью о Совете помчался? Что скажешь?

ЗАХАР (раскуривая трубку): Таперя вот дела-а...

АКСИНЬЯ: Чо дела а?.. Тебе тоже не мешало в город ходить. Можбыть, маленько другим бы стал. Паука сколько поклонами кормить? Сколько? Он привык, давно охотников обирает! Его одними поклонами не накормишь! Он не такой, сыт не будет!

ЗАХАР (задумчиво): Вот пошто осенью он не ехал. Не успел.

АКСИНЬЯ (возмущенно): Не успел?! Да эта новая... Со-советская власть... ему разбой держать не дает. Арсень-старик не дает. Ежели бы не так – давно тут был!

ЗАХАР (пуская облако дыма): Новая власть таперя... С Советом! С Революца? Непонятная она, неожиданная – будто с неба упала ...

АКСИНЬЯ: Пошто неожиданная? Какая большая весть завсегда неожиданно приходит. Пошто непонятная?.. Мне понятная. Мне сердце завсегда говорило: ожидай, когда-нибудь лучшее время придет! Особенно когда Год большого мора ушел. Не может быть все плохо да плохо. Конец должен прийти. И вот старое время ушло, которое ребяташек наших взяло... Понимаешь, слышу нутром – то светлое Время идет, которое ожидала. Так ожидала!.. Как думаешь, это Время про которое мое сердце говорило?! (Смотрит на мужа в ожидании ответа).

ЗАХАР: Может, и то время. Не знаю.

АКСИНЬЯ: Нет, новое Время быстро не уйдет. Мне сердце так говорит. А сердце неправду не скажет.

(Захар отходит к чувалу с трубкой в зубах, и с отрешенным видом садится на чурку. Выходит Микола).

МИКОЛА: Мама, а кто... Революца? Кто Ленин?

АКСИНЬЯ: Думаю, что это все хорошие люди! Слышал, дядя Вася говорил: новое Время идет! Вот Красная Нарта придет – все узнаешь.

МИКОЛА: Харгур как залает – встречать побегу. Я первым увижу красную нарту, мама?!

АКСИНЬЯ: Ты, ты увидишь, мой маленький охотник!

(Микола снимает кисты. Захар рассматривает отремонтированные подводки. Акси́нья возится с постелью. Затемнение).

НОЧЬ

(Слышится лай собаки. Акси́нья засветила плошку, накинула на плечи сак. Сидит, прислушивается к лаю. Затем начинает будить мужа).

АКСИНЬЯ: Вставай, слышишь! Харгур лает, кто-то едет. Слышишь!

ЗАХАР (спросонья): Таперя слышу...

АКСИНЬЯ: Да вставай! Может быть, Красная Нарта?! Гости?!

ЗАХАР (садится): Гости-так мимо не пойдут. Не напрасно с большой дороги завернули.

АКСИНЬЯ: И пошто оне в полночь?! Темно!

(Входит Федор Суарин. Весь в снегу. На шапке красный бант. На поясе в кобуре револьвер).

СУЕРИН: Захара зимовье?..

АКСИНЬЯ: Его, его.

СУЕРИН: Нас тут много. Я не один. (Высунувшись в дверь, кричит в темноту) Давай сюда!

(Входит Катя. За ней партизаны вносят раненого Андрея. За ними – сухонький старичок Михеич. Вооружены чем попало: тут и охотничьи ружья, и винтовки и револьверы. Раненого укладывают на нары, Катя придерживает ему голову).

МИХЕИЧ (потирая руки, оглядывая зимовье): Ох и снежура! Вон какие мохнашки (хлопнул рукавицами) – а руки того, закоченели! Как ты Катеринушка?! Не озябла?!

КАТЯ: Нет. Вот, Андрей (ласково). Потерпи немного. В избушку приехали. Потерпи, отогреем.

(Захар разводит огонь в чувале, подвешивает чайник. Возле него суетится Михеич. Микола садится на постели, внимательно смотрит на гостей).

МИКОЛА: Мама, кто это? Люди Красной Нарты?

АКСИНЬЯ: Это... гости. Ты пошто не спишь, Микола? Утро ишо не пришло. До утра далеко.

МИКОЛА: Мой сон убежал... Скажи, мама, кто эти люди?

КАТЯ (подходит к Миколу, дает ему кусок сахара, ласково): Как зовут тебя, мальчик?

МИКОЛА: Микола.

КАТЯ: На охоту еще не ходишь, Микола?

МИКОЛА: Нет, папа сказал: маленький, ружье не терпит.

КАТЯ: А учиться хочешь?

МИКОЛА (недоуменно смотрит на нее): Ууу... учи-ца? Белку искать папа учит.

КАТЯ: Не охоте, а грамоте. Читать и писать хочешь? Книгу станешь читать.

МИКОЛА: Кто учит?.. Папа не читать – охота ходит. Мама не читать – кисты шьет. Кто учит?

КАТЯ: Теперь вот все по-другому будет при Советской власти. Все охотники – по-новому жить станут. И читать научатся, и писать. Я сама буду всех учить.

АКСИНЬЯ (обращаясь к Кате): Нарта Красный где, скажи? Как живет, как едет?

КАТЯ (недоуменно): Красная Нарта?

АКСИНЬЯ: Мы Красный Нарта слышали. Новый Время везет.

КАТЯ: Красная... (уверенно). Есть такая Нарта. Только она немного задержится, но обязательно придет. И новое Время привезет. И для Миколы. Он уже будет жить совсем по-новому. Будет в школу ходить, выучится разным наукам. Вот какое новое Время.

АКСИНЬЯ: Чо слышно – скоро придет?

КАТЯ: Скоро, скоро. Ждите.

АКСИНЬЯ (обняв сына): Слышишь, Микола: для тебя Новое Время идет! Для тебя!.. О Торым, как долго ждала! Как этот день ждала!.. (Миколу) Ты братьев и сестер не помнишь. Ничего не помнишь!.. Ты один остался ... один! Никому тебя не отдам,

никому! (Аксинья укладывает сына в постель). Спи, сынок, утро еще не пришло...

(Катя отходит к раненому. Возле раненого Михеич, Аксинья наливает воду в куженьку, подходит к раненому. Катя перевязывает, помогает ей Аксинья и Михеич. Затем все садятся на нары и чурки и пьют чай. В сторонке Захар курит трубку. К нему подсаживается Суерин).

СУЕРИН: Вот какое дело, хозяин!.. (Помолчал) Совет разгромили! Кулачье! Контра! В городе и верховых селах разгромили! Купец Теплоцкий банду сколотил. С Пауком вешают и топят в проруби! Вешают и топят большевиков! Комсомольцев! Советчиков! Всех! Против Совета поперли. Совет им поперек глотки! Совет у них в глотке сидит! Но мы свернем контру! Свернем! (стукнул кулаком по коленке). Мы всех поднимем, нас много будет! Революцию им никак не победить! Нет (пауза). Вот бой был. Товарища ранило. Его с Катей оставить нужно, тут, Катя вылечит его... Дорога тяжкая, длинная. Холод, что контра бандитская. Плохо ему в дороге. Оставим тут – только укрыть их надо. Вдруг банда нагрянет – чтобы не нашли!.. Такое вот дело, хозяин! (Захар молча и старательно сосет трубку).

ЗАХАР: Красный... Белый... Моя, однако, охотник. Таперя мой какой дела, пушай красный белый бьет, ежели дела больше нет. А моя тайга надо ходить. Охота надо ходить.

СУЕРИН: Погодь!..

ЗАХАР: Мой какой дела...

СУЕРИН: (перебивает) Как твое какое дело? Как? Это твое дело! Твое!.. Не купец?! Нет! Не шаман?! Нет! Ты – пролетариат?! Во – ты есть пролетариат! Скоро пролетариат мировую революцию учинит! Раз ты пролетариат – это твое дело! Твое! Должен ты устанавливать советскую власть! Должен бороться – это твоя власть! Должен выступить против Белого царя и купца! Так, хозяин!

ЗАХАР: Таперя скажи: что моя Советская власть давал?

СУЕРИН (в упор уставился на него): Ты это... што?! Ты што мелешь – да Советская власть тебе все! Как отец будет! Как мать будет! А царь што тебе давал?! А купец тебе што давал?!

ЗАХАР: Чо Белый царь давал! Чо купец давал?! Белый царь не видал – неправда не скажу. Купец видал. Купец порох давал. Дробь давал. Ружье давал. Купец мука давал. Чай давал.

СУЕРИН: Хочешь сказать – Советская власть шиш тебе давала?! (приподымаясь). Што хочешь сказать?! Ши-шш-ш?

ЗАХАР (молча кивает в знак согласия): Моя сказать. А таперя Советская власть – моя не видал ишо. Новый он, на ум ишо не пришел. Хороший али плохой. Сам говорит – Советскую власть воевать нада. А сам ужо от купец бежит. Как таперя понимать?

СУЕРИН (вскакивает): Это я-то бегу?! Против Совета агитки разводишь?! Да я тебя, контра старорежимная! Собственными руками пролетариата (тянет руку к кобуре)

(К Суерину бросаются Катя и Михеич. Тот уже вытащил револьвер. Михеич хватает его за руку, Аксинья семенит к мужу, останавливается возле него. Поднимаются остальные партизаны. Захар невозмутимо курит трубку).

КАТЯ: Федор, Федор, товарищ Суерин!

МИХЕИЧ: Федьша, лихомант! Выпорю! Брось – выпорю!

СУЕРИН: Ладно, ладно. Разговоры такие... не могу слышать. Про нашу Советскую власть. Нутро разом закипает! Все во мне кипит.

МИХЕИЧ (кивнув на Захара): Не контра он, не контра, а темный. Аль не видно: темный. Свет-то революции еще не проник сюды. Токмо идет. Токмо доходит. Экая глухомань, тута еще лешачки бродют! Понимаешь?

КАТЯ (Суерину): Михеич прав. Ничего не знают, одними слухами живут. Красную нарту ждут. Ах, был бы с нами Арсений Петрович!

МИХЕИЧ: Да, кремень-человек был. Могутный души человек был... (опускает голову).

ЗАХАР (насторожившись): Чо с ним?! Он где?!

АКСИНЬЯ (испуганно): Ему плохо? Болезнь пришла?!

МИХЕИЧ: Тяжело Арсений Петров...

(Захар замер с трубкой в руке. Аксинья медленно опускается на нары возле мужа).

КАТЯ: Погиб.

СУЕРИН: Убили (сжимает кулаки).

МИХЕИЧ: Сгубили ироды-ы-ы! Сгубили!

АКСИНЯ: О Торым, чо земля делает! Чо небо делает! Такой человек!..

ЗАХАР: Пошто убил?

КАТЯ: За что? Он хотел... Он хотел, чтобы в дома всех бедных охотников пришла удача. Чтобы все люди хорошо стали жить. Чтобы никто не знал горя и нужды...

ЗАХАР и АКСИНЯ (в голос): За такой дела разве можна убить?!

КАТЯ: Убивают. Белые всех убивают, кто против них.

АКСИНЯ (вздыхает): Э-э, Арсень-старик...

КАТЯ (после паузы): Он и о вас говорил. Последний раз.

АКСИНЯ (быстро): Какие слова?!

КАТЯ (медленно): Хорошие слова...

(Все замолкают. Захар сидит с опущенной головой. Мнет в руках кисет. Несколько мгновений в зимовье полная тишина. Затем все взгляды устремляются на Захара. Но тут выпрямилась Аксиныя).

АКСИНЯ (печально и негромко): Мой муж... ваши люди возьмет.

(Все молча ждут. ЗАХАР поднимает голову, смотрит на Аксиныю, затем переводит взгляд на Суерина).

ЗАХАР (твердо): Жена правда говорит: моя люди прятать будет. Таперя так. Раз такой дела...

АКСИНЯ: Он женщина и парень такой места возит – собака след не находит!

СУЕРИН (недоверчиво косится на Захара): Как бы в лапы Паука не угодили наши товарищи.

МИХЕИЧ: (Суерину) Ты чо – остяку не веришь?! Окстись! Побойся бога – колды остяк неправду на себя брал?! Как сказал – так и делает. Аль не слышал, не знаешь?!

ЗАХАР: Таперя много слов не надо. Пошто языка мозоль делать?

СУЕРИН: Это я к тому, чтоб и сам не попадался Пауку. Попадешься – никого не пожалеет (махнул в сторону товарища) – ни ребенка, ни жену. Большая дорога тут, недалече, наверняка сюда нагрянут. По зимовьям и селам шастают, гады! Страх наводят.

ЗАХАР (глянул в потолочное окно): Звезда утренний заря придет – поедем, Месте поедем. Ты – свой дорога. Мы – свой дорога.

АКСИНЯ (гостям): Устал маленько – так лежи спать. Ночь ишо. Нам никто не ездит. Как ехать станет – так Харгур далеко слышит, его голос скажет. Моя тоже не спит – муж дорога собирай.

(Гости расходятся по нарам, устраиваются на ночевку. Захар и Аксиныя в своем углу зимовья).

ЗАХАР: Нет Арсень-старика. Как так вышло? Не понимаю никак...

АКСИНЯ: Думаешь, что-нибудь понимаю?

ЗАХАР: А Арсень-старик-то за красных был уже.

АКСИНЯ: Красный. Сразу тебе сказала: Время красных, новое время пришло. Мне сердце так говорит. А ты никак время понять не можешь.

ЗАХАР: Мой ум не быстро ходит – долго идет. Твой быстро ходит, мой ум перегоняет. Может, и мой ум скоро до нового Время, до Революца, до Ленина дойдет. Таперя так думаю.

АКСИНЯ: Это хорошо. Шибко-то не отставай – не догонишь вдруг! (смеется). Заблудишься.

ЗАХАР: Не-е, таперя дорогу найду.

АКСИНЯ (вздыхнув): Арсень-старика вот не стало. А Микола так его видеть хотел. Чо теперь – не увидишь...

ЗАХАР (медленно): Таперя на одного красного меньше стало. На одного меньше...

(Микола садится, протирает глаза).

МИКОЛА: Мама, папа, почему это не спите?

ЗАХАР: Спи, Микола, маленькие быстро растут, когда хорошо спят. Тропа охотника близко будет. Спи.

МИКОЛА: А ночь далеко ушла?

АКСИНЯ: Далеко, далеко. За урман, за озеро, за горы ушла ужо. Скоро утро придет!

ЗАХАР: Таперя скоро Звезда утренней зары придет. И тайга светлая станет.

Конец первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

(Полдень. То же зимовье. Акси́нья шьег кисы. Возле нее Микола строга́ет палочку).

МИКОЛА: Где папа? Почему так долго нет его?

АКСИ́НЬЯ: Его, наверное, охота далеко в тайгу увела. Скоро придет.

МИКОЛА: А гости уехали?

АКСИ́НЬЯ: Чо им тут делать: по делам поехали.

МИКОЛА: А тетенька, которая учить хотела, – тоже с ними уехала?

АКСИ́НЬЯ: Катерина-то? Она тоже уехала.

МИКОЛА: А почему они так быстро уехали?

АКСИ́НЬЯ: Дела у них есть. Они шибко спешили.

МИКОЛА: Я думал, они маленько поживут у нас, в нашем доме. А ты не разбудила, когда уехали. Я «до свидания» им не сказал.

АКСИ́НЬЯ: Мал-мал потерпи, Микола. Они скоро обратно приедут. Сказали – мимо не проедут.

МИКОЛА: А мне сон приснился, мама. Наши гости там были.

АКСИ́НЬЯ: Расскажи, Микола, послушаю.

МИКОЛА: Такой сон я еще не видел. Сначала слышу, снег шумит – по снегу едем. Открываю глаза, вижу – солнце. Такое яркое-яркое. Бежит за нами по кедрам. Как белочка скачет – с дерева на дерево. А снег белый-белый, сверкнет на солнце, глазам больно. Потом русскую тетеньку увидел, которая...

АКСИ́НЬЯ: Катерину? Она была?

МИКОЛА: Она, она, я сразу узнал ее. Вот – улыбается тетенька Катерина, а лицо красивое такое. Слышу, говорит она: «Андрей, смотри – наш Микола глаза открыл». Тот оглянулся и говорит: «Верно, оклемается наш остячок!»

АКСИ́НЬЯ: Это который Андрей-то?

МИКОЛА: Не знаю.

АКСИ́НЬЯ: Неужто который раненый?.. Поправляется, значит... А дальше-то что было?

МИКОЛА: А тетенька Катерина ему: «Ведь он выживет, Андрей?» А он говорит «Как же, обязательно должен выжить». Тут я проснулся. Смотрю, светло стало – день пришел.

АКСИ́НЬЯ (озабоченно): А куда тебя везли? Не знаешь?

МИКОЛА: Не знаю, мама.

АКСИ́НЬЯ: Ну, вот сон... Солнце – это хорошо. А вот пошто тебе везли? Куда?

МИКОЛА: Не успел спросить – проснулся.

АКСИ́НЬЯ: Ладно. Чтобы сон плохой стороной к нам не повернулся.

МИКОЛА: Сон мне понравился. Хорошо ехали.

АКСИ́НЬЯ: Пусть все хорошо будет.

(Тревожный лай собаки).

МИКОЛА: Красная Нарта?! Пойду?!

АКСИ́НЬЯ: погоди. Как Харгур лает – что-то недоволен, шибко много шума. погоди...

(Слышится скрип полозьев, ржание лошадей. Топот и крик. Дверь с грохотом распахивается и в зимовье вваливается Паук. За ним Петруха, Паук весь а ремнях, увешан оружием. Акси́нья вздрогнула и уколола палец парусиновой иглой для шитья кожи, Микола прячется за спину матери).

ПАУК (простреливая зимовье по всем углам): Кто сторонний есть?

АКСИ́НЬЯ: Не видит? Глаз нет?

ПАУК: Не твое собачье дело... о моих глазах. То-то! Петруха, потыкай носом туды-сюды, понюхай нет ли кого?

(Петруха смотрит за чувал, затем в другие углы и нары. Паук поставил в чувал большую охапку дров, протянул к пламени руки, погрел их).

ПАУК: Батюшка Иван Семенович жар обожают. Теплых, благородных кровей они.

АКСИ́НЬЯ: Куда шибко много дров, дом горит!

ПАУК: Не бойсь. Раньше батюшки не горит. Пока мы тут, не сгорит. А там как господу богу угодно будет. Вернее, батюшке Иван Семеновичу.

ПЕТРУХА (подскакивает к Пауку): Нету-ка никого!

ПАУК: Ну, ступай, батюшку веди!

(Петруха уходит. Дверь с грохотом распахнулась, и вслед за Петрухой в зимовье ввалился толстый бородатый атаман – купец Иван Семенович Тетюцкий, в тулупе и мохнатой шапке. За ним – его банда. Паук бросился к атаману, помог ему снять тулуп и усадил возле чувала, бандиты на ходу сбрасывали шапки,

руковицы и, потирая руки, столпились у чувала. Загалдели, загремели котелками).

ГОЛОСА: Эх, пожрем сейчас! Пусти к огню, оглобля! Потерпишь, не сдохнешь! В нутро бы – где бутылка?! Ух, в санях оставили? Живо сюды!

ПАУК: Петруха – подать стол!

(Петруха приносит стол, ставит перед атаманом. На стол живо нагромождают закуску, кружки и четверть самогона).

ПАУК: Тих-хо. Батя Иван Семенович... сказать имеют!

АТАМАН (медленно поднимает кружку): Изничтожим красную мразь!..

ПАУК: Изничтожим!

ГОЛОСА: Всех советчиков разз-туды, мать твою! – В преисподнюю! Дьяволу! И большевиков туды их! – Комсомолию, комсомолию не забудь! – А комсомолок... (конец фразы тонет в хохоте).

(Пьют. Закусывают. Горланят старорежимные песни. Акси-нья склонилась над шитьем. Микола испуганно выглядывает из-за ее спины).

АТАМАН (утробно): Гаврила!

ПАУК: (подбегает с посной физиономией, крутит головой) Слушаю, Иван Семенович! (меняет выражение лица).

АТАМАН: Ищ-щи! Чу-ю-у!

ПАУК: Ищу, ищу, батя Иван Семенович!

(Паук отходит, выпрямляется, поправляет маузер и саблю. Огляделся).

ПАУК: Петруха, Дугин!

(Петруха и Дугин поднимаются).

ПЕТРУХА: Чаво опять?

ДУГИН: Тута я.

ПАУК (озлобляясь): У-у, мерзавцы! Я вам покажу «тута я». Кто перед вами, а? Тут вам не шайка партизан, а сибирская белая армия! А?!

ПЕТРУХА и ДУГИН: Так точно!

ПАУК: Ладно. А теперь: Дугин – дом! Петруха – улица, амбары. Все обнюхать, перевернуть! Подать Советчиков! Аль след их!.. (многозначительно хлопает по маузеру). Хозяин – мне! Я – вам! Дошло?

ПЕТРУХА и ДУГИН: Так точно!

ПАУК: Марш!

(Петруха и Дугин убегают).

ПАУК (оборачиваясь к Акси-нье): Акси-нья, где твой муж, Захарка?

АКСИ-НЬЯ: Известно где – охота.

ПАУК: А почему собака дома?

АКСИ-НЬЯ (твердо): Собачий время кончилось.

ПАУК (поперхнувшись): Кончилось... собачье время?!

АКСИ-НЬЯ: Так. Так. Кончилось.

ПАУК (с угрозой): Ты-ы... Полегче с временем-то! Почем знаешь, чья верх возьмет?!

АКСИ-НЬЯ: Новый снег пришел.

ПАУК: Новый снег – да. А скажи, метелит – кто в такой метель на охоту ходит? Где Захарка?

ПАУК: Капканы снегом занесло. Кому, ты веришь-то Акси-нья? Думай, что он проверяет!.. Может, он петли проверить ушел, а?! Может, петля по нему плачет, а?!

(Появляется Дугин, затем Петруха).

ПАУК: Ну-с?

ДУГИН: Нету-ка никого.

ПАУК: Петруха!

ПЕТРУХА (вытягивается перед ним): Ничего нет, господин штабс-капитан!

АТАМАН (утробно, не шелохнувшись): Ищ-щи. Чую-у!

(Паук крутанулся по зимовью с перекошенным лицом).

ПАУК: У-у, партизаны!..

(Петруха и Дугин вздрагивают и втягивают головы в плечи.

Паук, изогнувшись, ударил ногой подвернувшуюся мусорную куженьку. Куженька перевернулась, из нее вывалился мусор и окровавленные бинты. Паук в неловкой позе замирает перед мусором. Тишина. Затем медленно наклоняется, втягивает воздух в себя, медленно выпрямляется и оборачивается к Акси-нье).

ПАУК (торжествующе и злорадно): Акси-нья, это что, а? Лучше добром, ты меня знаешь (вытащил маузер, поигрывает им) Лучше добром! По какой дороге уехали, а?! Где красная сволота?

АКСИ-НЬЯ: Моя ружье не пугай, – не боится.

ПАУК: Неужель? А почему?!

АКСИНЬЯ: Почему – ты сам боишься. Раньше не такой был. Теперь шибко боишься – плохой конец чуется...

ПАУК (с наигранным любопытством): Неужель?! Говори, говори. Может, последний разик.

АКСИНЬЯ: Раньше моя не верил – твой время кончилось. Теперь видно – твой собачьин время помирает!

ПАУК: Ох, Аксинья, много на себя берешь – не выдюжишь! Лучше отвечай: где твой муж Захарка? Где красная сволота?! Брось иглу-то! Хотя она парусиновая, трехгранная – не поможет! Лучше отвечай: где Захарка, где красная мразь?!

АКСИНЬЯ: Моя все сказал.

(Аксинья наклонилась над шитьем. Руки ее перебирают камус, оленьи жилы, парусиновую иглу для шитья кожи. Микола притаился у нее за спиной, Петруха и Дугин в малых нарах – видно, завалились спать. Паук, торжествующий, ходит по зимовью, останавливается перед Аксиньей, поигрывает маузером).

ПАУК: Где красная мразь? Скажешь, Аксинья – в покое оставим. Отложи шитье-то, отложи иглу. Я ж тебя спрашиваю: куда их Захарка повел? (пауза, ждет ответа). Молчишь?! А ведь ты у меня заговоришь. Я все могу. Все... Ты знаешь, где Арсений-то?! Наилучший друг твоего Захарки где?! Не слыхала? Так уже на том свете. Ждет там своих друзей-приятелей не дождется. Вот мы ему и хотим услугу, пообещали ему – побыстрее отправить за ним всех его друзей-большевиков! Чего нам стоит маленькую службу сослужить!.. Так вот – через царство рыб он попал на тот свет. Ты что думаешь – просто туда попасть? Говори, Аксинья, где красная сволота? По-хорошему не хочешь – так этот приятель заставит! Он быстро твой язык развяжет. Вынудит! (Трясет маузером). Ну, говори! (Багровея). Сейчас другому запоешь! Моментом заговоришь! Заговоришь!

(Паук потянулся к Миколе. Мать заслонила его собой).

АКСИНЬЯ (яростно): Не дам сына! Уходи вот!..

(Паук схватил мальчика. Тут Аксинья всадила в руку Паука иглу-трехгранку. Тот вскрикнул и выпустил мальчика. И тут же выстрелил дважды).

АКСИНЬЯ: (падая на шитье, гаснущим голосом): Ты где, Красный нарта рре-е-е ...

(Взревел Микола. Банда вскочила, схватилась за оружие).

(Один только Атаман даже не шевельнулся. Напряженная тишина. Атаман медленно повернулся, медленно садится, не поворачивая головы, взглядом ловит Паука и тот, словно загнипнотизированный, неслышно подлетает к Атаману).

АТАМАН (не меняя позы, чуть помедлив, сквозь зубы): Дур-рак!..

(Паук съежился словно от удара. Заюлил... завертелся по зимовью. Затем схватил Миколку и снова подскочил к Атаману – выставил левый бок, всем своим видом выражая преданность и послушание. Атаман чуть повернул голову, покосился на мальчика, не то с удивлением, не то с осуждением. Микола захлебнулся криком и слезами).

АТАМАН: Сам... подох... нет.

(Атаман подал знак. С шубой подскочил Петруха, накинул на него. Атаман оделся и вышел. За ним вывалилась банда).

ГОЛОС ПАУКА: Изничтожить огонь! Изничтожить жратву! Изничтожить воду!..

(Плачь Миколы. Лай Харгура. Крик и ругань. Скрип саней. Слабый луч света выхватывает из мрака Миколу. Он дрожит от холода и кутается в тряпье. Подходит к чувалу, дует на угли, но огня нет).

МИКОЛА (всхлипывает): Ма-ма-а! Ма-ма-а! Мама, иди сюда! Мне холодно, мам! Слышишь, добрый чувал-ики, дай искорку огня для мамы! Маме холодно! Дай огня – согрей маму, встанет она! Слышишь, чувал-ики?!

(Прислушивается Микола. Тишина. Идет, пошатывается, к куженьке для питьевой воды. Куженька проколота штыками – ни капли воды. Но тут послышался стон возле двери. Поспешил туда. Сунул руку в приоткрытую дверь. Слышится тяжкий хрип.

МИКОЛА: Харгур, ты?! (Харгур пытается взвизгнуть, но слышится только хрип). Харгур, ты куда ползешь? Ты в дом ползешь? Что с тобой сделали?! (гладит собаку по голове). Холодно, замерз? Иди, иди в дом Харгур! Иди! (неожиданно резко отдергивает руку). Что это?! (с ужасом смотрит на руку). С тобой что сделали?! Что?! (пятится от двери). Ма-ма-а! Папа, когда придешь?

(Микола в беспомощности падает на пол).

Тайга. Снег. Сидят атаман, Томка, Паук. В стороне Петруха, Дугин, другие бандиты. Из-за деревьев выходит Захар с ружьем, останавливается).

ПАУК (кричит): Д-е, дружище! Захарка! Здорово что ль!

ЗАХАР (сдержанно): Здорово.

ПАУК: Ты где это шлялся, а ?

ЗАХАР: Тайга ходил. Охота ходил.

ПАУК: Попался кто?

ЗАХАР: Попался. Нет.

ПАУК: Никто не попался, говоришь?.. Тогда сам ты попался, дружище Захарка! Попался в мои когти! Ха-ха-ха. Вон у меня сколько молодцов-гвардейцев (показал за спину) – рвать-то некуда!

ЗАХАР (спокойно): Таперя некуда.

ПАУК: Ну, так, скажи, дружище, куда красную мразь запрягал, а?

ЗАХАР (мрачно и жестоко): Твоя первый сказать!

ПАУК: Что тебе сказать? Так и быть, одно твоё желание исполню.

ЗАХАР: Скажи таперя: Аксень-старик убил?

ПАУК: Ну, я помог твоему другу-приятелю. Все красные через меня проходят. И Арсению помог. Как с ним дело было: все в подробностях Аксинье рассказал. Встретишь когда – спросишь у нее. Расскажет!

ДУГИН (машинально поднимает руку, бормочет): Царство ей ...

ЗАХАР (взглянул на Дугина): Чо? Чо он говорит?!

ПАУК (покрутив пальцем вокруг виска): Кераж этот.... Малость того...

ПЕТРУХА (глядя в сторону): Верно, он... энто...

ПАУК: Ну, дружище Захарка, где красная мразь? Скажешь – ей богу, на все четыре стороны отпущу! На все четыре! Хоть в небо лети! Только Советчиков мне подавай! (выжидательно смотрит на Захара) Ну, что тебе еще сказать. Про Арсения я все выложил, что еще?

ЗАХАР: Таперя все. Хватит.

ПАУК: Теперь твоё слово. Скажешь, где красные – жить будешь. Что слов не стало. Где твоё слово?!

ЗАХАР: Таперя... вот мое слово!

(Захар вскидывает ружье и стреляет в Паука. Бандиты хватаются за оружие. Выстрелы).

ГОЛОСА: Не уйдет, идти некуда!

– По кедровнику, по кедровнику!

– Стой! Живым его, живым!

– Не уйдет, сволочь!.. Попал...

(Выстрелы. Крики: Красные! Там красные... Паника).

АТАМАН (пытаясь остановить своих): Стой! Стой! Гады!

КРИКИ: Красные комиссары!.. На красных нартах... Красные!..

АТАМАН: Атамана бросили! Мерзавцы! (семенит за собой). Я вам, мерзавцы!..

КРИКИ: Красные партизаны! Красные! ...

(Банда убегает, за ними появляются красные партизаны).

СУЕРИН (приостанавливаясь, Михеичу): Видел Захара? Где Захар?

МИХЕИЧ: Пал, пал наш Захар. Погиб.

СУЕРИН: И-х!..

МИХЕИЧ: Вишь темный был, темный, а... (махнул рукой) Да что теперя!

Вопросы и задания

1. Определите, к каким событиям истории обращается Е. Д. Айпин в пьесе «Красная Нарта»?
2. Можно ли утверждать, что в пьесе «Красная Нарта» Е. Д. Айпин использует говорящие имена? Поясните свой ответ.
3. Составьте характеристику членов остяцкой семьи. Какие средства помогают автору создать образы?
4. Можно ли утверждать, что речь героев в пьесе Е. Д. Айпина «Красная Нарта» раскрывает характер героев? Обоснуйте свой ответ.
5. Как вы думаете, можно ли было избежать трагедии, о которой рассказывает Е. Д. Айпин в пьесе «Красная Нарта»? Аргументируйте свой ответ.

Я СЛУШАЮ ЗЕМЛЮ

Глава первая

ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ

Я пришел на Землю в самый долгий день года. Быть может, поэтому мне кажется, что я помню себя со дня своего рождения. Помню, как мама носила меня на руках. Помню теплоту ее добрых рук. Помню трещины и зарубки на стенах домов, где мы жили, и сосну, что увидел впервые, выйдя на улицу. Помню высокое-высокое небо над головой и перелетных птиц, что приносили теплую весну. А за весной приходило лето с очень вкусными ягодами. Мама и моя старшая сестра Лиза приносили мне эти ягоды. Ягоды бордовые и красные, черные и голубые, янтарно-желтые и малиновые. Помню, как наступала осень и перелетные птицы уносили тепло в далекие края. Уходила осень – и первые снежинки медленно парили в пронзительно-прозрачном воздухе...

И первый снег, обновляющий Землю...

Но на этом снегу оставались не мои, а мамины следы. Я ходил тогда еще ногами мамы. Ведь я пришел на Землю незадолго до первого снега, в самый длинный день года, в пору изумительно светлых белых ночей. Быть может, поэтому все жители нашего селения решили, что судьба моя будет такой же светлой, как и белые ночи нашей земли...

И получил я счастливое имя моего деда по отцу – Роман. Его имя отдали мне затем, чтобы я вырос таким же благородным, отважным и сильным, каким был мой дед. Деда своего я не видел, он не носил меня на своих крепких руках медвежатника. Его дни на Земле кончились до моего рождения. Но я слышал столько рассказов о его необыкновенной отваге, что мне стало казаться, будто я видел его, будто жил с ним когда-то рядом. Мне казалось: я и он – это один человек. Ведь я помню тяжесть и строгий и холодный блеск острия его копья. Я вместе с ним вступал в единоборство с медведем. В стужу и зной вместе с ним я пробирался по тропам родной Земли, по большим и малым рекам и озерам.

Рядом с ним я не знал ни усталости, ни покоя...

Мне отдали его имя, чтобы мое сердце стало таким же трепетным и чутким к людской печали и радости, каким было сердце деда...

В крестные отцы мне достался столетний старец Ефрем. Это чтобы я стал таким же мудрым, как и мой крестный. И чтобы я прожил такую же долгую жизнь, и чтобы стал таким же сказочником и певцом, каким был старец Ефрем. Его я тоже помню с самого рождения. Помню, он еще промышлял зверя и птицу, плел рыболовные морды и жильники, мастерил всякий промысловый инструмент... Я любил наблюдать, как все ловко делают его руки. Но еще больше любил слушать его песни и сказки, его легенды и предания. Он был родным братом моего деда. И, слушая сказки, я всматривался в его иссеченное временем лицо. Старался отыскать в нем черты моего легендарного деда, от которого, кроме имени и добрых дел, ничего не осталось. Нет даже карточки...

Когда мне исполнилось три года, на Землю моя сестра Даша пришла. Ту осень я отчетливо помню – седоголовые волны на реке, прибрежный белый песок. И чистое-чистое небо. А после: зима – лето, зима – лето. Еще зима и – весна. Вытаявшее на солнце взгорье на окраине бора, сочная зелень листьев брусники, белый ягель, трухлявый цвет опавших игл. Порыжевшие сосны и – солнце, солнце, неумное солнце отовсюду и повсюду. Много-много солнца. Вместе с весной и солнцем пришла моя младшая сестра Оля...

Это была счастливая пора познания и открытий, пора обретения людей и себя, пора обретения Отечества и Мира...

Я пришел на Землю в самый долгий день года. И был уверен, что вырасту таким же удалым и отважным, как мой дед Роман. Что буду таким же мудрым сказочником и певцом, как мой крестный старец Ефрем. Что оставлю на Земле и в сердцах людей добрый след, добрую память...

Но прошли года. И, повзрослев, я понял, что нет во мне той богатырской отваги и благородства, чем был знаменит мой дед. Нет во мне мудрости и удивительного жизнелюбия моего крестного столетнего старца Ефрема. Нет во мне той гармонии и жизнепонимания, что были присущи моему отцу и матери, дяде

Василю и многим другими родственникам моим. Но с годами все острее становится память о счастливом детстве. И среди размышлений о людях, о тех, среди кого жил и рос, вдруг, словно молния, сверкнет озарение: какие это были великие люди!

К сожалению, поняв это, осознаешь и другое: многие уже оставили нашу Землю. Лишь изредка, в суете сует, остановившись на миг, с запозданием извлекаешь из глубин памяти поучительные мгновения жизни наших предков... А о величии человека следует помнить при его жизни.

Глава вторая

Я СЛУШАЮ ЗЕМЛЮ

Вечером, когда солнце садилось, мама, понизив голос, попросила меня:

– Скоро солнце сядет. Не шуми.

– Почему нельзя шуметь? – удивился я.

– Вечером воды и земли засыпают, – пояснила мама. – Пришло время их сна. Они устали за день, нельзя их тревожить. Поэтому и нельзя шуметь...

– А солнце куда уходит? – я покосился в сторону заката. – Тоже идет спать?

– Солнце тоже идет на отдых, – сказала мама. – Солнце вон сколько дел делает за день...

Воды и земли, оказывается, тоже спят, соображал я. И солнце уходит в свой дом, тоже спит. Значит, и они все устают за целый день, как люди.

– А птицы и звери что делают ночью? – спрашиваю маму.

– Каждая крылатая птица, – сказала мама, – каждый ногастый зверь, каждый жучок-паучок – все засыпает, ко всем приходит сон.

– И деревья-травы ночью спят?

– Разве они не живые? – переспрашивает мама. – И деревья-травы засыпают. Все живое ночью спит. Вот почему нельзя вечером громко смеяться, громко разговаривать, громко стучать и греметь. Нужно думать о других.

Я стал прислушиваться к тишине. И вправду, замолкли птички, что весь день весело щебетали в золотистых соснах возле нашего дома. Наверное, уже уснули в теплых гнездышках до утра. Только перед самым восходом запоют и засвищут, а когда солнце поднимется выше – разбудят меня.

Потом заинтересовался, что же делается вдали от нашего селения – все ли думают о вечерней тишине. Я напрягаю слух, пытаюсь уловить все звуки засыпающей Земли. Но не слышно речных куликов на Протоке Болотной Стороны. Замолкли крикливо-кедровки в припроточном кедровнике. На болотном озере, на окраине бора смолкли горластые халеи – речные чайки. Днем я хорошо слушал их беспричинный хохот. И ветер убежал за дальние реки и озера и затих там – ни хвоинки не шелохнется па ветвях старых сосен.

Тишина на Малом Яру на востоке.

Тишина на Большом Яру на западе.

Тишина опускалась на Гору Осеннего Селения, где стояли дома людей нашего рода.

Угомонились и ворчливые сороки, что каждый день прилетали к селению. И даже наш белый пес Харко, кажется, задремал – не звенит цепью, не подзывает меня радостным лаем.

И я убеждаюсь: все вокруг засыпает, все вокруг замирает.

Солнце садится.

Мама спрашивает в открытые двери, что закрываются с заходом солнца:

– Ты что там делаешь, Роман? Давно тебя не слышно.

Я ответил:

– Я слушаю Землю.

Отец с матерью и сестры о чем-то говорят в доме. Наверное, припоминают события прошедшего дня. Ведь за день случается столько необычного, о чем вечером обязательно нужно порасспросить родителей...

– Иди домой, Роман, – зовет меня мама. – В постели дослушаешь тишину.

И я бегу домой.

Слушая тишину, я засыпаю. И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает двери своего удивительного дома-дворца. Стены и потолки из длинных тонких пластинок-лучей,

отливающих золотом. Все сверкает, все горит. Я невольно зажмуриваю глаза. Солнце входит во дворец и засыпает. Там спят и дети Солнышка-матери – девочки и мальчики моего возраста. Когда в наш дом входит луч Солнца, мама говорит, что это Солнышко-матушка протянуло нам свою руку. Если же лучей много, значит, по словам мамы, это дети Солнца пришли на Землю поиграть с нами, со своими ровесниками... Потом я увидел, как Солнце выходило из дворца. Мне показалось, что наступила зима: «Солнце надело шапку и варежки к сильным морозам», – говорил папа зимой. Тогда же, зимой, я был поражен тем, что Солнце в короне очень похоже на мою маму. Я сказал об этом папе, и он ответил: «Солнце – это мама всех людей. Поэтому, наверное, все мамы похожи друг на друга». Мне нравилось смотреть на Солнце в короне и думать о маме. И я немного жалел, что летом Солнце никогда не надевает свою корону и варежки... Теперь же, выйдя из дворца, Солнце так ослепило меня, что я тут же проснулся.

Было утро. И через окно в стене ласковая рука Солнца разбудила меня. Это, наверное, чтобы я поспешил навстречу детям Солнца. Им, видно, одним тоже бывает скучно. Не с кем поиграть и порезвиться...

Вечером я провожаю долгим взглядом входящее в свой дворец Солнце, смотрю на маму и вспоминаю о вечерней тишине и о засыпающей Земле...

С тех пор прошло немало лет. Все чаще всплывают в моей памяти наше маленькое селение в золотых соснах и свято оберегающая вечернюю тишину моя мама. И засыпающие воды и земли. И засыпающие деревья и травы. И звери, и птицы. И засыпающее Солнце. И я слышу их немой вопрос об одном и том же, об одном и том же...

Кто теперь так свято оберегает сон таежной Земли?!

Глава третья

ПТИЧКА НА ГОЛОВЕ

Я очень не любил, когда мне голову мыли. В этом мало приятного. Если не купали, а просто в большой куженьке¹ намывали мои волосы, то вода всегда норовила попасть за ворот. И тут хорошего мало. А если мыло попадало в глаза – я начинал вопить на все наше маленькое селение. Соседи уже знали: это мне моют голову. Я изо всех сил вырывался из маминых рук, но вырваться не удавалось.

Большая разница между сухой и мокрой головой. Это я хорошо усвоил. После мытья головы не сразу пускали гулять на улицу. С мокрыми волосами не поваляешься в песке. Не залезешь на деревце возле лабаза. Да мало ли дел, которые никак не сделаешь с мокрой головой. Если нужно будет, даже подраться не сможешь с двоюродными и троюродными братьями. Вот я и старался увильнуть, когда мама начинала греть воду для моей головы. Но однажды я по доброй воле согласился вымыть голову. Мама сказала мне:

– Роман, я тебе так чисто вымою волосы – птичка сядет на твою голову!

– Птичка на голове! – удивился я.

– Да-да, – повторила мама. – Птички садятся только на очень чистые головы!

– Сядет? – усомнился я.

– Пожалуй, я вымою голову, – неторопливо сказал папа. – Пусть птички садятся на мои волосы.

– И мне, мама, помой голову, – попросила моя старшая сестра Лиза. – Я тоже хочу птичку!

Этого я, конечно, не мог допустить: чтобы птичка, которая должна сесть на мою голову, досталась бы другому. И я решил подороже отдать свою голову. За самую лучшую птичку, которую знал. И я спросил об этом маму:

– И трясогузка сядет на мою голову?

¹ Большая куженька – корыто из бересты.

— И трясогузка может сесть, — сказала она.

Я сдался. Мама вымыла мне голову. И теперь я не сопротивлялся и не вопил на все селение. Потом с куском черного хлеба, который бывает очень вкусным только на улице, меня выпустили погулять. Пусть птичка садится на мою чистую голову. Я чинно расхаживал возле дома и с надеждой смотрел на трясогузок. Кто из них сядет на мою голову? Все в этих птичках нравилось мне: и нежная сизо-белая одежда. И длинный узкий хвост. И округлое черное пятно под шейкой. И певучая радостная песня. Они одними из первых приносили весеннее тепло, наверное, поэтому я и любил их. Правда, иногда во мне просыпался охотничий азарт и я с луком и стрелами бегал за ними. Но стрелы мои всегда летели куда-то в сторону и не причиняли им никакого вреда. Я не унывал и смеялся над своей неудачей. Наверное, и трясогузки смеялись надо мной.

Мне хотелось поддержать их в руках, погладить их нарядное оперение. Хотелось получше рассмотреть их. Теперь я ждал, ждал того мгновения, когда одна из них опустится на мою голову. Ведь эти чистые птички должны заметить мою чистую голову! Не должны пролететь мимо моей чистой головы! Так я думал, расхаживая под седыми соснами нашего селения. А трясогузки были заняты своим делом. Они собирали шерстинки линяющих оленей — строили гнезда. Я видел, как они рады весне, как они сустились и весело переговаривались. Они искоса поглядывали на меня, но на мою голову не спешили. Наверное, некогда им, подумал я. И побежал домой.

— Мама, они не сядут на мою голову! — пожаловался я.

— Погуляй еще! — сказала мама, — Они должны заметить твою макушку.

— Может быть, ты плохо мыла мою макушку? — спрашивал я.

— Нет, я очень хорошо помыла тебя! — уверяла мама. — Иди, жди птичку!

И я шел на солнечную улицу и ждал птичку. А потом забывал про нее и убегал к друзьям поиграть. До вечера я успевал порядком напраказничать. Что-то ломал, разбивал, проливал, протыкал. С кем-то подрался. Кому-то надерзил. И, укладывая меня спать, мама говорила со вздохом:

— Опять нашалил... Когда ты ума наберешься?... После недолгого молчания она сказала, поглаживая мои волосы:

— Твоя макушка чистая. Таким чистым должен быть и твой ум. Чистым и добрым. Тогда птичка обязательно прилетит на твою голову...

Я до сего дня думаю об этом. Чист ли, добр ли мой ум? Высоки ли, чисты ли мои помыслы в жизни? Прилетит ли ко мне заветная птичка далекого детства?

Глава четвертая

ГНЕЗДО ТРЯСОГУЗКИ

Весной прилетные птицы свили себе гнезда. И вскоре самочки снесли первые яйца. Как-то за завтраком отец сказал:

— В моем гнезде уже три костяных птенчика!

Это значило — папа нашел гнездо с тремя яичками и наблюдал за ним. Но тут выяснилось, что у всех взрослых есть птичьи гнезда. И даже моя старшая сестра Лиза гордо промолвила:

— И у меня есть гнездо! Трясогузкино! Там четыре костяных птенчика!

Только у меня не было гнезда. И я тут же пристал к сестре:

— Покажи, покажи мне свое гнездо!

Сестра сделала серьезное лицо и совсем по-взрослому сказала:

— Нет, ты еще маленький!

— Покажи! — просил я. — По-ка-жи-и!

— Нет! — сказала сестра и пояснила свой отказ: — Нельзя трогать руками костяных птенчиков. Если притронешься к ним — птичка-мама сразу их оставит. И они умрут в костяной оболочке. Понимаешь, Роман?

Я ничего не хотел понимать и все канючил:

— Покаж-жи! Я только один раз гляну! Один раз!..

— Не проси — не покажу! — твердо сказала сестра Лиза. — Ты такой шалун — утащишь, пожалуй, костяного птенчика!

Это был ее самый убедительный довод. Знала, по словам старших, какой я шалун. Трудно со взрослыми. Что ни сделаю — все не так! Куда ни повернусь — все не туда! Хотя ничего плохого не замышлял. Все получалось как-то само собой. В одно

мгновение. Я не успевал подумать о своем поступке. Сначала делал, после – думал, если было время.

И теперь я понял: не видать мне гнезда трясогузки. А взглянуть на костяных птенчиков очень хотелось. Но я не стал унывать. Побыстрее позавтракал и убежал на улицу. Решил сам разыскать гнездо. Любое гнездо, лишь бы там сидела птичка.

Я долго ходил за трясогузками. Они обычно гнездились под стрехами лабазов и амбаров, на крышах навесов и под навесами на полках, на развилинах деревьев, в брошенных старых куженьках и берестяных кадушках. Я следил за полетом птиц. Бросался туда, куда они садились и откуда взлетали. Мне казалось, они только тем и занимались, что летали от одного гнезда к другому. Я носился за ними, но все впустую. Видно, и трясогузки смотрели на меня глазами моей сестры Лизы – не доверяли мне свои гнезда с костяными птенчиками. Может быть, они и правильно делали... Я не внушал доверия.

Вскоре я проголодался и сбегал домой за куском черного хлеба.

– Поиграй немного и приходи домой, – попросила мама.

Но играть мне не хотелось. Я слонялся возле дома и все думал о птенчиках трясогузки. И тут заметил сестру Лизу. Она замерла у стены старой амбарушки, где хранилась всякая деревянная и берестяная утварь. А лицо у нее светлое и таинственно-загадочное. Я вздрогнул: гнездо трясогузки! И когда сестра ушла в дом, я подкатил к стене чурочку, взобрался на нее и заглянул в замшелую кадушку-берестянку, что лежала на крыше. Там было гнездо трясогузки. А в гнезде четыре яичка – продолговатые, ровненькие, с множеством мелких крапинок. Эти крапинки мне напомнили улыбочливое лицо тетушки Катерины из соседнего дома. И мне показалось, что костяные птенчики улыбаются веснушками. Обрадовались моему приходу, подумал я.

Я стоял неподвижно и зачарованно смотрел на костяных птенчиков. Не мог оторвать взгляд от них. Они были такие хорошенькие, что меня так и подмывало прикоснуться к ним. Но удержался от соблазна – вспомнил слова сестры Лизы. Мне совсем не хотелось, чтобы птенчики трясогузки погибли.

Стоял я, наверное, очень долго. Лишь когда птичка-мама с тревожным криком закужила над моей головой, я очнулся. И

перепугался – птичка чуть за волосы не хваталась, так близко она подлетала ко мне. Я мигом скатился с чурбачка.

Свою тайну я хранил до ужина. А когда сели за стол – не выдержал, сказал сестре, что нашел ее гнездо. Сначала она испугалась за костяных птенчиков. Я сказал, что руками их не трогал, – и она успокоилась. Теперь по утрам мы вместе бегали смотреть гнездо. К амбарушке подходили осторожно, на цыпочках, чтобы не потревожить птичку-маму. И замирали – забывали обо всем на свете.

Меня захватила одна тайна. Тайна превращения шарика-яичка в живого птенца. И я ждал этого мгновения.

Время шло. Появились комары. Наступило лето. И вот мама однажды сказала:

– Скоро появятся птенцы. Обычно в гнезде сидят и пищат. Такие неуклюжие, забавные, глупые. И такие миленькие – просто слов нет!

– Как птенцы вылетят из гнезда – комар на убыль пойдет, – неторопливо проговорил отец. – Комаров ловят. Помогают людям.

– Только руками их не трогай, – предупредила сестра Лиза. – Слышишь, Роман?.. Если, конечно, птенцов хочешь дождаться!

Сестру Лизу я слушался. Мы все ее очень любили. И когда ее отправляли в школу в соседнее селение, мы с младшей сестрой Дашей в голос ревели. После, когда не стало мамы, она растила нас – меня и младших сестер. И мы еще больше привязались к ней.

А птенцов я так и не дождался.

Как-то утром сестра Лиза вбежала в дом и дрожащими губами прошептала:

– Погибли птенчики!.. – А потом повернула ко мне разгневанное лицо: – Ты, наверное, прикоснулся к ним?!

– Нет! – закричал я. – Я их не трогал!

И, не поверив сестре, помчался к амбарушке. В косом надломе скорлупы – красное тельце птенца. Красное тельце – это мне врезалось в голову. Врезалось в глаза. Врезалось в память. Я всем нутром почувствовал – птенцы тусклые и холодные. Они умерли, не родившись. Может быть, кто-то прикоснулся к ним – и мама бросила их. А может быть, она погибла вдали от гнезда и уже не могла согреть их своим теплом. А может быть, случилось и что-то другое...

За завтраком все молчали. Молчала мама. Молчал папа. Молчала сестра Лиза. Молчал я. Все делали молча.

Вдруг по лицу сестры Лизы потекли слезы. Без всхлипа. Без сопения. Без единого звука.

Я выскочил вон.

Мне было жаль птенцов, что не наденут нарядные одежды-оперения и не споют свои песни. Мне было жаль их птичку-маму. Мне было жаль самого себя. Особенно мне жаль было сестру Лизу. Ее слез я еще не видел. Все было впервые...

Глава пятая

ВОРОНЫ МЕСЯЦ

Мы с нетерпением ждали прилета Вороны. А прилетала она самой первой среди перелетных птиц, с первым теплом – в апреле. И апрель получил имя «Вороны месяц».

Не только наш дом, а все селение радовалось, когда кто-нибудь сообщал, что видел первую Вурни – Ворону, весть передавалась из дома в дом, из селения в селение:

«Ворона прилетела!»

«Ворона пришла!»

«Ворона с теплых краев вернулась!»

Жила Ворона возле нашего селения, перелетала с дерева на дерево, дразнила глупых щенков. Высматривая себе пищу, ходила вокруг таганка летней кухни, заглядывала под лежащие на бревнышке куженьки и корыта. А иногда ухитрялась, зацепив клювом или лапкой, переворачивать посуду. Могла при случае утащить кусок мяса или рыбы у нерасторопной хозяйки. Но даже самые грозные старухи, добродушно ворча, сквозь пальцы смотрели на все проделки Вороны.

Ворону в нашем селении любили.

Она всем напоминала хозяйку, которая после долгой зимы возвращалась домой и обходила свои владения, придирчиво оглядывая – все ли на месте, все ли в порядке.

После обхода она важно усаживалась на коньке лабаза или амбара и подолгу и молчаливо смотрела на селение. О чем она размышляла?! Меня это очень заинтересовало, и я старался раз-

гадать ее думы. Мне казалось, что она в это мгновение думала не о птичьих делах, а о судьбах людских, о моих сородичах. Быть может, и обо мне думала. Ибо с таким важно-здумчивым видом можно размышлять только о судьбах народов, о судьбах человечества.

Ворону мы любили.

Быть может, любили ее и за весеннее тепло. Ведь с ее именем – Вороны месяцем – многое было связано.

И первое дыхание весны.

И первое тепло.

И первая улыбка весны.

И первые проталины.

И первые ручьи.

И первые оленята в стаде.

И первые ростки зелени.

Все – первое.

Наш дом особенно радовался прилету Вороны. Мама обычно говорила:

– Вот и мы до весны дожили – Вороны дожались... И вздыхала.

И мне тогда показалось, что не будь Вороны, мы бы до весны не дожили, и не наступил бы Вороны месяц, и не пришла бы весна. Но ведь Ворона не священная, а самая обыкновенная птица, каких немало в наших лесах.

Я пришел с вопросами к матери:

– Мама, ведь Ворона хорошая птица?

– Хорошая, – соглашается она.

– А почему хорошая?

– Почему?

Мама оторвалась от шитья, взглянула на меня, а потом перевела взгляд на моих сестер и тихо сказала:

– Ворона... рождению человека радуется.

– А как она радуется?

– Как люди радуются, так и она радуется, – проговорила мама.

Я ничего не понял. Поэтому, поудобнее устроившись возле мамы, попросил:

– Про Ворону расскажи...

Мама кивнула на спящую в покачивающейся люльке мою младшую сестрицу Олю и начала свой рассказ:

– Ворона и приходу твоей младшей сестренки была очень рада...
Я молча слушал.

По обычаю ханты, говорила мама, за всеми вещами вновь пришедшего человека – младенца – нужно строго следить, чтобы они всегда находились на самом чистом и лучшем месте, чтобы они не попадали туда, где им не подобает быть. Иначе вновь пришедшему маленькому человеку станет плохо.

Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не нужны.

Поэтому мокрый цап¹ из детских люлек насыпали в одно место на окраине селения, в укромном уголке, под пеньком. Не под деревом, а именно под пеньком. И пенек выбирают не высокий и не очень низкий, чтобы зимой не заносило снегом, чтобы был виден в любое время года.

Я вспомнил, что такой пенек есть и у нас, недалеко от нашего дома, куда мы с сестрой Лизой относили мокрый цап из люльки сестрицы Оли. Бывало, когда мама отправляла туда с маленькой куженькой меня, всегда с порога наказывала, чтобы я не рассыпал по тропинке мокрые стружки, чтобы не стало плохо нашей малышке.

Цап насыпали вокруг пенька. Кучка была ровной и остроконечной, как чум. И Ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эти теплые стружки – лапки свои грела. Ведь она прилетала первой, в апреле, в пору, когда оттепели сменялись заморозками, и у нее мерзли лапки. Садилась на теплые стружки и говорила:

– Побольше бы детей на землю приходило, чтобы было мне где погреть свои лапки!

С такими словами она перелетала с одной кучки стружек на другую, громко радуясь появлению одного маленького человека, второго, третьего... При этом она весело и добродушно кричала:

– Вак-вак, вак-вак, вак-вак!..

¹ Цап – стружки из белой обмякшей древесины, высохшей на корню березы, которые насыпались в люльку под меховую подстилку.

И осенью, улетая на юг, она тоже оставляла людям свое пожелание:

– Пусть, пока я летаю, побольше младенцев на землю прибудет – будет мне где погреть свои лапки весной!

И, как водится, прощаясь, добавляла:

– Вак-вак!.. Вак-вак!..

Я, конечно, тут же заинтересовался:

– Мама, а Ворона радовалась и моему приходу на Землю?

– А ты как думал?! Конечно, радовалась...

– Но ведь я пришел на Землю в самый длинный день года, когда было совсем тепло и Вороне не надо греть лапки...

– Да, ты пришел в самый долгий день года, – согласилась мама. – Но ты сидел в люльке осенью, когда Ворона собиралась в теплые края, и ее лапкам в ту пору было уже холодно. Ты сидел в люльке и весной, когда Ворона вернулась из теплых краев, и когда повалил мокрый снег, а потом ударил северный ветер, и многие перелетные птицы попятнулись на юг, повернули в обратную сторону. Только Ворона не отступила. Она знала, что ты согреешь ее лапки...

И Ворона, как бы ей трудно ни было, все бормотала добродушно:

– Вак-вак, вак-вак!..

Жители нашего селения и нашей реки почитали и никогда не обижали эту птицу. Пусть живет. Пусть всегда живет с добрым пожеланием маленькому народу.

И я другими глазами стал смотреть на неприметную серую Ворону, которая радуется рождению каждого человека Земли.

Глава шестая

ХАЛЕЙ ХОХОЧЕТ

Я провожаю взглядом стаю халеев, что летит с Протоки Болотной Стороны на приборовое озеро. Над селением стая замедляет полет и вразброд, дергаясь, начинает бестолково гоготать и гомонить:

– Каллэк! – крикнет один.

– Каллэк-каллэк! – тут же откликнется второй.

– Каллэк-лэк-лэк-лэк-лэк! – захлебнется хохотом третий.

Так стая повисит над селением, а после, все еще дергаясь и хохоча, лениво уплывает к болоту. Я бегу домой и спрашиваю у мамы:

– Халей хорошая или плохая птица?

– Плохая птица, – не задумываясь отвечает мама.

– Почему плохая?

– Потому что халей над людским горем хохочет, – говорит мама.

И она рассказала, что когда осенью халей улетает в теплые края, то кричит, чтобы на зиму многих людей не стало, чтобы многие ушли в Нижний мир – весной, вернувшись обратно, он захохочет над тем домом, где не стало человека.

Вот такая плохая птица халей. Все норовит посмеяться над чужим горем. Поэтому ханты не любят эту птицу.

Тут мне припомнилось и другое, за что не очень жаловали халея. Весной, приезжая с рыбалки, отец часто привозил испорченную рыбу. Халей замечали попавшую в сеть рыбу – тут же проклевывали ей брюхо и вытаскивали жирные кишки. Ладно бы, если были голодные и всю рыбу съедали. Так нет – только лакомились.

Отец, рассердившись, иногда подстреливал халея и подвешивал его на кольшке вставной сети – чтобы другим было неповадно и меньше зарились на чужую добычу.

И мне ничуть не было жаль убитых халеев. Хотя, наверное, это по-своему красивые птицы – с продолговатыми красными клювами, с желто-оранжевыми лапками и в бело-сизом оперении. Но больно они бесцеремонны и нахальны. И когда я подрос, то вместе с друзьями, с двоюродными и троюродными братьями всячески начал их травить.

Мама, узнав о моих с друзьями проделках, испуганным голосом восклицала:

– Да разве можно так?! Над живой птицей?!

А потом она добавляла, что раз халей живет – значит, он нужен Земле и Небу. Коли бы он не надобен был – так не было бы ему места в жизни лесов и болот, в жизни рек и озер.

Отцу тоже не нравились мои проделки. Когда замолкала мама, он строго говорил:

– Халеев в покое оставь!

Я оставлял их в покое, но ненадолго. При всяком удобном случае старался чем-нибудь досадить халеям.

В их бестолковом галдеже и хохоте мне чудилось что-то зловещее, темное, жуткое. Ведь они радовались кончине человека. И казалось мне, чем меньше будет халеев, тем больше людей останется в живых, тем больше людей доживет до следующей весны. Я не хотел, чтобы люди нашего селения, милые сердцу родственники преждевременно уходили в неведомый Нижний мир.

И, быть может, поэтому я так возненавидел эту птицу.

И только после, годы спустя, однажды задумавшись о жизни вод и земель и всего сущего, понял, что, наверное, напрасно преследовал и истреблял в общем-то безобидную птицу – речного халея. От гибели халеев не убавлялось зла на земле, носителями которого являются отнюдь не звери и птицы...

Глава седьмая

ОЛЕНЯ ДОМ

На окраине нашего селения, на песчаной поляне, стоял олень дом – оленник. Это большой бревенчатый дом с двускатной крышей и земляным полом. Посредине дымокур, огороженный крепкими жердочками. А дымили сырые сосновые чурки. Эти чурки со всех сторон обкладывали влажным торфом или болотными мхами – чтобы не горели, а медленно таяли.

Грязную землю пола постоянно выкапывали и выносили на улицу. Крышу накрывали еще слоем мха и песка. Поэтому в летнюю жару в оленнике всегда было чисто и прохладно. А если дымокур работал исправно – не было и комаров.

Весной, когда заканчивался отел и сходил снег, оленей отпускали на волю. Они сами паслись. А потом наступало время комаров и паутов. И они собирались в стадо и прибегали к дымокуру.

Олени приходили рано утром. И кружились возле наших домов до тех пор, пока им не разводили дымокур.

– Дыма, дыма просят! – говорила мама и спешила в оленник или будила папу.

Иногда она не успевала разжечь дымокур – и олени убежали на пастбище.

– Обиделись! – говорила мама. – Вовремя не встретили. Скоро опять придут!..

И они приходили. И уже до самого вечера, жуя жвачку, стояли или лежали в оленнике. Только изредка делали один-два круга по пастбищу, чтобы немного поесть и попить. И снова возвращались. Возвращались, как сказал папа, «комариной рысцой». В это время года они шагом почти не ходили – их всегда сопровождала туча комаров, мошкары и паутов. Захочешь – не постоишь.

На ночь у дымокура они никогда не оставались. Садилось солнце – «падали» пауты и мошкара. И они пускались по своим дальним тропам. Если уходили далеко, то на следующий день возвращались поздно.

Мы все – мужчины и дети селения – собирались возле дымокура. Оленей ждали.

– В какую сторону они вечером ушли? – спрашивал дядя Василь. – Кто видел?

Кто-нибудь да видел. Выяснялось – на север, в сторону болота ушли. За домашним бором начиналось болото с множеством больших и малых озер. Там когда-то держали оленей предки нашего рода.

– Да-а, – тянул дядя Василь. – На болоте сегодня хороший ветер, вот и не спешат домой. Обдувает их ветром.

– И места хорошие, кормовые, – добавлял папа. – Куда им спешить.

– А я ждал их сегодня, – сказал дядя Василь. – Рано встал дымокур запалить.

С нетерпением ждали оленей и мы, дети селения, чтобы поиграть с оленятами и раньше всех узнать, какие пришли, а какие отстали. Бывало, они приходят не все сразу, а двумя или тремя небольшими группами.

Должны они вернуться домой.

Но олени все не приходили.

Я поглядывал на седую сосну, где висели бечевки с пучками оленьей шерсти. Я свято верил в их магическую силу. Весной, когда оленей отпускали на волю, сначала их подводили к этой

сосне с побелевшей корой. За длинную шерсть под шеей их привязывали бечевкой к дереву. Мы чмокали оленей в нос и в щеку. А кто не мог дотянуться – просил приподнять. И дядя Василь поднимал малышей, чтобы и они с оленями попрощались.

Когда олени уходили – на бечевке оставался пучок шерсти. Они оставляли нам частицу себя. И мы дружно кричали:

– Помни о пучке шерсти! Не забывай свой дом!

Это чтобы он в урман не ушел, чтобы всегда думал о своем доме.

Олени посмирнее долго стояли у седой сосны. Наверное, думали, что они привязаны веревкой. Некоторые ложились у дерева и жвачку жевали. Но потом все равно поднимались и шли на пастбище. Теперь они сами отвечали за свою жизнь, за вольную жизнь, потому что пасти их было некому, у всех была своя работа.

Пучки шерсти так и оставались на седой сосне. Никто их не трогал.

Мама сказала мне, что олени умные. Но больше понимают и чувствуют они сердцем, а не умом. Теперь в какие бы земли они ни попали – их все время будет тянуть домой, туда, где они оставили клоч шерсти, где оставили частицу себя.

Тогда я свято верил этому: так и должно быть...

Сейчас я вспоминаю седую сосну и пучки оленьей шерсти на бечевках. Вспоминаю, и приходят думы. Каким узлом, какую нитью нужно связать человека с домом, с землей, с отечеством, где он родился и встал на ноги, чтобы не слабела и не рвалась эта связь? Каким узлом, какую нитью?..

Глава восьмая

ПРИСТАНЬ

Хорошо, когда у человека есть своя пристань. Хорошо, когда в непогоду есть куда причалить...

Помню, как меня в первый раз повели на пристань. Папа поехал ставить сети, и мы с сестрой Лизой пошли его провожать. Нужно было помочь ему отнести сети, новые поплавки и грузила в берестяных одежках-покрышках. Мне, правда, дали нести

только маленькую куженьку для черпания воды. Мал еще, сказали мне, свой живот до пристани дотащил бы.

Больше всех беспокоилась мама. Помогая мне одеться, она давала наставления старшим:

– Смотрите, чтобы он в воду не упал! Чтобы на мостках не оступился! Чтобы руки-ноги не оцарапал!

Маме все казалось, что я еще очень маленький и на пристани делать мне нечего. Не хотела она отпускать меня так далеко от дома.

– Чтобы комары его не искушали! – говорила она и переспрашивала сестру: – Слышишь, Лиза?! Вы такие – за ним не уследите!

– Слышу, слышу! – откликнулась сестра Лиза. – Смотреть буду!

А папа заметил:

– От комаров пусть уж сам отбивается... Никто его на пристань не звал. Сам напросился.

И мы взяли вещи и пошли. По светлой песчаной дорожке спустились под Гору Осеннего Селения и взяли слегу. Папа – большую. Сестра Лиза – среднюю. Я – самую маленькую. И, опираясь на слегу, по шатким мосткам из двух рядом уложенных бревен-сухостоин двинулись через широкий ровный сор.¹ Весной сор заливало талой водой, а когда вода сходила, мы бежали сюда собирать клюкву. Впереди шел, оглядываясь на меня, папа. Я – за ним. А сестра Лиза – за мной. Сухостоины-пастилы шершаво-неровные, и по ним было хорошо идти. Но я все равно раза два оступился и намочил правый нырик.²

– Вот мама тебе даст – придешь домой! – проворчала сестра Лиза. – Смотри под ноги, не верти головой.

Я-то знал: от мамы никакой нахлобучки не будет, она высушит нырик – и все дела. Поэтому я не стал расстраиваться.

Кончились мостки – и мы прислонили свои слегу к засохшему на корню древнему кедру. Я потрогал его замшелый ствол. Кора давно отвалилась и, наверное, уже сгнила. А его тело – серое и крепкое – все еще поблескивало на солнце. Кедр гордо

¹ Сор – ровное болото без больших кочек и деревьев.

² Нырики – замшевая летняя обувь до колена или выше.

возвышался над всей округой. И мне он показался стражем вот этих мостков, клюквенного сора и ближнего леса. От старости он весь высох и замшел, но продолжал стоять на своем посту. Так он живой или мертвый? Высох – значит, умер. Но он стоит и охраняет округу – стало быть, живой. Разве мертвый может держать слегу и стоять на страже?!

Такие мысли пришли мне в голову, когда я прикоснулся к стволу древнего кедра.

– Пойдем, – позвал папа. – Что ты там стоишь?

– Он что-то бормочет, – улыбнулась сестра Лиза, останавливаясь возле меня. – Кажется, со стариком кедром разговаривает!

Я оставил кедр и поспешил за папой.

Мы шли по смешанному лесу. О деревьях я уже кое-что знал. Знал, что на верхушках мягкохвойных кедров к концу лета поспеют шишки. Папа принесет их, я поджарю плоды на костре, чтобы не стало смолы. И начну шелушить. Какие вкусные орехи! Это мое первое лакомство!.. Я поглядывал и на березы: не забыл еще вкус сладкого весеннего сока. А елки немного недолюбливал – хвоя у них больно колочая, до крови могут уколоть. Мама говорит, что это тоже дерево нужное – белки любят еловые шишки. Раз кормит белку – пусть стоит себе, думал я про елку, на почтительном расстоянии обходя ее ветви. А что до красноствольной сосны – так это наше «домашнее» дерево. Я смотрел на сосны как на давних знакомых. Хвоя – для большого черного глухаря, шишки – для белки, ствол – на стены дома и лабаза, сучья – пища для теплого очага. Все в дело идет.

Крепко пахло цветущей черемухой и молодой листвой. Я вдыхал этот терпкий дух леса и радовался тому, что меня взяли на причал. Тут и про комаров не забудь.

– На тропу смотри, – просила сестра Лиза, когда я приближался к мочажинам и корневищам на дороге. – Упадешь ведь!

За руку она меня не могла взять – тропинка слишком узкая. Рядом была широкая оленья дорога, но по ней тоже не пройдешь – сплошные мочажины, ступить негде.

Наконец мы поднялись па поросшую соснами гриву, и я увидел причал и Протоку Болотной Сторопы. На воде лежала «солнца рука», о которой говорила мне мама, – золотисто-

серебряная дорожка. Она искрилась и переливалась – ветерок слегка рябил воду.

Пахло посоленной рыбой и смолой. Пахло нагретой древесиной и сосновой хвоей. Пахло мокрыми сетями и травой.

Пахло рекой.

Вдоль берега лежали перевернутые вверх дном малые облачки.¹ Так они отдыхают после плавания, говорила мама. А на воде покачивались дощатые лодки – неводники.² Они тяжелые, их на сушу не вытаскивают. Мне очень хотелось посидеть на лодке, покачать ее на волнах, но сестра Лиза не пустила. Говорит, еще в воду упадешь. Папа возился с сетями возле деревянных бочек, что стояли в тени. Я знал – в бочках солили рыбу. Когда они наполнялись, папа на большом облаке отвозил рыбу на Аган-реку. Там недалеко от наших Летних Домов, на Домашнем Острове, был приемный пункт – избушка и длинный высокий склад – лабаз. Рыбу принимал добродушный Кудрявцев-старик. Его хозяйство называли просто Приемная. Меня брали туда очень редко, хотя я часто просился – хотелось все увидеть своими глазами. У воды комаров больше, чем на сухом бору. И папа выпроводил нас домой. Мы шли теперь без папы, одни. И за каждым валежником и замшелой корягой мне чудились таинственные лесные существа из сказок и легенд. Я их немного побаивался, и поэтому ни на шаг не отставал от сестры Лизы. И раза два уже наступил ей на пятку.

– Куда так спешишь? – упрекнула она. – По моим пяткам все идешь!

Я напомнил ей старинную примету, которую слышал от мамы: если кому-то наступил на пятку, значит, ровно через год с тем человеком по той же тропе пройдешь. Разве это плохо, бормотал я.

– Хорошая примета, – согласилась сестра Лиза. – Но ты мне пятки оттопчешь.

Потом и вправду мы не раз ходили с ней по этой тропе. По ней, когда наступило время неводного лова рыбы, мы перетас-

¹ Облак – лодка-долбленка из цельного ствола дерева.

² Неводник – большая лодка из кедрового теса, шпангоуты из кедровых корневищ.

кали вещи на пристань и на большой лодке поплыли на Аган-реку, где стояли наши Летние Дома, наше Летнее Селение. Там тоже было много интересного и нового. По реке проходили катера с баржами на буксире, на облаках и лодках заезжали к нам на чай путники, жители других селений. Изредка посещала нас Красная Лодка – кино показывала и говорила на непопятном языке о неведомых краях, путь в которые начинался с пристани.

Все начиналось с пристани.

Отсюда и я начал свой путь в неведомый мне мир. Бродя по дальним тропам и дорогам, скитаясь по другим рекам и морям, в мыслях я не раз возвращался сюда...

Глава девятая

КИВРИ

За водой ходили под гору, где у подножия были маленькие колодцы. Над ними сооружали островерхие навесы из жердей и болотного мха. Это «домики киври», чтобы в колодец не попадали хвоинки и листочки, крошки сосновой коры и другой сор кустов и трав. А «киври» – это и колодец на болоте или в низинке на окраине бора, это и прорубь на озере или реке, откуда берется питьевая вода.

Я охотно ходил с мамой под гору за водой. Воду носили в берестяных ведрах. Мама сшила для меня маленькое ведерко. Я смотрел, как она делала это. Кусок бересты, нагрет на огне, изогнула по четырем углам. Получилась куженька. Верхний край, приложив с внешней и внутренней стороны саргу,¹ обшила мятым корнем кедра. Папа нашел изогнутый дугой сучок сосны, обстругал его, а концы просверлил сверлом. И кедровым же корнем пришил ручку к берестяной куженьке. Готово ведерко.

– Помогай маме, – сказал папа. – Носи воду!

И я бежал за водой. С мамой или с сестрой Лизой. Одного меня еще не отпускали к колодцу.

В домике киври был берестяной ковшик с деревянной ручкой. Ковшиком черпали воду. Лезть ведром в колодец строго

¹ Сарга – ленты из лыка молодой черемухи.

возбранялось. Играть и резвиться вблизи тоже не разрешалось. Единственное, что мне позволяли возле киври, – это испить воды из берестяного ковшика.

А вода необыкновенно вкусная.

Сор Осеннего Селения питали неиссякающие родники.

Вечером, если отец приходил усталый, то обычно говорил:

– Свежей бы воды.

И мы с сестрой Лизой спешили за водой киври, чтобы напоить отца. Иногда на обратном пути нас подзывали к себе дядя Василь или мой крестный отец старец Ефрем, которые вечно мастерили что-то возле своего дома.

– Дайте свежей водицы! – просили они. – Горло совсем пересохло.

Испив холодной воды, крестный кивал мне седой головой и говорил степенно:

– Спасибо, спасибо, крестник-сын! – И всегда добавлял свое пожелание: – Чтобы и тебе, когда доживешь до моих лет, было кому поднести свежей водицы!..

А было ему в ту пору около ста лет, и мне он казался таким же вечным, как наш Сосновый Бор, Протока Болотной Стороны, Гора Осеннего Селения.

Мы приносили папе воду, и мне думалось, что эта вода снимает усталость и приносит человеку хорошие мысли, хорошее настроение. Ведь возле киври строго запрещалось браниться и говорить всякие плохие слова. Слово упадет в колодец, и пьющий воду может проглотить его. И тогда человеку будет плохо. А разве вы пожелаете плохого своему ближнему и человеку вообще?

Я и сам чувствовал, как берестяной ковш родниковой воды прибавлял мне силы. Это была живительная вода. И вкус ее трудно передать словами. Я улавливал и запах талого снега, и вкус спелой клюквы, и аромат листочков брусники, и едва уловимый дух только что проклюнувшейся травы, и свежесть болотного мха, и смолистость кедровой и сосновой хвои, и тонкую прель прошлогодних листьев, и сок от корней многих трав и деревьев. Тут была и береза, и черемуха, и рябина, и шиповник, и смородина...

Это была вода, настоящая на лучших солях Земли.

Это был сок таежной Земли.

Возможно, поэтому я так любил бегать за водой под гору, где были колодцы и берестяной ковшик с деревянной ручкой.

Только после, когда я объехал многие земли, многие города и села, испил воду многих рек и озер, многих родников и колодцев, я понял, что такой воды, какая была в киври под Горой Осеннего Селения, нигде больше нет. И – с годами я уверовал в это – не могло быть...

Глава десятая

ГОРА ОСЕННЕГО СЕЛЕНИЯ

Наше Осеннее Селение стояло на высокой горе под сенью седых сосен, на южной окраине белягельного сухого бора. Гора тянулась с запада на восток и была прямой и ровной, как тетива лука-самострела. Весь склон был в рыжей хвое, в бордовой бруснике, в разошедшихся шишках.

Гора смотрела в полдень.

Поэтому весной здесь появлялись первые проталины, куда мы бегали собирать прошлогоднюю бруснику – сморщенную, суховатую, но очень вкусную. А немного позднее, когда сходил снег, спускались на сор за клюквой. Сор был чистым и длинным, как Гора. На его окраинах зацветала царица болот – морошка. Это наша любимая ягода. Опа напоминала мне солнце в ясный полдень – была такой же прозрачно-желтой и сочной. Но, к сожалению, она созревала только в июле, когда мы перебирались в Летние Дома на Агане.

Бор был чистым и светлым от белого ягеля. И был еще необыкновенно звонким. Помню, когда я впервые закричал в бору, то бор долго звенел напевно и мелодично, словно заиграла хантыйская десятиструнная арфа – Журавль. И я, пораженный волшебством бора, замерев, слушал эту мелодию.

Гора смотрела в полдень.

И дома селения тоже смотрели в полдень.

Мы выходили из дома и шли прямо к спуску, шли под Гору, где в колодцах брали родниковую воду. Снизу Гора Осеннего Селения казалась мне высокой-превысокой. Когда я стоял на-

верху, то через верхушки росших на подножии сосен видел Припроточный Лес.

Мама с водой поднималась на Гору, и мы с сестрой Лизой на подъеме отдыхали два-три раза. Свои берестяные ведерки с водой ставили на заранее выровненные на песке пяточки. И мы всегда с большим уважением говорили об этом склоне, где обрывался сосновый бор – Гора Осеннего Селения. Всякий путник, идущий с пристани, не проходил мимо, не отдав поклон пашей Горе.

Много лет спустя я снова увидел Гору Осеннего Селения. Лесорубы вырубил Сосновый Бор. Невдалеке нефтяники поставили буровую. В первое же лето, когда жители переехали в Летнее Селение, иные лихие «искатели» прошлись по лабазам и амбарам. Такое соседство пришлось не по нутру жителям, и они навсегда покинули Гору Осеннего Селения. Дома и другие постройки обвалились и торчали из земли грудой полусгнивших бревен. Лишь три или четыре лабаза стояли на курьих ножках – с отодранными дверцами. Из тех, кто жил здесь, осталось две или три семьи. Не было моего крестного старца Ефрема. Не стало добрейшего дяди Василя. Нет многих моих двоюродных и троюродных братьев и сестер, дядюшек и тетушек. За эти годы многие навсегда оставили землю и Гору Осеннего Селения. Ушли многие, ушли навсегда...

Ушли. Это есть жизнь. Это можно понять, как бы больно ни было, ибо ничто не вечно под солнцем и луной. Хотя многие ушли преждевременно, ушли до срока. Ушли люди – и Гора Осеннего Селения показалась мне до обидного маленькой, до обидного низенькой. Гора, что в моей памяти была всегда высокой, чистой, светлой.

Я поспешил прочь. Я шел, и память восстанавливала Гору Осеннего Селения моего детства. Я шел, и память шла со мной. И, быть может, я счастливее многих, у кого не было Горы Осеннего Селения – чистой и светлой – высоты, на которую я взбираюсь всю жизнь.

Глава одиннадцатая

ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДСТВЕННИКИ!

У меня много родственников. Все жители нашего селения до десяти домов, это люди рода Бобра – мои родственники. Кто старше моего отца, те приходятся мне дядюшками и тетушками. Кто младше отца – это все мои братья и сестры. С ними я играю, озорничаю, а иногда и дерусь. Среди сверстников меня перебарывает только троюродный брат Архип, сын дяди Василя. Правда, он на полтора-два года старше меня. И я все жду, когда появится во мне дедовская сила, чтобы одержать верх над соперником. Сила почему-то не спешит вселиться в меня. Но я не отчаиваюсь, жду.

Не зря же дали мне имя моего деда-богатыря. Есть у меня родственники и за пределами нашего селения по всей нашей Аганреке. У мамы остались дети от первого дома – дочь Федосья и сын Галактион. Мои брат и сестра. Брат приезжает к нам нечасто. Он работает «почтовым человеком», возит почту между двумя большими селениями в разных концах реки. Зимой – на оленях, летом – на обласе. Изредка заезжает домой. Я всегда с нетерпением жду его: он делает мне игрушки из дерева и бересты, мастерит луки и стрелы, охотно катает на нартах и на обласе.

Возле старшего брата всегда чувствуешь себя увереннее.

А сестра бывает у нас еще реже. Далеко она живет, вышла замуж в низовье реки. Но путники часто привозят нам от нее слово: «Здравствуйте!». Мы все кричим тогда хором:

– Здравствуй, здравствуй, сестра!

А мама обычно тихо, словно сестра рядом, в нашем доме, говорит:

– Здравствуй, дочка! Здравствуй, старшенькая!

Последним, выждав, когда утихнет шум, подавал голос отец:

– Здравствуй, здравствуй, Федосья!

Мы были уверены, что она слышит нас и теперь будет здоровствовать много-много лет и зим. И мы в свою очередь с каждой оказией посылаем ей свое слово-пожелание – «Здравствуй!»

Когда я стал старше, узнал, что помимо кровных родственников у меня еще есть родственники среди других наро-

дов – это манси, венгры, эстонцы, финны.¹ Все люди, у кого родоначальником был Бобр, глава нашего рода – сира, – это тоже мои братья и сестры, дядюшки и тетушки. Об этом мне говорила мама. Говорил папа. Говорил дядя Василь. Говорил мой крестный отец старец Ефрем.

Где вы, люди рода Бобра?! Откликнитесь!

И я, гордый таким родством, наверное, на все стороны света посылал свое слово-пожелание:

– Здравствуйте, родственники! Здравствуйте!

В те дни зародилось и живет во мне до сих пор ощущение, что все люди Земли – это мои родственники.

Глава двенадцатая

ПОСЛЕДНЯЯ ОЛЕНИХА

В тот год мы весновали у бабушки, на Яру рода Сардаковых. Возле бревенчатой избушки, на чистине, снег горел на глазах – и вскоре появилась большая проталина. На ней земля в полдень так нагревалась под щедрым солнцем, что я украдкой от мамы босиком выбегал из дому, чтобы попрыгать на песке. Оказывается, за зиму я очень соскучился по теплой и ласковой земле.

Было много солнца. И на красно-оранжевых бревнах избушки выступала прозрачная смола. На борových соснах сверкала и трепетала под ветерком золотистая кора. Под высоким белым Яром наша Аган-река несла голубоватые льдины, и по ним скакали шаловливые лучи солнца.

В высоком небе ни облачка.

Воздух наполнен ароматами весны.

Пахло сосновой хвоей и смолой.

Пахло теплой древесиной.

Пахло ростками первой зелени.

Нас со старшей сестрой Лизой все время тянуло на улицу. И почти целый день мы играли на проталине перед домом.

Проталина эта приглянулась и нашей оленихе. Звали ее Стройный Олень, или Стройная Олениха. Придя с пастбища,

¹ Ханты родственны по языку всем финно-угорским народам.

она сначала походила к двери. Мы с сестрой бежали к ней и кормили ее с руки. Ее лакомства – поджаренную чешую с подоушек, плавники и щучьи хвосты, головы чебаков – мы заранее запасали. Знали, какие рыбы кости следует давать оленю, а какие нет. Мама всегда предостерегала нас, чтобы мы не давали ей щучьи челюсти с острыми зубами. С щучьими зубами не мог расправиться даже наш клыкастый пес Харко.

Я иногда выносил нашей Оленихе кусок-другой хлеба. Делал это тайком от взрослых, поскольку с хлебом в те годы было трудно. Олениха тянулась ко мне и, раздувая ноздри, шумно втягивала в себя воздух. Наверное, ловила запах поджаренной подоушки и хлеба. Она любила хлеб и, получив кусок, благодарно кивала мне головой. Так мне во всяком случае казалось.

Я гладил ее по светлой шее и по светлым бокам. Почти до белизны обветривалась она под весенними ветрами и солнцем. Мне нравилось, что она становилась такой же светлой, как и снежно-белый олень. Хотя скоро начнет линять – и шерсть на ней повиснет клочьями. Зато осенью я не узнаю ее в новом наряде: шерстинка к шерстинке, вся она будет сверкать и серебриться на солнце. На голове – звонкие ветвистые рога. Тогда ее с рук не покормишь. Я начну подзывать ее: «Та-та-таа-а!» Она издали будет коситься на меня выразительным глазом. И как только я сделаю к ней шаг – она, пугливая и осторожная, отступит на два. Тут уж и хлебом не подманишь, и жареными плавниками и чешуей подоушки не подзовешь. Так бывает осенью. А сейчас, полакомившись, Олениха не спеша обходила наш открытый, без городьбы, двор, потом ложилась на теплую проталину возле входа в дом. И, прикрыв большие темные глаза, жевала жвачку и дремала.

Так было изо дня в день. С каждым днем становилось все теплее. Потом наша Олениха пропала. Не приходила с пастбища. По таинственным улыбкам взрослых я понял: они что-то знают об Оленихе, ничего плохого с ней не случилось, просто не говорят. Пришла она на третий день утром. Да не одна – а с маленьким красношерстным олененочком. Олененочек едва касался земли высокими тонкими ножками, словно по весеннему воздуху парил. Но на песке оставались крохотные ямочки от копы-

тец – значит, он все-таки ходил до земле. Нашей радости не было предела.

– Ох, олененок! – прошептал я.

– Смотри, смотри! – дергала меня сестра. – Какой махонький! Какие высокие ножки!

– Теперь у нас два оленя – целая упряжка! – сказала мама. – Только бы хорошо рос олененок!

– Ахах! – закудаhtала наша седовласая бабушка. – Ах, какой олень!

– Олень вроде ничего, – сдержанно проговорил отец. – Хорошо на ногах стоит. Крепко стоит.

Даже муж бабушки, сумрачный и суровый отчим нашей мамы, вдруг улыбнулся и сказал негромко:

– Н-да, олень!..

И мы все поняли, что олененок и вправду родился хороший. Хоть куда!

Олененок пугливо озирался по сторонам, прижимался к боку матери. И при любом неосторожном движении бросался прочь. Но Олениха успокаивала и подзывала свое дитя ласковым хорканьем. А отец тихонько подкрался к нему и поймал за ножку. И мы все по очереди чмокнули его в мордочку со словами:

– Расти большой! Расти сильный! Расти быстрый!

А мы с сестрой Лизой погладили его по теплой головке. Отец выпустил его из рук – олененок отбежал и отряхнулся. Видимо, не понравилось первое прикосновение человека. Но потом он успокоился и вместе с Оленихой-мамой обошел наш двор. Мне показалось, что они, осматривая строения, тихо переговаривались на оленьем языке. Показывая на избушку, Олениха говорила:

«Это дом. Пахнет хлебом, поджаренной рыбой и теплом. Запоминай, дочка, эти запахи».

«А кто в доме живет?» – спрашивала дочка.

Ведь она все видит впервые. И ей, конечно же, все хочется знать.

«В доме люди живут, – отвечала мама Олениха. – Наши хозяева. Маленький хозяин и маленькая хозяйка. Большой хозяин и большая хозяйка».

«А с белыми головами кто такие?»

«Это старые люди. Наверное, родители наших больших хозяев».

«А это что за дом на чурочках стоит?»

«Это не дом – в нем нет чувала. Это амбар».

«А что в амбаре?»

«Там всякие куженьки, туюски, корыта, набирки».

«Для чего они?»

«Для рыбы, для сбора ягод. Пахнет чешуей и брусникой».

«А тут почему нет стен? Одна только крыша...»

«Это навес. Так и должно быть. Под ним стоят нарты. На таких нартах мы зимой станем возить наших хозяев. Особенно любит кататься наш маленький хозяин, который каждый день выносит мне разные лакомства. Это чтобы я зимой катала его на нартах».

«А в высоком доме кто живет?»

«А-а, это ты про лабаз спрашиваешь. Видишь, он стоит на четырех ножках с насечками. Это чтобы мыши туда не пробрались. Там хранится меховая одежда, подволоки – это охотничьи лыжи, подбитые мехом, упряжные лямки и съестные припасы. Обычно там бывает мука в мешке и сел в берестяных кадушках. Сейчас, по-моему, муки там нет – маленький хозяин почти не угощает меня хлебом».

«А что такое сел?»

«Сел – это прокопченные чебаки и подвязки, всякая мелочь рыбья. Очень вкусная. Вот подрастешь – и тебя начнут баловать такой рыбкой».

«А это что за зверь такой?» – спросила дочка, подходя к собачьей конуре.

«Это пес наших хозяев. Зовут его Харко. Ты близко не подходи. Может цапнуть за ножку».

«За что? Я ж ему ничего плохого не сделала!»

«Ни за что. Собаки все хитрые и коварные. При людях они тихие и мирные, а как хозяин отвернулся – сразу цап!»

«А тебя они кусали, мама?»

«Да. Когда я маленькой была, однажды, помню, собака отвязалась и долго гоняла нас, оленей, по пастбищу. Мы догадались – прибежали домой. Тут хозяин поймал и крепко наказал собаку. А у меня потом болели раны на задних ногах. Если упадет на тебя какая – надо всегда бежать к дому хозяина, – говорила Олениха. – Хозяин всегда выручит!»

Они подошли к таганку, где на открытом огне варилась уха и кипел наш большой медный чайник. Дело шло к обеду, и тут хлопотала бабушка.

«А это что за красный зверь?» – спросила дочка Оленихи, показав на таганок.

«Это не зверь, это – огонь!»

«Тоже кусается?»

«Да, очень больно может укусить. Пока он под присмотром человека – за тобой не погонится. Но все равно будь осторожна, не наступай на пепел кострища – копытца можно обжечь».

«Сколько же у нас врагов! А друзья у нас есть?»

«Есть и друзья. Наш маленький хозяин, маленькая хозяйка и их родители. Это друзья, понимаешь?»

«Понимаю».

Так, тихо переговариваясь на оленьем языке, они обошли наш двор. Потом вернулись на проталину, потоптались немного и легли на горячий песок бок о бок. Мы с сестрой не подходили к ним, смотрели издали, чтобы не беспокоить зря. Как только приближался человек, пугливый олененок сразу вскакивал.

Теперь мы с сестрой ломали голову, какое имя дать маленькому олененку, дочке нашей Стройной Оленихи. Ни одно имя не подходило, поскольку олененок пока никакого поступка не совершил. Еще не показал свой характер, не показал свой нрав. Да и не простое это дело – придумать имя. Ведь оно должно быть таким же звонким и красивым, как и сам олененок. И чтобы оно обязательно «пристало» к нему.

– Имя придумали? – спросила мама.

– Нет еще, – ответили мы с сестрой. – Не пристают имена к нему.

– Думайте, думайте.

А папа посоветовал нам:

– За ним внимательно наблюдайте.

– Зачем?

– Он сам подскажет вам свое имя.

Но мы и так почти не спускали глаз с олененка. С каждым днем он все подрастал и становился резвее. Задрав пушистый хвостик, пускался вскачь по проталине. Словно поддразнивал меня – кто быстрее, кто быстрее! И я удивлялся: он только ро-

дился, а бегаёт быстрее меня. Я не мог догнать его. Ай да олененок!

Было тепло. Границы проталины заметно отодвигались – вместе с ними расширялся и мир моих владений. Я все дальше и дальше уходил от избушки вслед за тающим снегом.

Шли дни. Олененок подрастал, а имя все не приходило. А потом мы и вовсе забыли об имени. Как-то днем, покормив Олениху, я забежал домой. Тут следом влетела бабушка и крикнула маме:

– Вера, вашей Оленихе плохо стало!

– Что с ней? Где?!

– Там! На проталине! Беги!

– Зови отца! – крикнула мне мама и выбежала из дома.

Весь дом всполошился. Все забегали, засуетились. Все что-то кричали, кого-то звали.

Я тоже выскочил на улицу. Олениха на одном месте кружилась посреди проталины. Вдруг ноги ее подломились, и она, задрожав вся, рухнула на землю. Забила ногами и, загребая копытами песок, неловко поползла по кругу. В правую сторону. На правом боку.

– Может, подавилась? – крикнула бабушка и глянула на меня. – На подоконнике гвозди лежали. Может, с чешуей отдали ей!

– Не давал я гвоздей! – закричал я. – Не было там гвоздя.

– В рот, что ли, ей загляните! – попросила мама. Отец приподнял голову Оленихе с закатившимся глазом, подержал немного, а потом осторожно опустил. Отец молчал. Все притихли. Наконец отчим мамы сумрачно выдавил:

– Все. Кончилась.

И проталина вдруг сузилась до пяточка, на котором лежала наша неподвижная Олениха. И мы стояли возле нее и молчали. А вокруг нас с горьким плачем носился маленький олененок. Он не мог пробиться через людскую стенку к своей матери, не видел ее, но понял, что случилось несчастье. Услышав его плач, мы с сестрой тоже заплакали. Но бабушка тут же зашикала на нас и увела в дом.

– По оленю нельзя плакать, – сказала она. – Утрите слезы.

Мы размазали слезы по лицу и забились в темный угол.

И нам стало холодно и жутко.

Приходили соседи, люди рода Сардаковых. Вздыхали, о чем-то расспрашивали отца и отчима мамы. Я сначала улавливал лишь не очень понятные слова: «война», «фронт», «груз», «червь в сердце», «война время». Потом понял, что говорили о нашей Оленихе. У нее «сердца не стало». Олениха нас всю войну везла и «из войны» вывезла, говорили взрослые. Иначе бы мы не выжили и войну бы не одолели.

Последняя Олениха.

Военная Олениха.

А недавно, приехав в отчий дом, я вспомнил ту послевоенную весну далекого детства. Вспомнил нашу последнюю Олениху. Оказалось, что и мой отец не забыл ее.

– Да, – сказал он. – Это была последняя Олениха вашей мамы. И ты помнишь ту весну?

– Да. – Война и олений род подорвала...

Потом, встряхнувшись от дум, стал расспрашивать о жизни людей земли, о войне и мире.

И надолго замолк. Видно, в его памяти всплыло, как он выражался, «война время», те тяжкие годы, о которых напомнила ему наша последняя Олениха.

Глава тринадцатая

КРАСНЫЙ МАЛЫШ

Олененок с плачем носился вокруг избушки – звал Олениху-маму. Потом ненадолго останавливался и прислушивался – не ответит ли мать ласковым голосом. Но было тихо. И он недоуменно оглядывал двор и бросался то в одну сторону, то в другую.

Отец вылавливал его и на руках уносил на пастбище, где паслись олени наших соседей. Но несмышлениш тут же, как только выпускали, убегал домой. И жалобным хорканьем взбудораживал все селение. А вскоре он потерял голос – уже не хоркал, а просто хрипел.

Отец смазал его мордочку кровью Оленихи и снова на руках отнес в сосновый бор к оленям.

– А зачем кровью его смазали? – спросил я.

– Это чтобы его сердце меньше ныло по матери, – объяснила бабушка. – Так древние считали. Так наши предки делали.

Возможно, что и вправду притуплялась боль в сердце. Но наш олененок все продолжал звать Олениху-маму хриплым голосом. Он не находил себе места ни на пастбище среди оленей, ни дома возле людей.

И бабушка, завидев его, говорила:

– Сиротинушка... Опять домой бежит!

– Куда ему еще бежать? – вздыхала мама.

– Да, некуда, – соглашалась бабушка. – Красный олененок никогда не оставляет по место, где теряет свою маму. Как далеко ни увезешь – все равно бежит обратно, на то место.

– Ох, тяжело ему... – печалилась мама. – Голодный ведь, чем его кормить?

Молока, конечно, не было. Начали кормить болтушкой из рыбы. Вареную рыбу очищали от костей, потом мяли и заливали ухой. Получалось что-то похожее на молоко. Из деревянной чашки мы поили олененка этой болтушкой, жидкой рыбной кашницей. Вскоре он привык к такой пище.

С пастбища он прибегал прямо к дверям избушки и ждал, когда вынесут поесть. Если мы мешкали, он начинал стучать копытцем в дверь. Видно, сердился, торопил нас: есть хочу, давай-те скорей. А коль дверь настезь – то без всякого стука просовывал голову в дом. На что бабушка всегда махала руками и добродушно ворчала:

– Не впускайте его в дом. Не впускайте.

– Почему? – спрашивал я. – Может, ему хочется посмотреть, как люди живут.

– Нельзя оленю в человеческий дом, – стояла на своем бабушка. – Плохо ему будет. Нельзя.

Нельзя так нельзя. И я неохотно закрывал дверь.

Теперь олененок совсем стал ручным. И я целыми днями играл с ним. Я говорил ему, что вырастет он большим и потянет одну половину нарты, а вторую половину потянет колхозный олень. Отец говорит, что осенью колхоз даст нам одного оленя. Временно, на зиму. У колхоза тоже мало оленей – часть из них взяли на войну. Там что-то они возили по тундре в сторону фронта. И не вернулись... Осенью, по первому снегу, мы поедем

в зимний дом. Отец станет ездить на охоту и рыбалку. И я прокачусь с ним до ворот кораля. А вечером буду выбегать ему навстречу, чтобы проехать на оленях до стоянки нарты возле избушки. А потом быстро слетаю в дом и вынесу своему любимцу разные лакомства, что припасу для него за день.

Я буду кормить тебя каждый день, говорил я олененку. Только ты спеши, подрастай поскорей. По словам бабушки, скоро появятся комары и пауты. И если ты не станешь крепко на ноги к этому времени, то тебе придется туго. Комары и пауты почему-то больше всех обижают осиротевших оленят. Могут совсем замучить. Я не хочу, чтобы тебе плохо было. Поэтому тайком от взрослых буду приносить свой хлеб. Ведь хлеб вкуснее намного, чем рыбная кашница. Это я хорошо знаю. Особенно свежий хлеб.

Ты будешь хорошо расти, говорил я олененку. Потому что все тебя любят и жалеют.

Олененка каждый звал по-своему:

– Сиротинушка... – вздыхала бабушка.

– Дочка Оленихи... – ласково и грустно говорила мама.

Олененок папоминал всем нашу старую Олениху, которая, уходя, оставила память о себе.

– Малыш... – такое имя понравилось папе.

– Красный Малыш! – сказала моя сестра Лиза.

– Красный! – подхватил я. – Красный!

«Красный», пожалуй, всем по душе. Красный – значит красивый, прекрасный, хороший. Никто этого не отрицал. У всех глаза, все видели это... Красный – потому что у Малыша шубка красная. И всех оленят, до первой линьки в середине лета, называют красными. После линьки цвет будет другой. А осенью, наверное, станет серебристым, как старая Олениха.

Теперь взрослых мучает один вопрос. Они спрашивают друг у друга – выживет ли?

– Не знаю. Совсем еще махонький...

– Вот если бы чуть постарше был...

– Да, свой желудок еще не поднял.

– Без материнского молока...

– Выживет, если к другой оленихе приучить.

И мама вспомнила оленные времена. Бывало, если олененок оставался сиротой, его приучали к другой оленихе, у которой

есть свое дитя. И она привыкала и со временем начинала кормить и растить двух оленят. Но у нас нет оленихи. И у соседней почти не осталось оленей – у кого два-три, а у кого и вовсе нет ни одного. Да к тому же соседские олени обижали нашего Малыша. Когда он подбегал к какой-нибудь оленихе, та сердито фыркала и замахивалась копытом. Я тут же, в отместку за это, швырял в драчунью щепки и сосновые шишки.

– Ух, я вам дам!.. – кричал я обидчикам Красного Малыша.

Мы кормили его рыбной похлебкой каждый раз, как только прибежал домой. И он, привыкнув, целый день топтался возле дверей избушки. А потом у него стал расти живот. И он как-то заметно отяжелел, уже не летел к дому птицей, едва касаясь земли. Теперь ступал он степенно, как старый олень, у которого плохо сгибаются суставы. Напоминал маленького старичка-хлопотунчика – ходил только шагом, вскачь почти не пускался. Наверное, тяжело с брюхом, соображал я.

Спросил у мамы:

– Почему у него живот таким большим стал?

– У сирот-оленят всегда такие животы.

– Отчего они такие?

– Видишь ли, – объяснила мама, – он растет без молока. Ест рыбную болтушку. Ест зеленые листочки – травы и ягель. Это грубая пища. Он еще не окреп. Вот его желудок и не справляется с такой пищей.

– Может, чем-нибудь другим надо кормить его?

– Да ничем материнское молоко не заменить... – вздыхает моя мама.

– А живот у него всегда таким будет?

– Нет, когда он подрастет, живот у него будет нормальным. Как у всех оленей.

– Это хорошо! – обрадовался я. – Ему легче бегать.

Я тут же выскакивал из дома и бежал к олененку.

– У тебя все пройдет! – кричал я Красному Малышу. – Как только подрастешь! Слышишь?! И станешь так же быстро скакать, как и другие оленята, которые с матерями растут. Ты не расстраивайся, Малыш! Все пройдет. Все пройдет...

И он тыкался носом в мой живот, обнюхивал мои руки. А я гладил его по теплой маленькой головушке, и на моих ладонях

оставались его красные шерстинки. В это мгновение я был уверен, что он понимает мой язык. Понимает все, что я ему говорю.

Но его огромные глаза грустные-грустные. И мне, глядя в них, хотелось плакать...

И в словах взрослых я улавливал тревогу:

– Выживет ли?..

– Будет ли жить?..

– Сколько еще протянет?..

Только суровый отчим мамы все чаще сводил кустистые брови и молчал, когда шел разговор о Красном Олененке. И это его молчание меня беспокоило больше, чем тревога в словах бабушки, мамы и папы и наших соседей. Впрочем, когда с нижнего конца Яра, с ягельника, где паслись олени, показывался наш олененок, я забывал обо всем на свете – тут же опрометью бросался к нему навстречу, ловил его и чмокал в теплую мордочку.

Наверное, на всем белом свете только я один был уверен до конца: ничего с олененком-сиротой не случится – выживет. Обязательно выживет!..

Эту мою уверенность видели и взрослые. Бабушка сказала мне с улыбкой:

– Ты каждую хвоинку с него сдуваешь, каждую шерстинку ему поправляешь. Конечно же, он должен выжить!..

А мама грустно заметила:

– На твоём лишь дыхании живет... Но моего дыхания хватило ненадолго.

Солнце делало свое дело. Снег почти полностью сгорел, и проталина стала бескрайней. Река очистилась ото льда. Вернулись на Север стаи перелетных птиц.

Прогремел первый гром.

Прошел первый дождь.

Появились первые комары. И я их безжалостно прихлопывал, чтобы поменьше досталось комаров на долю Красного Олененка. Теперь я провожал его на пастбище до самого конца Яра. И утром, если рано просыпался, встречал там же.

Но однажды Олененок не пришел домой. Солнце уже поднялось высоко, и мы все, ожидая его, забеспокоились. К полдню отец отправился на поиски. Вернулся он неожиданно быстро – с

Красным Олененком на руках. Тот лежал на тропе головой в сторону дома. Совсем недалеко, за ближним сосняком.

– Видно, бежал домой и свалился замертво, – сказал отец и положил Олененка на землю возле бабушки.

Мы молча обступили его. А он такой маленький, красношерстный и неподвижный. И мы с сестрой тихо заплакали. Но теперь почему-то никто не шикал на нас, никто не говорил нам, что по оленю нельзя плакать.

Сквозь слезы я представил себе, как все это произошло.

На рассвете Олененку стало плохо, и он рванулся домой – поспешил к людям. Но не добежал до дома, не добежал до человека – преждевременно свалился и не встал. И я был бессилен помочь ему. И это бессилие угнетало меня: ни о чем другом не мог думать.

Потом он вернулся и, трепетно легкий и пугливый, ускользающий при каждом неосторожном движении, долго жил в моих снах...

Так кончился род оленей нашего дома.

Глава четырнадцатая

СКАЗКИ МОЕГО КРЕСТНОГО

По вечерам мы обычно собирались в доме дяди Василя, где жил мой крестный отец старец Ефрем. Мы приходили к нему, и друзья тыкали меня в бок и шептали:

– Сказку проси! Он твой крестный отец!..

Я придвигался к старцу и громко – он стал туговат на ухо – просил:

– Крестный, нам сказку расскажи!

– Сказку? – переспрашивал он. – Да сказки давно покинули мою голову.

Я недоверчиво косился на его седую голову и лукаво тянул:

– Может быть, од-на-а коротенькая сказка осталась, а?

– Коротенькая? – снова переспрашивал он, – А что толку от коротенькой? Ведь мало вам будет коротенькой!

– А легенду! – невозмутимо добавлял я. – Можем и легенду послушать, если совсем нет сказки...

– Легенду? – степенно спрашивал крестный.

Мы согласны были и на легенду. Хотя всегда предпочитали сказки подлиннее.

– Да-а, – неопределенно тянул старец. – Вот трубка моя куда-то запропастилась. Вечно из-под рук уходит... неведомо куда.

Я быстро отыскивал его трубку и кисет и подавал ему.

– Спасибо, вот спасибо, крестник мой! – благодарил он и непременно добавлял свое пожелание. – Чтобы и тебе, когда доживешь до моих лет, было кому подать трубку и огонь!

«Это я должен дожить до ста лет!» – удивлялся я.

Он неторопливо набивал табаком трубку, неторопливо раскуривал ее и, сделав две-три затяжки, говорил, словно вслух размышлял:

– Старееет моя голова... Уходят мои сказки... Потом, немного помолчав, спрашивал:

– Может, загадку поискать?

– Загадку, загадку! – хором кричали мы. – Загадку, дедушка!

– Ну ладно, одну загадку в памяти разыскал, – соглашался старец и, сипнув трубкой, выдавал: – Загадка-загадка, посреди бора длинный хвост. Что это?

– Тропинка, тропинка! – хором отвечали мы.

– Молодцы! – кивал старец белой головой. – Правильно: тропинка это.

Пыхнув трубкой, загадывал новую загадку:

– Загадка-загадка, две сестрицы через валежину оглядываются-оглядываются, но никак не могут друг дружку увидеть. Что это?

Теперь мы кричим вразнобой, кому что взбредет в голову. Каждому хочется первым отгадать трудную загадку. А крестный молчит. Значит, еще не попали в точку, не сообразили, что за сестрицы. Мы начинаем оглядываться на родителей – не поможет ли кто? Не подскажет ли? Вечерами возле старца Ефрема собирались и взрослые, наши отцы и матери, тетушки и дядюшки. Когда начиналась сказка, они замолкали и слушали с таким же интересом, как и мы, дети.

Крестный мой ждет отгадку. Что же это такое – две сестрицы, которые никак не могут друг дружку увидеть? Мне даже

становится жаль этих неведомых сестриц: живут рядом, самые близкие родственницы – вот такое наказание...

Что же все-таки такое? Кажется, перебрали все, а ничего не подходит. Молчит крестный. Наконец потихоньку подсказали родители. И кто-то крикнул:

– Две сестрицы – это глаза!

– Верно, так! – соглашается крестный.

Мы начинаем вращать глазами и убеждаемся: и вправду, глазом глаз никак не увидеть. Разве что зеркало поможет.

– А валежина что? – спрашивает крестный.

– Это – нос! – кричим мы радостно. – Валежина – нос!

– Верно! – кивает старик. – Все-таки изловили отгадку. Молодцы!

Возвращаются и те ребята, которые бегали за отгадкой в соседние дома. Но, увы, не успели. Мы победоносно поглядываем на них, перешептываемся, укладывая в памяти загадку.

Наконец замолкаем в ожидании сказки.

А крестный, прикрыв усталые глаза, молчит, покуривает трубку. Потом, очнувшись от дум, тихо говорит:

– Вот тут в памяти одну небольшую сказку изловил...

И в дом входила неторопливая сказка.

Мы вплотную придвигались к сказочнику и, забыв обо всем на свете, замирали со сказкой в ушах. Сказка завораживала и взрослых. Если к хозяевам приходили соседи что-то попросить, то они говорили только шепотом. А бывало, забыв о делах, оставались «на сказку».

Слушал весь дом. Слушал, затаив дыхание, не пропуская ни одного слова...

Такова была сила сказки моего крестного.

Это он только говорил – «небольшая сказка». По старой привычке. На деле же сказка оказывалась такой же длинной, как и его жизнь.

Он не трогал сказок коротких. Наверное, знал, что мы сами выудим их у наших родителей, у тетушек и дядюшек. Он рассказывал нам древние мифы, о которых мало кто слышал. Я узнал, что такое Земля и как появились на ней люди, звери и птицы, травы и деревья, реки и озера. Что есть Верхний мир, где живут боги. Средний – для людей.

И есть еще Нижний мир, куда люди уходят после окончания жизни. Что в давние времена и боги устраивали сражения между собой, и отзвуки тех битв остались в названиях созвездий, в названиях многих сопок, рек и озер Среднего мира. А после и человечество Земли не раз пускалось по неразумной тропе войны...

Что такое Средний мир, в котором живут люди? Это островок в пространстве, передает миф. Это островок Земли в пустоте.

Все, что есть в этом мире, — все объяснимо, все имеет свои истоки. Я слушал неторопливое повествование, и мне уже казалось, что все изначальное в жизни связано с моим крестным отцом — мудрым старцем Ефремом. Со сказкой на устах он казался мне центром Среднего мира, центром Земли и Неба, центром Вселенной...

Я выучил многие его сказки. И когда в нашем доме собирались дети, я рассказывал им древние мифы моего крестного.

После, когда пришел в школу и впервые увидел глобус, я поразился: мой крестный был прав. Был прав, хотя ни разу глобуса и карты Земли не видел. Земля — это шар в пространстве. Просто он называл его не шаром, а островком Земли. И первый космонавт, облетевший нашу планету, еще утвердил меня в мысли моего крестного, что во Вселенной есть разумные существа. Просто мой крестный называл их богами. Прав он и о Нижнем мире — ведь все мы, живущие на этом свете, в конце концов уйдём в Землю.

Прав мой крестный: жизнь вечна, ибо мы просто переходим из одного физического состояния в другое. Но след наш остается. И остаются наши сказки. Останутся и сказки моего крестного — частица его жизни...

Глава пятнадцатая

СТАРИК МЕСЯЦ

Огненно-медный лик Луны медленно выплывал из-за борových сосен. И весенние снега, и вечерние облака, и дома, и люди — все вокруг становилось таким же огненно-пурпурным, как и восходящая Луна. Когда я впервые увидел круглый огромный лик Луны, спросил у мамы:

— Это кто?!

И мама ответила:

— Это Старик Месяц.

Пораженный его живым румянцем и огненной величиной, я показал на него пальцем. Мама строго внушила мне:

— На Старика нельзя пальцем указывать.

— Почему? — удивился я.

— Палец этот заболит. Есть такая примета, — пояснила она и, повернувшись к Старику, добавила: — Он не любит, когда в него пальцем тыкают. Кому это понравится?

Строгий, видно, Старик, подумал я. Надо с ним ухо держать востро. Мне совсем не хотелось, чтобы заболел мой указательный палец. И я спросил у матери, что теперь будет. Она сказала, что в первый раз Старик простит меня. Ведь я показал на него по незнанию, а не с умыслом оскорбить. Впредь я этого не стану делать и с большим уважением буду относиться к небесному Старику.

Я согласился со словами мамы и успокоился. Оказывается, Старик похож на человека. Он понимает меня, соображал я. Со всем как у людей на Земле. И это еще больше утверждало меня в мысли, что все небесное и земное — взаимосвязано, едино, цельно. Значит, я могу жить и на Земле, и на Небе. Ведь и Месяц-Старик жил когда-то на Земле. Быть может, он является моим родственником.

Мои крестный старец Ефрем рассказал древний миф о происхождении Луны.

ЛУНА-ЧЕЛОВЕК

Жил Человек. Жил счастливо. Но его постоянно тянула дорога: хотелось поехать по Земле, посмотреть, что там за дальним болотом, за дальним урманом, за дальней горой. Он загрустил. И жена, заметив его грусть, отпустила его, сказала: езжай. И он сел на коня и поехал. Долго ли ехал, коротко ли ехал, увидел город. Остановил коня возле дома, вошел в дом. Там жила женщина. Он остался с ней. Жил-жил, опять не стало покоя, опять позвала его Дорога. И он сел на коня и поехал. Долго ли ехал, коротко ли ехал — снова увидел город. Вошел в дом, в доме жила

женщина. Он стал жить в этом городе. Но через некоторое время он снова пустился в путь. Долго ли ездил, коротко ли ездил – наконец сердце потянуло его в родной дом. Он повернул коня и поехал в сторону родного дома. Оказывается, он так долго ездил, что город, где жила его третья женщина, уже сравнялся с землей, а земля заросла травой-кустарником. Только на месте дома был небольшой бугорок. Он остановил коня и стал ковырять носком этот бугорок. И неожиданно из бугорка выскочила его женщина. С криком: «Дорогой мой, иди ко мне!» – кинулась к нему. Он вскочил на коня и поскакал в сторону родного дома. Но женщина из потустороннего мира не отставала от всадника, с криком и воем неслась за ним по пятам. И когда он скакал мимо другого города, который тоже сровнялся уже с землей, из бугорка на месте дома выскочила вторая женщина. Теперь обе женщины с воплями мчались за всадником. Хотя он гнал коня изо всех сил, конь летел галопом, но женщины настигали и уже тянули руки к хвосту коня. Тут показался родной дом. И он послал мысль вперед – жене, первой, единственной: «Жена моя, спасай меня!» И та уловила его мысль и выскочила на улицу, схватила мужа за правую руку и ногу. Он не успел соскочить с коня. С другой стороны его схватили за руку и ногу преследовавшие женщины. И начали тянуть его в разные стороны: женщины – в одну, жена – в другую. Ни та, ни другая сторона не хотела уступать. И наконец разорвали Человека посередине. Две женщины со своей половиной с радостным визгом, хохотом и воем тут же ринулись прочь. И сгинули бесследно.

Жена Человека занесла свою половину в дом, скатала из того, что ей досталось, маленького ребенка, посадила его в люльку и стала качать, лелеять, растить. Ребенок рос, вырастал, взрослел. Но взрослым он был всего три дня. Затем начинал убывать и превращаться в неразумного младенца. Она снова принималась качать его, лелеять, растить. И он вырастал за три дня. А затем все начиналось сначала. Жена качала его, лелеяла, растила днем и ночью. И наконец от усталости уже не могла поднять руки.

И тогда она сказала:

– Если бы мне досталась твоя половина с сердцем, я бы сделала из тебя Человека. Но мне досталась половина без сердца – я ничего не смогу сделать...

Она скатала шарик из того, что ей досталось, и вышла на улицу. И со словами:

– Я не смогла... Пусть тебя Небо растит и лелеет! – бросила шарик в небо.

И шарик этот стал Луной. Сначала растет, затем на три дня взрослеет, а после начинает убывать. И так из месяц в месяц, из года в год, из столетия в столетие. И люди уважительно стали называть его Стариком, а он стал освещать Землю по ночам.

А жена его... первая... единственная... которую он, быть может, недооценил сначала, – не захотела жить на Земле без любимого Человека. Она ушла в Небо и стала Солнцем.

Мне было до слез жаль Человека из сказки. И, чтобы не разреваться, я долго молчал. А после потребовал у взрослых:

– Почему ей досталась половина без сердца? Скажите!..

Взрослые переглянулись между собой, помолчали, потом объяснили:

– Если бы ей досталась половина с сердцем, то не было бы сказки. Понимаешь?!

Но я ничего не хотел понимать. Мне не нужна была сказка. Мне нужен был живой Человек, который жил бы рядом со мной на Земле. А взрослые этого не допускали...

Я много думал о Человеке пострадавшем. И однажды понял, что женщины мифа – это силы добра и зла. Эти силы непременно должны были столкнуться и, столкнувшись, разорвали Человека пополам. А впоследствии также понял и то, что в каждом человеке есть два начала – светлое и темное. С годами одно из них берет верх, и оставшуюся часть жизни человек живет с этим цветом, и все его дела и помыслы идут уже по определенному руслу. Размышляя об этом, я все чаще думаю: кому достанется мое сердце? Светлому ли, темному ли началу?

ЛЮДИ МЕСЯЦА

Чистый и доверчивый лик Старика Месяца так мне понравился, что я смотрел не отводя глаз, как он, путаясь в ветвях сосен, поднимается в Небо. Казалось, он был так близко, что протяни руку – и прикоснешься к его теплему лицу.

Я отчетливо видел на правой стороне очертания человеческой фигуры. Он чуть наклонился вперед, протянул руку к сидящему слева человеку. Внизу, между ними, прорубь – круглое темное пятнышко.

Легенду о том, как эти двое попали на Луну, помню смутно. Ее рассказывала соседка тетя Акси́нья, мать моей родовой¹ сестры Катерины и брата Андрея. Помнится, она говорила, что людей Месяца видит не всякий живущий на Земле. Это не зависит от зоркости глаз. Человек даже с очень острым зрением может не увидеть лунных людей, детей Неба. Их разглядит только тот, кому судьбой предначертана на Земле долгая жизнь.

Меня тогда не очень волновало то, какую жизнь мне предопределила судьба – долгую ли, короткую ли, ведь существование Неба и Земли я не представлял без себя. Главное, я мог рассматривать лунных людей, их фигуры, протянутые друг другу руки, бездонную пасть холодной проруби. Я отчетливо видел их и мог с ними разговаривать. Это же дети Земли, мои сверстники, попавшие на Небо. Может быть, из моего рода. Значит, мои близкие родственники.

В ГОСТЯХ

После ужина я попросился на улицу, чтобы взглянуть на Старика Месяца. Он уже поднялся высоко в Небо, и свет его стал густым и голубоватым. От огненной красноты не осталось и следа. Если в начале вечера только голова его была видна из-за горизонта, то сейчас он весь предстал предо мной и пред людьми Земли.

Возьми сколько хочешь лунного света!..

Мне всегда казалось, что чем дальше я стоял под Луной, тем больше лунного света уносил с собой в дом. Словно Луна насквозь просвечивала меня и лунный свет надолго оставался во мне.

Но с каждым вечером Старик Месяц все позже и позже стал выходить на свою небесную тропу. Я заскучал, ожидая его.

¹ Родовые – троюродные или четверюродные сестры и братья.

В начале полнолуния он появлялся чуть ли не с первыми сумерками. А теперь!.. До полуночи его надо ждать. А меня спать отпугивают: поздно, говорят родители, ложись, не то утро проспнешь. А кому утро хочется проспать? Я спрашиваю:

– Где небесный Старик?

– Задерживается, – ответил отец. – Он в разное время вверх поднимается.

– А где задерживается?

– Да у него свои дела, – говорит отец и переводит взгляд на маму.

Я к маме. Она конечно же знает, где задерживается Старик.

– В гостях он задерживается, – начинает она, не откладывая шитья, одно из многочисленных сказаний о Старике Месяце.

У Старика три сына, говорит мама. После полнолуния он начинает навещать своих сыновей. В первый вечер идет в дом старшего сына. Гостеприимная и расторопная старшая сноха встречает гостя, быстро готовит ему угощение, кормит и поит его. И тот, не задерживаясь попусту, поднимается на небесную тропу, чтобы осветить Землю и Небо.

Второй вечер Старик проводит в доме среднего сына. Средняя сноха особым радушием и гостеприимством не отличается. Она долго размышляет, что приготовить гостю, чем его угощать, чтобы свекра не обидеть, и себя в накладе не оставить. Сноха все прикидывает, все решает, а время идет. Старик задерживается и с опозданием выходит на свою тропу.

В следующий вечер Старик приходит в гости в дом младшего сына. Жадная сноха, недолго думая, довесила варить в котле голову хора, самца-оленья. Голова жилистая, твердая. Сколько времени-то варить ее надобно!.. Вот Старик и сидит, ждет, томится. На Земле уже ночь. Темно. Давно наступила пора на тропу выходить, тьму развеять, пути-дороги людские осветить. А он все котел ждет, все сидит в гостях. Ведь солидному гостю никак нельзя выходить из дому, не дождавшись стола. Обычай такой есть.

– Когда Старик начинает задерживаться за горизонтом, люди говорят: жадная сноха повесила варить для свекра жилистую голову хора, – закончила мама. – Не скоро он выйдет на небесную тропу...

Я представил, как Старик поглядывает на потолочное окно, покашливает, волнуется, что опаздывает со светом для людей на небесную тропу. А хозяева и усом не ведут. Ладно сноха, а сыно куда смотрит? Неужели не видит, что отец торопится по своим делам? Я все грезил чем-нибудь досадить жадной снохе Старика, которая задерживала лунный свет для людей.

Спросил у мамы:

– Почему сын Старика не торопит свою жену?

Мама взглянула на меня, молча сделала несколько стежков, затем поинтересовалась:

– Где это видано, чтобы мужчина вмешивался в женские дела?.. Мужское ли занятие?

Я подумал: вот отец стал бы указывать матери, что и как сварить для гостей, что и как сшить для зимы. Наверное, это выглядело бы просто смешно. Ведь каждый должен знать и делать прежде всего свое главное дело.

СТАРИК В ДОМЕ

Зимой вокруг Старика Месяца иногда появлялся светлый круг.

– Что это такое? – спрашивал я.

– Это Старик Месяц дом себе построил, – говорил отец.

– А зачем ему дом? – интересовался я.

– Это к морозу. Он заранее видит, какая будет погода, – пояснил отец.

Дом у Старика бывает большой, средний и маленький. По его величине отец обычно определял степень и продолжительность ожидаемых морозов. Если дом появлялся у растущего Месяца, который смотрит влево, или убывающего – когда смотрит вправо, то жди бурана.

Многое знает и видит небесный Старик.

Все верно, соображал я. От большого мороза спасает только хороший дом. Я от свирепого бурана где укрываться охотнику? Тоже в дом надо спешить. Какая охота в такую погоду. Ни в мороз, ни в буран нет охоты. Сиди, пережидай их. Делай что-нибудь другое. Промысловый инструмент чини, мастери ловушки и нарты.

Умный Старик Месяц – сам готовится к морозам и буранам и людей предупреждает. И я еще больше зауважал этого скромного небесного Старика.

СОБАКА СТАРИКА МЕСЯЦА

Весной Месяц на небе заметно бледнел. Наверное, мягкий свет белых ночей оттеснял его с весеннего небосклона. И казалось, все жители нашего селения забывали о нем до самой осени. Ведь летом по нему ничего не определяли и он, словно чувствуя свою ненужность, уходил на отдых.

Я думал, что за зиму он очень устал, и поэтому ему нужно отдохнуть. Он много работал зимой.

Зима...

Вечером никто не входил в дом, не взглянув па Старика Месяца.

Помню, как-то зимним вечером, вернувшись с улицы, отец сказал неторопливо:

– Месяц-Старик очень коротко привязал свою Собаку – большие холода видит!

Я тут же встрепенулся:

– У Месяца-Старика есть Собака?!

– Есть, есть, – сказала мама. – Разве я тебе не показывала?

– Как-нибудь покажу, – пообещал отец.

Но меня так заинтересовала эта таинственная Собака Старика, умеющая предсказывать погоду, что я тут же потребовал:

– Покажите сейчас!

И мама согласилась:

– Ладно, пойдем.

Я мигом оделся и вышел на улицу вслед за мамой.

Сочный свет Луны лежал на борových соснах вокруг дома, на неошкуренных жердях кораля, на рыбном сарае, на нартах и на хрустко звонком снегу.

Все вокруг было в лунном свете.

Мы с мамой, выйдя из дому, попали в поток лунного света и, потеряв земное обличие, стали вдруг лунными людьми. Удивительно и ни с чем не сравнимо это ощущение лунности! Словно я превращался в лунный свет, и этот поток лунного света уносил

меня сквозь настоящее и прошлое в неведомое будущее. И, оторвавшись от Луны, я уже самостоятельно витал в пространстве среди миров и был независим от времени, от Луны, от земной жизни... Быть может, это длилось всего одно мгновение. А может быть, очень долго...

Потом сквозь лунный свет я увидел звездное небо. И услышал голос матери:

– Найди самую ближайшую от Месяца звезду!

Я поднял голову и быстро разыскал эту звезду. Она молча смотрела на меня, и я чувствовал ее пристальный взгляд.

– Вот это и есть Собака Месяца – самая ближайшая к Старике звезда, – сказала мама.

Она немного помолчала, а затем пояснила: если Старик коротко привязывает свою Собаку – к большим холодам, далеко – к оттепели, на среднем расстоянии – к умеренной погоде, не очень холодно и не очень тепло.

– Вот так Собака Месяца! – воскликнул я в восхищении. – Сколько знает!..

– Да, много знает, – согласилась мама. – Высоко она, далеко ей видно кругом.

Я завороченно смотрел на удивительную звезду, неразлучную спутницу Луны. А имя-то какое придумали ей – Собака Месяца. Наверное, это имя дал ей древний охотник: ведь собака – самый верный и надежный друг человека в тайге.

Сколько же всяких тайн знает эта высокая звезда! Наверняка помнит всех моих предков, помнит всех моих родственников, живших когда-то на Небе и на Земле...

Наверное, на моем лице появилось сожаление, поэтому мама сказала, успокаивая меня:

– Вот подрастешь, выучишься и, как эта маленькая звездочка, узнаешь многие тайны Неба и Земли...

– Когда же я подрасту! – вздохнул я. – Так долго ждать...

Я начал разыскивать на небе знакомые созвездия. Вот Большая Медведица. Люди нашего рода называют его Ногастым Зверем, Лосем. Вот Малая Медведица. Вот Звезда вечерней зари. К этому времени я уже знал Звезду утренней зари. Она появляется на востоке перед утренней зарей. Первый признак нового дня. И вот прибавилась к ним звезда Собака Месяца...

Вернувшись с Неба на Землю, я подбежал к конуре нашего большого белого пса Харко и весело спросил:

– А ты можешь предсказать погоду, как Собака Месяца?

Харко быстро отряхнул свою снежно-белую шубу, звякнув цепочкой, подпрыгнул выше меня, пытаюсь лизнуть мое лицо, и, широко разевая пасть с крепкими клыками возле самого моего носа, сказал радостно и важно:

– Ав-вав, ав-вав!..

Наверное, я не понял его, потому что ответил так:

– Фу, какой глупый – ничего не знает!

На что пес не обиделся нисколько: подпрыгнув, радостно повторил:

– Ав-вав!.. Ав-вав!..

– Он не глупый, – сказала мне мама. – Он знает не меньше Собаки Месяца. Только вот говорить по-человечески не может. За ним нужно наблюдать, если хочешь что-то узнать. Он многое предчувствует, многое может предсказать...

И, словно уловив смысл этих слов, Харко солидным голосом подтвердил:

– Авв-ваав!.. Авв-ваав!..

Впоследствии я убедился в этом: собака охотника знает не меньше Собаки Месяца, а, может быть, и больше. Ведь собака охотника тут, на Земле, всегда рядом с хозяином – и погоду предскажет, и об опасности предупредит, и на помощь человеку придет.

Тут мама позвала меня, и мы вернулись в дом.

– Видел? – спросил отец.

– Видел! – так же кратко ответил я.

Засыпая, я думал о Старике Месяце и его Собаке. Добрый Старик, соображал я. Когда видит мороз, притягивает к себе Собаку, маленькую звездочку. Это чтобы ей теплее было возле хозяина. А в хорошую погоду отпускает ее подальше – пусть бегаёт и резвится на воле. В непогоду же прячет ее за спину – прикрывает от холодного ветра, от бурана. Добрый Старик. С такими мыслями я и заснул. Ночью мне приснился Старик Месяц. Он поднялся из-за горизонта, чтобы отдать свой щедрый свет людям Земли, чтобы осветить их пути-дороги, чтобы с помощью своей верной Собаки-спутницы показать им, что ожидает

их в грядущем. Он был удивительно похож на моего легендарного деда Романа – ведь тот был таким же добрым и щедрым к людям Земли...

Месяц-Старик что-то говорил мне и улыбался. Хорошо так улыбался. Правда, проснувшись утром, я не смог вспомнить его слова. Но улыбка его осталась во мне...

В те годы я узнал немало примет о явлениях природы, о Солнце и Месяце, о звездах и Земле. Позже, поселившись в городе, где над головой только тусклое небо и тусклые звезды, я многое растерял, многое позабыл. Но по сей день, по старой привычке, в зимний вечер я не вхожу в дом, не взглянув на доброго Старика Месяца и его верную спутницу...

Глава шестнадцатая

БОЛЬ ЗЕМЛИ

Когда мама случайно острием топора задевала Землю, она быстро ровняла порез, закрывала его щепками и хвоей. Я вспомнил, что так делал и отец, если его топор нечаянно соскальзывал с дерева на Землю. И я спросил маму, что все это значит.

– Это рана на теле Земли, – сказала мама. – Ни в коем случае нельзя оставлять раны. Больно Ей!..

– Больно? – удивился я. – Ты мне раньше этого не говорила.

– Если случайно поранишь Землю – Сидящую, нужно сразу же полечить рану, – продолжала мама. – Нужно выровнять порез, чтобы побыстрее заживал.

К этому времени я уже знал, что нельзя часто повторять священное имя Той, что держит нас: Земля!.. В особо значительных случаях, во время больших торжеств и в критическую минуту, когда обращаются к Ней за помощью, – вот тогда называют Ее этим именем – Земля. А в обиходе зовут Ее просто Сидящей. Наверное, от частого употребления имя изнашивается, тускнеет, соображал я. Вот детям поэтому и не разрешают попусту называть это имя. И сама Она, коль услышит, наверное, бывает недовольна этим...

Я вспомнил слова матери о том, что у всего живого есть душа. Есть душа у человека. Есть душа у дерева, у травиночки, у цветка. А все, у кого есть душа, чувствуют боль. И у Земли есть душа, наверное. И поэтому я снова спросил у матери:

– Ей от раны больно, да?

– Конечно, – ответила мама. – Помнишь, когда ты палец порезал, – тебе ж больно было?

– Помню. Я плакал.

– Вот и Сидящей так же больно, – грустно проговорила мама. – Только мы не чувствуем Ее боли.

Я живо представил себе Сидящую: сидит величественная женщина-красавица, а мы, люди, живем и бегаем по Ее плечам, и, по неразумности своей, иногда причиняем Ей боль, приносим страдания. Но Она – мне казалась одновременно и человеком и богиней – прощает нам многие обиды. Ведь Она такая же добрая и справедливая, как и моя мама, и понимает, что дети могут и пошалить. Недаром называют Ее Сидящая Мать. Стало быть, все люди Земли – Ее дети...

Я взглянул на свою маму. И мне пришла мысль: моя мама чувствует боль Сидящей Матери, боль Земли. Если и не до каждого человека доходит эта боль, то моя мама наверняка чувствует ее. Когда она острием топора задевала Землю, я видел на ее лице боль. И я спросил:

– Мама, а ты чувствуешь боль Земли?

Она внимательно посмотрела на меня, помолчала немного, затем сказала тихо, в раздумье:

– Может быть, иногда и чувствую...

Тогда мне еще неведома была чужая боль. Позже, раз мысля об этом, я понял, что корень всех корней жизни находится на Земле. Корень дерева, само дерево, плоды дерева, жучки-паучки, звери и птицы, человек... Все взаимосвязано, все держится на одном корне, и корень этот уходит в Землю. И поранивший Землю поранит и корень всех корней. И замахнувшийся на корень прежде всего замахивается на себя и на человечество. Но боль изначальную чувствуют очень немногие, а конечную – почти все. Ибо каждый замах потом обязательно откликнется... Я слушал маму. А затем в мою голову пришла другая мысль. И я спросил:

– Мама, а когда мы острой лопатой копаем Землю – разве не делаем Ей больно?

– Нет, лопатой мы не делаем Ей больно, – уверенно сказала мама. – Когда для нужного дела мы копаем или что-то строим, Земля только рада этому. За это Она не сердится на человека.

И я стал думать о разумном и неразумном в жизни Земли.

А мама стала мне пояснять, почему нельзя делать больно нашей Земле. Все люди-народы, все звери и птицы, деревья и травы на Земле живут. Всех Земля держит. Всем дает жизнь священная Земля... А если поранишь Ее и Она обидится насовсем – тогда где жить? Как жить?! Не станет Земли – не станет жизни... Вот поэтому и нужно беречь Землю. Вот поэтому и нужно думать о Ней ежедневно, помнить о Ней до последнего мгновения...

А вскоре пришло это последнее мгновение – и мама ушла в Землю...

После я с завистью смотрел на тех, у кого были мамы. И мне казалось, что в них не было того священного трепета, с каким нужно подходить к матери. Ибо они не знали, не представляли, каково это – остаться без матери в детстве. Расти без матери. Жить без матери...

При маме мир был одним, а без мамы стал совсем другим...

Мама ушла в Землю.

Мужчины нашего рода с черными лицами рубили Землю. Рубили оледеневшую январскую Землю топорами. Рубили Землю молча. Мы со старшей сестрой Лизой сидели у костра и смотрели на них без слез. Мы давно выплакали все слезы. Мы сидели одни. Младших сестер не взяли, ибо самой младшей было семь месяцев от роду, и ее кормили жвачкой. Она была в люльке, а обычай строго запрещал привозить сюда детей в люльке. Мы сидели у костра. А мужчины рубили Землю. И мы видели, как мерзлые комья падали на черный снег. Рубили ту Землю, которую так любила наша мама и в которую она уходила преждевременно. Ее не стало утром, после восхода солнца. По примете хантов, смерть после восхода – это преждевременная смерть.

Рубили Землю нашей мамы. И нам было больно. И во мне до сих пор жива эта боль...

Ханты-Мансийск – Пярна Талю, 1982–1983

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, о чем говорит название повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю»?
2. Назовите всех членов семьи главного героя повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю». Составьте их характеристику.
3. Что стало самой большой трагедией в жизни Романа, главного героя повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю»?
4. Можно ли утверждать, что в повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю» главной стала не семейная тема, а народная? Аргументируйте свой ответ.
5. Выдели элементы этнопедагогики, которые использует Е. Д. Айпин в повести «Я слушаю землю».
6. Как вы думаете, почему последнюю главу повести «Я слушаю землю» Е. Д. Айпин назвал «Боль земли»? Поясните свою точку зрения.
7. Какие фольклорные жанры встречаются в тексте повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю»?
8. Выпишите из текста повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю» народные приметы и запреты. Составьте их классификацию.
9. Выпишите из повести Е. Д. Айпина «Я слушаю землю» этнографизмы, составьте их классификацию.

БОЖЬЯ МАТЕРЬ В КРОВАВЫХ СНЕГАХ

Пролог

Остяки терпели Советскую власть ровно семнадцать лет.¹ Потом, когда совсем отчаялись, подняли восстание. Чашу терпения переполнила последняя капля: красные осквернили святая святых – остров посреди Божьего озера, что в верховье реки Казым, куда до этого не ступала нога чужеземца. И тогда остяки восстали, чтобы освободить свои земли от красных и жить по своим вековым традициям и обычаям, со своими небесными и земными богами и богинями.

На озере они возвели оборонительные сооружения и облили их водой. Получилась неприступная ледяная крепость. Восставшие разбили первый местный, наспех сформированный отряд красных. После этого красные срочно подняли войска в Екатеринбург, центре Уральской области, и двинули их на Север, на подавление, как отмечено в документах того времени, Казымского восстания. Ледяную крепость разбомбили с аэропланов – и она пала. Защитники, кто остался в живых и не попал в плен, частично стали отходить на восток по верховьям правых притоков Оби, частично отступали на север, к Надымской тундре, к арктическому побережью Ледовитого океана. Отряды красных преследовали участников восстания, захватывали их в плен или уничтожали, а заодно конфисковывали у местного населения огнестрельное и холодное оружие.

Красная власть была напугана тем, что восстание может перекинуться на вогульские земли Приуралья и левые берега Иртыша и Оби, на самоедские племена на побережье океана, охватить южные крестьянские районы Западной Сибири. Ведь подобное уже было в недавнем прошлом, в 1921 году, когда кулачко-эсэровский мятеж на юге быстро распространился на Обь-Иртышский север. Подавить его удалось с большим трудом. А сейчас повстанцы могли двинуться и на город Березово – они требовали освободить своих четырех ранее арестованных духовных вождей. Поэтому красные карательные отряды осо-

¹ Впервые возможность рассказать об этом событии появилась спустя 60 лет после подавления Казымского восстания (1933–1934 гг.)

бенно жестоко расправлялись с каждым восставшим селением, с каждым восставшим остяком, чтобы в зародыше подавить и уничтожить все очаги сопротивления и освободительного движения. Вскоре восставших рассеяли по всему огромному заснеженному пространству лесотундры и тайги от Оби до Енисея. Только вот с Сеней Малым на Водоразделе никак не могли расправиться. Не хотел он покидать свою священную землю. Он был шаманом, духовным вождем народа и неуловимым народным мстителем. За ним охотились, ему устраивали западни, но он в них не попадался, уходил. Пуля его не брала. И имя его стало обрастать легендами.

В конце концов красные успокоили себя тем, что один он много не навоюет и на Березов не пойдет.

Он отрекся от жизни в неволе.

Он хотел свободы.

Он хотел воли.

И его земные дни сгорали в огненной жажде по воле.

Впереди красных отрядов шла весть: «Красные лиственничными дубинами забивают восставших остяков». Сам собой напрашивался вывод, что живым в лапы красных лучше не попадаться.

И там, где прошли их войска, белые снега Севера стали красными.

Это были снега зимы 1933–1934 годов.

Глава I

Вожак красных, выставив руку с пистолетом, ворвался в чум и закричал: «Стой!» И бешено крутанул косящим глазом по лежанкам. Левая половина была пуста, а на правой, качая-унимая ревущего малыша, сидела женщина, Матьер Детей. За ее спиной скрылось испуганное лицо девочки, залитое слезами, а за ними, присев на корточки, мальчик десяти-одиннадцати лет стрелой нацелился на дверь.

Главарь, припустив руку с пистолетом, взревел:

– Ма-ал-чать!

Плач оборвался. Даже ревущий малыш на мгновение смолк. Только за меховой стеной слышался гомон солдат, заполнивших

селение-становье. В эту паузу главарь, ткнув пистолетом в направлении мальчика, скомандовал:

– Давай сюда!

Мальчик не шелохнулся. А Матерь Детей вздрогнула. Она смерила взглядом с ног до обмороженного лица ненавистного захватчика и, подавшись в сторону сына, как бы пытаясь прикрыть свой выводок всем телом, жестко отчеканила:

– Он за ружье не брался!

– Знаю ваших: не брался – так возьмется! – отрезал главарь.

– Говорю: не стрелял – видит огонь! – и она кивнула в сторону очага в центре чума, где догорал костер.

– Не стрелял – так будет стрелять! – огрызнулся главарь.

– Он мал еще!

– Так вырастет... бандитом.

Она поклялась всемогущим и всевидящим огнем, а пришелец не поверил. Значит, настал ее, Матери Детей, черед. На этой войне у остяков существовал свой порядок вступления в бой. Сначала воюют мужчины, а когда погибают, вступают женщины, последними дети, те из них, кто уже может держать в руках ружье. Сейчас стрельба на улице прекратилась. Значит, все мужчины погибли. А соседку-ненку убили еще незадолго до окончания боя на тропе между чумом и стоянкой нарт. Стало быть, пробил ее час. Достоинно умереть – тоже немаловажное дело... Она сберегла детей от шальных и прицельных пуль, удержала в доме сына. Опершись на левую руку, она стала медленно подниматься, одновременно прижимая к себе малыша правой. Поднявшись, перехватила малыша левой рукой. Выпрямилась, высоко вскинула голову. Платок сполз на спину, открыв две толстые черные косы. меховая ягушка, стянутая поясом, держалась только на левом плече, правая грудь, плечо и рука были свободными. Так одеваются, когда грудью кормят ребенка. Спихнувшись, она застегнула верхнюю пуговицу на воротах платья и приняла удобную позу. Малыша опустила на живот, к поясу, а корпус и голову отвела назад, опять же для того, чтобы не упасть на самого младшенького ребенка. Затем шагнула вперед – так, в случае падения навзничь, не повредит детям за спиной. И хотя ростом она была так мала, что не доставала даже до плеча долговязого главаря, но широко расставленными локтями,

расправленными плечами, вздыбленными волосами, меховой ягушкой – всем своим телом закрыла детей в родном гнездышке. После ее гибели, в этом она была уверена, Верховный Отец распорядится их судьбой.

И только теперь, неосознанно приняв удобное и самое выгодное положение, Матерь Детей вперила яростно горящий взор в ненавистные оплывшие зенки главаря и низко-утробно закричала:

– Сначала убей меня!

Главарь от неожиданного напора отшатнулся, не выдержав жгучего огня материнских глаз, невольно мотнул головой вправо-влево. И тут увидел другую женщину с ребенком. Эта, прижав малыша к правому плечу и призывно подняв левую руку к груди, излучала светлым ликом ровный свет и кротко и добро смотрела прямо на него. Он снова глянул на женщину с зло-яростными глазами. Его налитые кровью глазки заметались от кротко-доброй к зло-яростной, от зло-яростной к кротко-доброй. Он не сразу сообразил, что перед ним икона Божьей Матери. Она висела в переднем углу, против входа, на тонкой жердинке чума. Войдя, он обшарил взглядом только низ жилища, а верх упустил. А тут, оказывается, как он выразился, «опиум народа» притаился. И сейчас, повернувшись к яростной Матери Детей и ткнув пистолетом в сторону иконы, спросил:

– А эта с... зачем здесь?!

Он со смаком выдал бранное слово.

Но Матерь Детей не услышала или не поняла его вопроса. Она, уже подготовившись, ждала своего конца. Но это последнее мгновение оттягивалось. И ожидание становилось мучительным. И она закричала в ярости:

– Говорю: убей меня!..

Главарь обалдело завертел башкой. Ему показалось, что заговорила Божья Матерь: звук по конусу чума поднимался вверх, к дымовому отверстию. И он, дернувшись всем телом, разрядил пистолет в икону, повернулся и, путаясь в полости-двери, выскочил из чума.

На выстрелы к чуму бросились солдаты. Главарь-командир рукояткой пистолета огрел красноармейца, подвернувшегося ему под

руку: «Куда прешь!» Тут подскочил к нему костляво-тощий, с заметно опущенным левым плечом помощник и доложил:

– Двое убитых, одна – баба. Один раненый. Один ушел... Из-под гранаты. В чуме одна женщина, один мальчик, двое детей. Три собаки, одна убитая. Отличился салымский охотник... Мни.. Чнм.. Собачья кличка, язык не поворачивается...

Командир прервал доклад. Его подвели к раненому хозяину чума. Два красноармейца вытянули его за ноги из снежного окопчика под нартами, бросили у ног главаря. Малица задралась до пояса, и было видно, как сочится кровь из перебитых ног. Раненого перевернули на спину. И командир вздрогнул: «Золтан?» На него смотрели жгуче-черные глаза. Он вспомнил того Золтана, мадьярского интернационалиста, с которым ходил на Колчака и по первому льду форсировали Иртыш под Омском. И лежать бы сейчас его косточкам на дне Иртыша, если бы не Золтан. Тот подсунил ему жердину и уже почти окоченевшего выволол на спасительный лед, а потом откачал и вместе с санитаром протер спиртом...

Он невольно стал всматриваться в лицо раненого и отмечать черты сходства: разрез глаз совершенно одинаковый – не азиатский и не европейский, а какой-то средний, остяко-мадьярский; выдающиеся надбровные дуги; приподнятые к вискам скулы; чуть вздернутый на кончике массивный нос; черные кучерявые волосы.

Он слышал, что остяки – кровные родственники мадьяр, но не думал, что они настолько близки. Когда же эти народы разошлись по разным землям? Сколько веков-то прошло! А, подика, находятся почти одинаковые типы. Вот, один был другом, второй – враг...

Тут раненый застонал, открыл глаза и, увидев обмороженное лицо главаря в островерхом шлеме, что-то попытался сказать, зашевелил губами.

– Что говорит? – резко спросил главарь. Салымец наклонился к раненому, послушал, потом выпрямился и сказал:

– Он – аганский.

– Ну и что?

– На другом диалекте говорит.

– Ну и что?

– Не понимаю.

– Не понимаешь?! – грозно сдвинул брови командир-главарь.

Салымец снова наклонился к раненому, постоял, прислушиваясь к словам, потом, резко выпрямившись, сказал командиру:

– Ругается, кажется.

– Кого ругает?

– Вас и Советскую власть. Всех красных ругает.

Между тем взор раненого помутился, черты лица, словно выточенные из древнего кедра, стали еще резче и суровее. Он застонал и потерял сознание. А главарь, вспомнив мадьярского Золтана на омской переправе, машинально спросил помощника:

– Почему не перевязали?

– Он же пленный. Команды не было.

– Ах, да!..

Как правило, раненых в плен не брали. Если бы их оставляли в живых, то создали бы для красного войска массу проблем. И так не хватало транспорта, каюров, конвоиров, обученных ездовых оленей, помещений и тому прочее. Словом, некогда и некому было с ними возиться.

Командир-главарь медленным взором обвел селение. Световой день подходил к концу. Много времени тут потратили. Эткими темпами и десяти зим не хватит, чтобы вернуть остяков на тропу Советской власти. Земли-то вон какие – концов-краев не видно. И все по бездорожью, и все на оленьих упряжках, и все без нормальной пищи, без нормального жилья и отдыха. Тут скоро и сам начнешь клясть Советы и эту собачью жизнь...

Помощник тронул его за рукав:

– Что будем с ним делать?

Главарь помолчал, потом так же молча подал знак: кончайте. И, отвернувшись, постоял секунду, затем медленно пошел по становой, теперь уже оглядывая все по-свойски, по-хозяйски. Но спиной, по обрывкам фраз, улавливал все, что происходило у стоянки нарт. Помощник, как уж повелось, при командире показал свое усердие: подозвал красноармейца, снял с его плеча винтовку и привычным движением, почти без размаха, опустил приклад на голову пленного хозяина селения. Тот дернулся от удара и затих на снегу.

Командиру подвалил салымец и забурчал в ухо:

– А селение-то не мятежное...
 – Ну?
 – Тут беглый был, Моту его зовут, нумтовский самоед. Так это он мирных остяков втянул в войну.
 – Мирные не стреляют.
 – Он опытный, гад. Хорошо воевать научился, окопы делает...
 – Это ты с тылу зашел, Иуда?
 – Ну, я.
 – Так пошто беглого не снял?
 – Я же сказал: хорошо маскировку делает. Перепутал с хозяином, вот и упустил.
 – Догоняй.
 – Гранату вслед метнул. Может, поранил. Сдохнет.
 – Чего еще?
 – Так все ж с тылу их взяли. В лоб ни за что бы не прорвались. И гранату метнул...
 – Ладно, давай.

Командир достал фляжку, медленно отвинтил крышку и выпустил несколько бульков в подставленную салымцем кружку. Тот заметно повеселел. А главарь пристально посмотрел на него, проводника и разведчика, и угрюмо спросил:
 – Знаешь, Иуда, если после войны тебя свои не прикончат, то, может статься, я тебя пристрелю... За твою продажность!
 – Не бойсь, командир, сам застрелюсь! – почти весело пообещал проводник.
 – Во-о гад!..

Командир только головой покачал. С гражданской войны он не жаловал перебежчиков. Знал, что такие рано или поздно все равно продадут. Не любил белых, которые пошли против белых. Не мог терпеть красных, что переметнулись к белым. Он понимал, почему одни русские пошли на других русских: одним пообещали землю, заводы и фабрики – словом, пообещали райскую жизнь. За лишний кусок один готов перегрызть горло другому. Тут понятно, тут есть за что воевать. А этому остяку что пообещали власти за предательство? Каждый вечер по кружке спирта? За каждую отнятую жизнь глоток водки? Бессмыслица какая-то получается. Несуразица. Впрочем, всякая война бессмысленна, а эта особенно. Может, и прав салымец Иуда, про-

водник, разведчик и переводчик. Чем быстрее закончим – тем лучше... Иуда. Ну и имя ему досталось! Под стать его натуре. А получил он его просто. Остяки все крещеные. При крещении поп, может спьяну, почти всех на этой реке окрестил Иудами. Имя прижилось здесь, почитай, с восемнадцатого века. Каждой реке досталось свое имя. Например, на Югане много Лисаков, на Агане – Еремеи да Романы, на Тромагане – Иваны да Константины...

Пройдоха, конечно, порядочный этот Иуда-салымец, но без него никуда. Остальные переводчики и каюры и вовсе не внушали доверия. А особо неблагонадежным спутали ноги, словно коням на лугу, чтобы передвигались только маленькими шажками. Мало ли что? А так не убегут.

Командиру эта война с остяками с самого начала была не по нутру. Остяки считают войну праведной. За свою землю воюют. Каждым становьем и селением поднимаются. Поди разберись, где передовая, где фронт, а где тыл. Догадайся, из-за какой белой кочки тебе пуля прилетит. Куда надо продвигаться – туда дорог нет, а куда не нужно – там зимник. Да и с женщинами и детьми воевать – не дело солдата. Может, этим привыкли заниматься огэпушники, обученные такому делу. Но их заглавный, Елизаров, сидит в Березово и не суется в тундро-таежные дебри, ждет, когда красное войско подавит восстание, сдаст захваченное оружие и боеприпасы и доставит в Остяко-Вогульск взятых в плен мятежников для справедливейшего рабочекрестьянского суда над ними.

В этом заснеженном огромном пространстве сам себе хозяин – что хошь, то и твори. Только будь победителем. А твои враги – это мятежники, восставшие, бандиты. И в военное время разговор с ними короткий. Одно дело, если женщин и старших детей взяли с оружием в руках. А если их захватили без оружия? Как быть? По приказу их отпускать нельзя, но и сотни верст держать их в своем обозе тоже накладно. Вот и ломай голову, командир. И кому понадобились остяцкие снега и льды?! Не трогали бы их, сидели бы они в своих дебрях еще сто лет, никому бы не мешали. Ан нет. Советам нужны их земли.

Командир соображал, ходил по становью. Вспомнил, как с товарищем Тухачевским подавлял крестьянское восстание на

Тамбовщине, но там была совсем другая ситуация. Гражданская на память пришла. Там все проще было. Как выставишь пулеметы, подтянешь артиллерию, на всякий случай на запасах замаскируешь бронепоезд – тогда сам Верховный правитель Сибири не страшен. А не топустишь по прииртышским степям конницу на конницу. Красную на белую. Вот где простор, вот где может разгуляться русская душа. Только башку свою прикрывай. Можешь увернуться влево, можешь вправо. Можешь, если кишка тонка, драпануть в обратную сторону. А тут что? Как встанешь по пояс в снегу – ни вперед, ни назад. Тут тебя всякий недоносок может клонуть и отправить к прабабушке. И эти аэропланы гудят над ухом, когда не надо. А как понадобятся – ни одного не сыщешь. То погоды для них нет, то ветер не в ту сторону сносит. Чертовы сынки, летуны! А то придумают: горючее закончилось, бомбы, вернее связки гранат, израсходовали, то на поломки ссылаются. Валяются в теплых избах, бока греют, от пуза горячую пищу лопают, с молодками балуются. Будто товарищей летунов не восставших остяков усмирять пригнали, а на курортный отдых. Там, на высоте, и остяцкая пуля не страшна. Но каждому свое: летуну – летуново, пехотке – пехотково. Теперь ты пехотка. Будь ты хоть трижды прославленным кавалеристом гражданской.

Не вполне был готов главарь к такой войне. В ночь-заполночь сорвали с Екатеринбургских казарм, погрузили в теплушки, потом пересадили на конный поезд, на сани, а теперь вот – на олених нарты. И – вперед на подавление остяцкого восстания! Никто, конечно, не подумал ни о теплой одежде, ни о специальном снаряжении. Нет даже маскхалатов и лыж. Крутись, командир, выполняй приказ! Вписывай славную страницу в летопись доблестной Красной Армии! А тут такую страницу можно вписать, что потом Красная Армия будет отмываться до конца своих дней. Красноармейцы стали злы как волки – от холода, от непривычной пищи, от постоев в снежных ямах. Да просто от страха холодной и лютой смерти. Ни фронтов тебе, ни тылов. Не знаешь, с какой стороны нападет враг. Но одно правило войны главарь усвоил хорошо: если хочешь выжить, крепко держи в кулаке свое войско. Дашь слабину – пропадешь. Война не знает пощады. Солдат живет одним днем: сегодня

жив, завтра – мертв. Поэтому подавай все сегодня: выпить, пожрать да бабу. Если селение берется с боем – каждому дозволяется все это добывать самому. И поэтому сейчас главарь сквозь пальцы смотрел на красноармейцев в островерхих шлемах, шнырявших по становью в поисках добычи. Только к женщине не приставали. Ибо было негласное правило: если женщина в единственном числе, то без ведома командира ее не трогать.

Утром, перед штурмом этого селения, глава войска все-таки дал промашку, которая оставила в нем неприятный осадок. Когда командирская нарта стала выезжать на озерко перед становьем, навстречу загрели первые выстрелы остяков и отряд без команды нырнул в спасительные сугробы. А командирский каюр Иван Сопочин остановил жоака и, не получив никакой команды, застыл на месте. Главарь-командир невольно съезжился и притаился на нарте за его спиной. Пули свистели слева и справа.

Командир выглядывал из-за спины каюра, оценивал обстановку, уточняя позиции сторон. Больно не хотелось ему нырять в сугроб. Из сугроба ничего не увидишь – много не накомандуешь. Да к тому же из сугроба надо будет регулярно высовываться, а кому хочется подставлять голову под пулю. Противник прицельно бил по серым красноармейским шлемам и не трогал безоружного каюра первой нарты. Тут лучшей позиции для командира не сыскать.

Сначала ударили по остякам одиночными выстрелами, потом залпами. После опять перешли на одиночные. А противник продолжал отвечать на стрельбу. Он увидел, как застрелили женщину в белой ягушке.

Она носилась между чумом и нартами, откуда велась стрельба. Куда летели красноармейские пули – неведомо было командиру. Что же, ооченевшие в сугробах бойцы больше ни на что не способны? «Развернуть упряжки в обратную сторону – тоже большая морока», – соображал командир. И тут он вспомнил про салымца Иуду...

Противника в лоб не взять. Это командир понял после полдневной перестрелки. Между отрядом и становьем небольшое чистое озерко, простреливаемое насквозь. Подъезд один – узкий, плохо протоптанный олений зимник. На кочкастом взгорке,

занесенном сугробами и поросшем редкими сосенками, и застрелял отряд красных. В объезд не проедешь на оленях – снег по пояс. И пешком не пройдешь. И лыж широких для такого снега тоже нет. А коль по одному начнешь прорываться на мелкий снег озера – так перестреляют всех поочередно. По прикидкам командира со станова было три или четыре ствола. Для атаки в чистом поле – это сущий пустяк. Но в этих чертовых снегах они могут укокошить весь отряд. Надо было искать выход.

И тогда главарь приказал салымцу зайти в тыл противника на подволоках¹ и оттуда ударить по осяжкам. Салымец быстро собрался и ушел. Пока тот обходил селение по сосновым гривам и лощинкам, отряд вел интенсивную перестрелку, отвлекая внимание защитников.

Командир, покрикивая и матюгаясь на бойцов, так и просидел весь бой за спиной своего каюра. И только когда послышались выстрелы салымца с тыла противника, он поднялся, взмахнул пистолетом и заорал: «Вперед, гады!»

И упряжки, выехав одна за другой на мелкоснежье озера, галопом понеслись к селению. Красноармейцы вовсю палили поверх каюрских голов. Рванула граната. Вторая. Потихоньку стихала стрельба.

Когда подлетели к чуму, командир первым соскочил с нарты и рванулся внутрь. Он не должен был этого делать: его могла встретить прицельная пуля с близкого расстояния и войско осталось бы без головы, но его подтолкнула к этому, как ему показалось, презрительная усмешка каюра Ивана Сопочина, на мгновение промелькнувшая перед ним на развороте – эх, ты, вояка-заспинник... Возможно, и бойцы втихаря подсмеивались над ним, просто он не видел их лиц. Поэтому он ворвался в чум с удвоенной жадной отомстить тому, кто заставил его так позорно прикрываться чужой спиной. Такого с ним, боевым командиром, никогда прежде не случалось. А тут перед какими-то осяжками сробел? В чуме оказались лишь женщина и дети...

¹ Подволоки – широкие охотничьи лыжи, подбитые, подволоченные мехом. Обычно для этого используются конские и выдровые шкуры, а также камус с лосиных ног.

Сейчас, обойдя взятое селение и поостыв на морозе, он зычно крикнул:

– Мингал!

Подскочил помощник, костлявый и нескладный, но ушлый малый:

– Я, товарищ командир!

– Что имеем?

Настало время решать судьбу непокорного селения. Как это уже повелось, помощник по замусоленной бумажке начал писклявым голосом выкрикивать-вопросать:

– Стадо?

– Угнать! – кратко решил командир.

– Нарты?

– Рубить!

– Провиант?

Командир чуть помедлил, потом выдал:

– Сожрать!

Мигал чуть расширил глубоко сидящие глаза: это было что-то новое. Обычно следовала команда «реквизировать» или «уничтожить». Не день и не два тут нужно сидеть, чтобы все сожрать. Что это с командиром? Что-то напугал после атаки?

– Собаки?

Командир махнул рукой. Это значило: на ваше усмотрение.

– Чум?

Командир сдвинул брови, ничего не сказал. Обычного ответа «спалить» не последовало. Выдержав нужную паузу, пошуршав бумажкой, помощник продолжил перечислять:

– Мальчик?

Молчок.

Обычно – «под стражу».

– Женщина?

Опять молчок.

– М-малявки?

Молчок.

Командир увидел, как от удивления мышинные, с пакостливой пленкой глаза помощника почти вылезли из орбит. Подумал: будет ему что доложить огэпзушнику Елизарову в Березово.

Пройдошный, но рьяно тянет свою лямку. А до отрядного еще не дорос, не дадут, рановато. Только зря старается.

Между тем Мингал, заикаясь, жалобно выдал:

– Та-ак ка-ак?..

– Без нас подохнут!

Глава войска, повернувшись, направился к командирской нарте, возле которой с вожжей в руке поджидал его каюр Иван Сопочин¹ с непроницаемым ликом языческого бога.

Визгливо, по-собачьи, залаял Мингал. Он был недоволен действиями командира. Нужны заложники, свидетели, наконец, акты устрашения. А тут просто так приказано оставить селение. С командиром что-то происходит, но что – он не понимал.

Засуетились, забегали красноармейцы и каюры, исполняя команды помощника командира. Постепенно стали стихать голоса и хруст снега. В разгромленном селении делать было больше нечего. Красное войско укатило продолжать войну с непокорными остяками.

Глава 2

Красные черным огнем пронесли по становью и сожгли сердце женщины. Все перетряхнули и в чуме. Перевернули грузовые нарты, забрали все ружья и патроны, подвернувшиеся под руку топоры и ножи. Изрубили ездовые, грузовые нарты и нарты-лари. Забрав стадо оленей, умчались прочь.

И осталась Мать Детей с сожженным сердцем.

Чум стонал.

Плакал.

Ревел.

На макодан² давило студеное небо.

¹ Почти четверть века спустя Иван Сопочин якобы тронется умом и уйдет из дома в верховье Тромагана. Люди найдут его брошенную упряжку. По мелко-снежно озеру, словно разрывааемый внутренним огнем, он побежит прямо на север, к полюсу холода. И, как бы пытаясь взлететь, его шаги все будут увеличиваться и увеличиваться. И когда длина его шага достигнет длины хорез, люди в ошеломлении молча встанут, молча постоят и молча повернут назад. Так никто и никогда не сумеет объяснить ни его таинственного состояния, ни его таинственного исчезновения.

² Макодан – дымовое отверстие чума.

Вздрагивали продрогшие сосны.

Скрылись упряжки красных, исчезли, промелькнув среди сенок, за озерком. Мать Детей склонилась над мужем. По груди меховой ягушки скатились на красный снег возле мужниной головы обледеневшие слезы. Последние капли мутными шариками повисли на ворсинках ягушки. Она молча застыла над мужем. Его безжизненные глаза смотрели прямо на небо, вверх, словно ждали оттуда помощи. Левый глаз был залит кровью. Но, казалось, даже через эту кровавую пелену он пытался узреть живую небесную синь. Женщина невольно вздрогнула: плохая примета, что у него не закрылись глаза. Потом она сняла свой платок и накрыла им голову мужа, вернее, то, что осталось после удара прикладом. Пропустив противоположные углы вокруг шеи, завязала под подбородком. Его уже нет в этом мире. Как только человек уходит из жизни, ему сразу же закрывают лицо. Теперь он смотрит в потусторонний мир, куда отправился. А здесь, в Среднем Мире, он уже ничего не видит, поэтому с ним нужно говорить. Человеческую речь он слышит. И она с трудом заговорила с ним, Отцом Детей:

– Ну... Вот... Ты нас оставил... Тут она не выдержала и зарыдала без слез. Ее всю трясло. Она, закрыв лицо руками, подавляя в себя яростный крик, лишь глухо всхлипывала. Потом, немного успокоившись, отняв руки от лица, снова заговорила с мужем:

– Красная нелюдь укатила... Младшие дети все неведимы... А про старшего ты знаешь. Красные еще при твоей жизни прикончили его...

Она опять всхлипнула глухо, провела уголком платка по сухим покрасневшим глазам. Помолчала, затем опять заговорила:

– Ты эту ночь побудь здесь... Завтра я что-нибудь сделаю. Пойду к нашим детям. Огонь в доме будем поддерживать... Ну... Вот... Я пошла. Завтра приду...

Но Мать Детей направилась не домой, а к старшему сыну, который был убит в самом начале боя. Она сняла свой последний платок и им по-покойнически обмотала голову старшего. Потом присела возле него и, как и мужу, кратко рассказала обо всем, что случилось после взятия селения красными. Говорила она заикаясь, короткими фразами, с долгими паузами:

– Твоих братьев-сестер беда стороной обошла... А тебя? Разве для этого я тебя растила?! Милый мой ребенок! За что же нас Бог наказал?!

Ее руки заметались по груди в поисках уголков платка, не найдя их, она провела рукавом по сухим глазам. Совладав с собою, она сказала старшему, которого уже нельзя называть земным именем:

– Ты будь на этом месте... Завтра что-нибудь придумаю. Ну... я пошла домой, к твоим братьям-сестрам.

По пути к дому она завернула к погибшей девушке-ненке, лежавшей лицом вниз на красном снегу. Ее убили не сразу. Когда появились красные, ее муж, схватив винтовку, бросился в свой окопчик под грузовыми нартами и в спешке забыл в чуме патроны. А патронов у него было много. Он уже давно, по его словам, воевал с красными, поэтому при каждом удобном случае запасался боеприпасами. Вот молодая жена и стала носить ему патроны. Сначала красные солдаты, видно, не могли понять, почему она бежит между чумом и нартами. Потом они что-то сообразили и, хотя у нее в руках не было оружия, взяли на прицел.

Мать Детей приподняла девушку за хрупкое плечо и по хантыйскому обычаю замотала ей лицо и голову ее собственным платком. Сказала и о том, что больше всего беспокоило девушку-ненку:

– Твой от красных ушел. Они не догнали его. Твое место пока здесь... Придет день – что-то стану делать... Так не оставляю...

Мать Детей направилась к дому по разоренному становью, залитому человеческой кровью. Все ее тело стало сгустком одной большой боли, и теперь она не чувствовала, где боль, а где не боль. Вместо сердца ощущала черную пустоту. Но две мысли в ее голове засели крепко: детей спасти и огонь сохранить. В доме дети, которые остались без отца и брата. Им нужен огонь, нужно тепло. С охапкой дров она вернулась в чум и первым делом оживила гаснущий огонь.

Чум охрип от плача и стона.

Кровавый день подходил к концу. Дети хотели пить, есть, спать. И женщина заметалась по дому, взялась за привычные домашние дела, чтобы продлить дыхание детей, поддержать их жизнь.

Мать Детей, как предрекал главарь красного войска, не хотела «подыхать». И с этого вечера, кинувшись к детям, она крепко уцепилась за тонкую и хрупкую нить жизни.

А дел набежало очень много. Она достала из коробки для рукоделия толстые нитки и отрезала от них небольшой кусок. И каждому дитя перевязала щиколотку правой ноги двумя траурными нитками. На отца и брата. Потом то же самое проделала и со своей лодыжкой. Нитки будут на ноге до тех пор, пока сами не перетрутся и не отвалятся. А остаток нитки бросила в огонь. Так было принято делать тогда, когда уходит близкий родственник.

Чтобы выжить, нужно оставаться человеком, а для этого необходимо соблюсти все обычаи предков перед живыми и ушедшими в Нижний Мир. Не смыкая глаз, при живом огне в доме надо «пять ночей покойников отсидеть», пока их души не покинут мир людей. В эти пять дней выносить из дома ничего нельзя, особенно сор. Когда людей в доме много, не спят по очереди. А ей как быть?! Огонь-то, ладно, продержится – дрова есть, но вот отсидеть пять ночей одному взрослому будет не так просто...

Накормив и уложив спать детей, женщина принялась за дело. От прямослойного полена без сучков отщепнула четыре дощечки и на каждой начертила поперек по пять черных полосок углем. Два для мужа, отца детей, и два для старшего сына. Так она обозначила пять ночей-дней, которые проведет с ними на этой земле, в своем доме. Потом она сложила руки на коленях, посидела немного, подумала и сделала еще две дощечки и вывела на них по четыре траурные полоски на каждой. Это для погибшей девушки-ненки. Правда, у ненцев свои обычаи, но разве оставишь неприкаянную душу молодой ненки?

Закончив эту работу, женщина вышла на улицу и воткнула дощечки в снег: три слева и три справа от дверей. Потом в разгромленном становье разыскала два топора и всадила рукоятками в отвердевший наст лезвиями в сторону чума с двух сторон. Теперь всякий приезжий увидит: в доме три покойника – одна женщина и двое мужчин. А топоры с острыми лезвиями, как непреклонные стражи, не впустят в дом злых духов.

Женщина вернулась в чум и за неимением камня отбила три кусочка от бруска-точила. Затем эти камешки подложила каждому ушедшему под лапник-настил туда, где лежали их постели.

Кажется, пока сделано все, что требуется для проводов уходящих в Нижний Мир. Во всяком случае, на сегодня.

Мать Детей вернулась на свое место, поправила одежду на младших спящих и сказала сыну, которого отстояла у главаря красных:

– Роман, если хочешь, ложись. Поспи немного... Я посижу.

Мальчик ничего не сказал. Но и ложиться не стал.

Тогда Мать Детей, как бы сама с собой, повела тихую беседу:

– Когда отсиживаешь плохие ночи-дни, надо руками что-то делать, иначе душа перестанет лежать к делу. Мужчины обычно мастерят поделки из дерева или кости, плетут арканы, чинят упряжь, делают игрушки. Женщины обычно шьют. Только стирать и скоблить нельзя. Выносить из дома ничего нельзя. На Сидящую¹ голыми пятками ступать нельзя... Нам бы хоть до полуночи высидеть. Там ночь повернется боком к утренней половине. Солнышко к нам на помощь придет. Так и переживем-пересидим первую ночь. А там подъедет старшенькая сестрица... У нас два оленя и нарта будут... А ушедших так оставлять нельзя. Без древнего обряда и поминок. Иначе не будет покоя... им – на том свете и нам – на этом свете. Поэтому сделаем все, что сможем...

Женщина говорила тихо, как бы самой себе, но все слова предназначались для Романа. Мальчик понимал все, что хотела сказать ему Мать. Понимал все с полуслова. Понимал, что он теперь старший в доме. И на его плечи ложится нелегкая ноша, которую нужно нести с достоинством, как подобает настоящему мужчине. И когда смолкла Мать, выдержав нужную паузу, он вставил свое слово:

– Я не буду спать, мама...

– Хорошо, Роман – откликнулась Мать.

– Я потерплю без сна.

– Конечно, вдвоем ночь легче коротать...

– Сделаю игрушки братику и сестренке, – сказал сын.

И он не спеша, как это делал отец, осмотрел несколько сосновых поленьев. Потом выбрал из них одно прямослойное и

¹ Сидящая, или Сидящая Мать – так иносказательно осязки называют Землю.

взялся за нож. Он начал выстругивать фигурки оленей, а затем смастерил маленький хорей и санки на тесовых полозьях. Вместо упряжных ремней приспособил нитки – и аргиш готов в путь в сказочную страну. Утром проснутся братик с сестренкой – обрадуются, на какое-то время отвлекутся на новые игрушки.

Между тем Мать Детей, чтобы не молчать, все потихоньку разговаривала, занимаясь домашними делами. Ее руки ни минуты не знали покоя: шили одежду, протирали посуду, кипятили чай, подкладывали дрова в огонь очага. Но, главное, она готовила в дальний путь Отца Детей и старшего сына. Они должны взять с собой все, без чего не обойтись «в обратной жизни». Если что-то позабудешь положить, то ушедший там долго будет маяться в поисках недостающей вещи. А работы много. Одежду уходящих нужно продырявить. От деревянных предметов откалывается шепка, от стеклянных и фарфоровых отбивается осколок, от металлических стачивается кусочек или делается выемка. Что в этой жизни является целым и невредимым, там оказывается ущербным, неполноценным. Поэтому и надо проследить, чтобы все вещи людей, оставляющих землю, были в порядке для жизни в Нижнем Мире.

Собрав все необходимые вещи Отца Детей и старшего сына, что находились в чуме, Мать Детей вышла на улицу. Вернувшись через некоторое время, сказала сыну:

– Ногастый Зверь¹ вверх пришел. Мы к утру идем... – Помолчав, добавила: – Считай, отсидели первую ночь...

Потом она обратилась к сыну:

– Ложись, Роман, немного поспи. Завтра нужно сделать много дел. А за огнем я уж послежу, чтобы не потух...

Роман уже давно клевал носом, и было видно, что он держится из последних сил. Когда голова его, клонясь все ниже, падала на грудь, он вздрагивал и поднимал ее вверх. Теперь, услышав слова Матери, выждал некоторое время и затем, как сидел, не вставая, выпрямил ноги и спину и медленно опустил голову на подушку. И тут же заснул.

¹ Ногастым Зверем или Лосем осязки называют созвездие Большой Медведицы.

А Матерь Детей устало опустилась на лежанку и положила натруженные руки на колени. И только теперь почувствовала, как ноет все тело, а сердце разрывается от боли. Опустив голову на грудь, сидя, она впала в полудрему, и даже в полудреме боль не отпускала ее сердце. И лишь дети отвлекали ее на время от боли. Дети спали беспокойно. Они поочередно то вздрагивали во сне, то вскрикивали, то всплакивали и вскакивали. Она успокаивала их, усыпляла, поправляя сползающую одежду и меховые одеяла. Потом поднималась, подкладывала дрова в гаснущий очаг и снова садилась на свое место.

И завертелось колесо времени. В кошмарной полудреме пронеслись в ее сознании события последних лет, месяцев, дней и часов. И только дети, ее птенчики, живыми голосами вырывали ее из жуткого кошмара и возвращали к реальной жизни.

Взошла на востоке Звезда Утренней Зари.

Поднялась заря.

Всплыло солнце.

Так закончилась первая траурная ночь.

Главное, не погас огонь в очаге...

И женщина прикорнула на своей постели возле детей. На какое-то время она полностью отрешилась от всего земного, словно провалилась в черную пропасть. Но проснулся младший Савва – и разбудил ее. Она с трудом поднялась и накормила детей, сына и дочку. А Роман, просидевший до полуночи, все спал. Но когда солнце поднялось высоко и подвинулось к полудню, Мать все-таки разбудила его и, покормив, отправила за старшенькой сестрицей.

Дело в том, что накануне налета красных над становьем кружила крылатая машина, которую русские называют аэропланом. Отец Детей сразу же заподозрил неладное – значит, где-то близко находится красное войско. И на упряжке из двух быков отослал старшую дочку Анну в осеннее становье возле запора¹ на устье болотной речушки, наказав, чтобы она оставалась там до тех пор, пока за ней не придут. Место там укромное, тихое. На окраине бора в ветвистом сосняке спряталась старая моховая избушка-временка. По снегу следов не оставили, оленей туда не

¹ Запор – городьба через реку, где устанавливаются снасти для ловли рыбы.

загоняли. Стало быть, Анна сможет там отсидеться и сохранит запасную упряжку оленей на всякий случай. Ибо о красном войске ходили противоречивые слухи: будто бы одни селения уничтожали до основания, а другие оставляли неразоренными... После отъезда дочери прикатила ненецкая семья на двух упряжках, налегке, и привезла тревожные вести о войне. А утром нагрянули красные.

Теперь, отправив сына в путь, Матерь Детей взялась за неотложные дела. Нашла деревянную лопату и старательно засыпала снегом человеческую кровь там, где она пролилась на белую землю. А сверху те места забросала сосновыми ветками, чтобы ненароком не наступил кто-нибудь. Потом выпрямилась, постояла в задумчивости, опершись на черенок лопаты. «Собачье войско», – подумала она. Хоть и недолго находились красные в становье, а все вокруг успели изгадить – за каждым кустиком, за каждой нартой, за каждым бугорком. Собака и та в одно место откладывает свое дерьмо, а эти?! И как ни противно ей было, но все же она заставила себя обойти становье и прикрыть снегом следы пребывания красных солдат. Пусть меньше будет напоминаний о том кровавом дне...

После этого она впряглась в маленькую нарточку для подвозки колотых дров и по одному отвезла всех погибших в сторону заката солнца, на окраину сосновой гривки. Сначала Отца Детей, потом Старшего Сына, после них девушку-неньку. Всех троих уложила на полянку и прикрыла оленьими шкурами. Сделав это, она усталым шагом вернулась в чум.

День клонился к вечеру.

При солнце, засветло, надо успеть еще заготовить дрова на долгую ночь и наносить снега для воды. Самое трудоемкое дело – это, конечно, запастись «пищей для огня». Огонь, огонь, милый огонь. Лишь бы в эти пять ночей и дней не погас огонь в очаге, главный хранитель дома и жизни оставшихся детей. И она, чуть передохнув возле младших, взялась за дрова. Точнее, за топор. Колола нетолстые сушины, не разгибая спины, до тех пор, пока не увидела подъезжающую упряжку старших детей. Она бросила топор и поспешила к Анне. Мать знала, что ей придется все пережить заново – и будет особенно тяжело. Глаза Анны уже были как у тетерева – видно, плакала всю дорогу.

Прошлым летом она переросла Мать и с высоты своего роста, сверху, устремила взор в материнские глаза и с последней надеждой на чудо тихо спросила:

– Это... правда?

– Ну, поплачь, – сказала Мать.

По щекам Анны покатались слезинки. Мать двумя руками провела по лицу дочери сверху вниз, как бы вбирая в ладони все ее слезы, и негромко, успокаивая, сказала:

– Поплачь, коли есть слезы. Поплачь – полегчает немного. Мы уже все глаза выплакали. Поплачь, доченька. Нам еще много дел нужно сделать. А мы остались. Значит, так было угодно нашему Верховному Отцу. Значит, будем жить...

Анна плакала молча, прижавшись к груди Матери, а Мать гладила ее по голове и все говорила и говорила ласковые и грустные слова, а потом повела, как неразумное дитя, в дом. За ними, сопя, хрустя утопанным настом становья, поплелся Роман. В чуме она первым делом попросила дочку снять кисы, чтобы перевязать ее правую лодыжку траурными нитками. Теперь Матери Детей стало немного полегче. В доме во всем ее могла заменить Анна: и еду сварить, и за младшими поухаживать, и одежду высушить и починить, и о дровах и воде позаботиться – словом, мастерица на все руки и на подъем легка, не надо ее подгонять. И ночи с этого вечера уже отсиживали поочередно: то Мать бодрствует, то на пару старшенькие Анна и Роман. А дни уходили на рытье могил.

Глава 3

На следующее утро после приезда дочери Мать Детей взялась за сооружение последнего пристанища для ушедших из жизни. Земля на полянке, что она присмотрела на окраине сосновой гривки, за зиму окаменела от морозов. И женщина топором рубила землю. Обледеневшие комья, разлетаясь черными слезами Сидящей, сыпались на белый снег. Женщина все рубила и рубила. Рубила тяжело, с неслышим внутренним стоном, словно саму себя кромсала острым топором. Потом в изнеможении опускалась на хрусткий утопанный наст, сидела неподвижно, уставившись в одну точку, затем, отдышавшись, снова бралась за топориче. К полудню она уходила в чум, и пока вы-

пывала кружку-другую кипятка, топор переходил в руки Романа или Анны. И так изо дня в день.

Земля поддавалась с трудом.

Земля отчаянно сопротивлялась.

Земля не хотела принимать в себя насильственно и преждевременно отправленных в Нижний Мир.

Но делать нечего, и Земля каждый день понемногу уступала, позволяя углубиться в свое чрево. Земля все понимала, она знала, что людям деваться больше некуда, что она – их последнее пристанище.

На исходе четвертой ночи на рассвете, после восхода Звезды Утренней Зари, Мать Детей вытащила из-под постели девушки-ненки камешек от бруска, сняла у входа в чум две дощечки с четырьмя черными полосками и направилась в сторону заката солнца. Там, в конце сосновой гривки, она разломала траурные знаки на мелкие щепки и вместе с камешком выбросила под сосенку. Все. Последние четыре земные ночи девушки-ненки закончились.

Позже, когда наступил день, Мать Детей со старшеньким Романом завернули погибшую в оленьи шкуры и опустили в неглубокую могилу на дальнем от чума краю поляны. Вместо креста поперек могильного холмика положили бревнышко. Мать Детей знала обычаи лесных ненцев: они не закапывали гроб с покойником в землю, а просто ставили на кладбище и сверху придавливали бревном, чтобы уходящий не оглядывался назад. Сейчас же некому и не из чего сколотить домовину, поэтому девушку отправили в Нижний Мир наполовину по ненецкому, наполовину по хантыйскому обряду. Потом у ее изголовья положили обрубок доски вместо столика и в последний раз, в дорогу, поставили кружку чая и берестяной туесок с едой. И напоследок, закончив поминки, Мать Детей сказала молодой женщине: – Ну... Иди к своим предкам... Назад не оглядывайся, только вперед смотри... Твой¹ когда-нибудь придет к тебе...

Сказав это, женщина подумала, что, может быть, «он» уже «там». Но вслух продолжала:

¹ Твой – здесь: твой муж. Между мужем и женой не принято друг друга называть по имени.

– Вы с ним вместе еще поживете там. На нас плохое в уме не держи. Все, что могли, для тебя сделали. Ну, вот, иди своей дорогой...

Мать Детей вздохнула, будто с облегчением: все, одну худо-бедно отправили по обряду. Точнее, двоих... В первый же вечер после приезда, поужинав, молодая гостя Хомани, подсев к хозяйке, вполголоса, чтобы не мешать мужскому разговору, поведала ей историю о том, как они с мужем вступили в войну. Ехали по озеру на двух упряжках и столкнулись с красным войском. А у красных такое правило: всех встречных допрашивать, кто, откуда, куда и зачем едет. Кто не остановится, у того подстреливают оленей в упряжке, чтобы не убежал. Встретившись с красными, рванули от них прочь. Войско открыло стрельбу по оленям. Однако далеко было, ускакали. Когда остановились, увидели, что шальная пуля убила сына, маленького Учю. Ему было всего четыре зимы и четыре лета, и в поездках он всегда сидел на отцовской нарте, за спиной отца. Отец сына почернел лицом, и с того дня семья решила воевать с красными до смерти. Муж научил жену стрелять из винтовки. И обстреливали они войско то с удобных позиций, с которых можно быстро исчезнуть, то с небольшими отрядами остяков или самоедов. Так прошла почти вся зима. Потом она сказала мужу, что «по-иному жить» стала¹. Тогда муж запретил ей брать в руки оружие, так как солдаты обычно не стреляли по безоружным, и сказал, что если он погибнет, то она должна уехать в Надымскую тундру и там родить сына. С той поры она перестала воевать. А вообще казымские женщины все воинственные, отчаянные. Может быть, стреляют не так метко, как мужчины-воины, но зато ничего не боятся. Тем более если погибают дети или муж. Не боятся красных. Не боятся пухля. Не боятся смерти...

«Теперь, может, в той жизни она доберется до Надымской тундры», – подумала Мать Детей, отходя от могилы молодой ненки.

Весь остаток дня углубляли прибежище для своих, уходящих в Нижний Мир. Теперь Мать Детей оставляла на кладбище стар-

¹ «По-иному жить» – иносказательное устойчивое словосочетание, означающее «забеременеть» (остяцк.)

шеньких только вместе, чтобы в сердца их не пробрался страх. Вдвоем все же легче на душе. Вечером, уходя домой, женщина двумя крест-накрест поставленными жердинками закрыла тропу на краю поляны, как это принято. После первых похорон это место стало кладбищем, а между селениями живых и ушедших испокон веков была четкая граница.

Закончилась пятая ночь. И также на рассвете, еще в сумерках, Мать Детей взяла у входа в чум последние траурные знаки – дощечки с черными полосками, отнесла их в сторону заката солнца, переломала и вместе с камешками из-под постелей ушедших положила под сосенку. Все, пришел конец земным дням погибших мужчин. Их завернули в оленьи шкуры. На внутренних сторонах шкур, слева, углем вывели «солнце» и «луну». Солнце – кружок, луна – полумесяц.

Рисуя, Мать Детей говорила каждому:

– Вот твоё солнце. Вот твоё луна. Никто не должен уходить в Нижний Мир без собственного солнца и собственной луны. Обычно их выводят на внутренней стенке гроба, но сейчас шкуры заменили домовины, поэтому на них и «закрепили» светила для уходящих.

– Ну, теперь попрощайтесь, – сказала Мать Детей своим детям.

Она первой подошла и поцеловала в закрытый платком лоб сначала сына, потом мужа, затем подошли Анна с Романом.

И когда уходящих стали опускать в могилу, дети не выдержали. Оба разрыдались и ревели в голос. Мать Детей крепилась-крепилась, но у нее тоже потекли слезы. Горькие, беззвучные. Потом она принялась успокаивать старших, говоря, что нельзя уходящим показывать много слез – плохо им будет в пути. Пусть они спокойно уходят в свой мир.

Наконец последнее пристанище погибших закрыли. У изголовья им поставили кресты, как это принято у ханты. Под крестами положили доску-стол, разложили еду, налили горячий чай и сели справлять поминки. Мать Детей тихо разговаривала с Отцом Детей и Старшим Сыном. Она знала, что не все удалось сделать по обряду, поэтому за это просила прощения. Прежде всего не склотили нижние домовины. Это мужская работа, а мужчин не осталось. Роман еще мал, он не в силах расколоть бревно на доски. Пусть эти «нижние дома» заменят теплые оле-

нии шкуры. «Верхние дома»¹ тоже не смогли построить, но это можно сделать попозже, в течение года, что допускается обычаем. «Если, конечно, будем живы», – сказала женщина. Она все говорила и говорила. Ей хотелось рассказать уходящим все, что происходит с родными на земле, в Среднем Мире.

Бремя поминок подходило к концу. Скоро нужно будет уйти. И Матерь Детей обратилась к Старшему Сыну:

– Милый мой ребенок, это я, твоя мама... Сказав это, она опять не выдержала, заплакала. Сначала слезы беззвучно поползли по ее лицу, потом она зарыдала. И тут, опомнившись, закрыла лицо руками, попыталась задержать звуки внутри, в груди, ибо на кладбище нельзя громко рыдать и шуметь. Но, главное, откровенное горе очень омрачает уходящих и делает их последний путь особенно тяжким. И теперь застрявшие в груди рыдания сотрясли ее хрупкое тело. Наконец, справившись с собою и немного успокоившись, она тяжело вздохнула, вытерла слезы и продолжила разговор:

– Милый мой ребенок, разве для этого я тебя вскормила?! Разве для этого я тебя вырастила?! Ох-ох-ох-хо-о-о... Горестный мир нас разлучил. Теперь в мир предков спокойно ступай. Там твои бабушки и дедушки. Там еще одну жизнь проживешь... Плохое на нас в уме не держи... Все, что смогли, для тебя сделали. Только ружье тебе не положили. Красные все твои ружья забрали. Когда будем делать верхний дом, тогда тебе ружье положим. Только дробовик Романа остался. Его Анна в зимовье сохранила... Ну, вот, милый мой ребенок...

Женщина замолчала. Молчали и старшие дети, Анна и Роман. Младших на кладбище не взяли. Тем более что детей в люльке сюда вообще нельзя привозить.

Между тем Матерь Детей полностью овладела собой и обратилась к мужу, Отцу Детей, уже без слез, с сухим, окаменевшим лицом. Заговорила медленно, взвешивая каждое слово, с недолгими паузами:

– Детей растивший, это я, твоя спутница в Среднем Мире. Со мной здесь наши дети, Анна и Роман... Раз Горестный мир нас

¹ «Верхний дом» – так называют надгробные домины с двускатной крышей, чтобы вода не проникала внутрь.

разлучил, оставайся... Плохое на детей наших в мыслях не держи... Наша дочка Анна цела и невредима вернулась. Упряжку из двух оленей сберегла. Это два старых быка-брата Угольный да Молочный... Красные всех наших оленей угнали... Да русскую Божью Матерь всю изранили... Да хвостатую¹ нашу Куньчи пристрелили за то, что она очень сердилась и лаяла на них... Остались в живых только два наших пса – старый белый Пойтэк и молодой рыжий Хвост Крючком... Полозья и носы всех нарт изрубили...

Она чуть дольше обычного затянула паузу, потом добавила:

– Но дети наши пока здоровы и невредимы. Здесь старшенькие, Анна и Роман... Еда у нас пока есть... Наверное, на Аган² будем пробираться. Ведь у нас там есть свой дом. Ближе к людям поедем. Как-нибудь постараемся выжить...

Матерь Детей помолчала, потом сказала старшим:

– Если у вас есть слово для Отца и Брата, скажите. Вряд ли еще скоро на поминки к ним придем...

Анна, помедлив, со слезами на глазах тихо сказала:

– Пусть вам хорошо будет... в том мире...

А Роман еще больше насупился и промолчал. Видно, боялся еще раз разрыдаться при женщинах.

Стал затухать поминальный костер. День клонился к закату. И Матерь Детей, остановив взор на свеженасыпанном холмике, пообещала мужу:

– Отец Детей, огонь в нашем очаге до тех пор буду поддерживать, пока мое дыхание не прервется. А там уж мы с тобой свидимся. Я приду к тебе... И там еще одну счастливую жизнь проживем...

Настало время прощания. Матерь Детей вздохнула и приложила губами к жердине, заменявшей крышу верхнего дома усопших. Последний поцелуй. То же самое сделали и Анна с Романом. Потом женщина постучала топорищем по основанию креста и сказала:

¹ Хвостатый – так ханты иносказательно называют собаку.

² Аган – правый крупный приток реки Оби на ее среднем течении на территории Остякно-Вогульского национального округа (ныне Ханты-Мансийский автономный округ).

– Ну, мы пошли. Напрасно нас не ждите. Как будет возможность, так и придем...

Родственники покойных не должны уходить с кладбища первыми. Для этого есть специальный человек, женщина-хромоножка. Поэтому Мать Детей взяла с кострища дымящую головешку, бросила на тропинку, ведущую к дому, и сказала:

– Ну, Безногая Женщина, ты впереди иди...

И все трое пошли, перешагнув через искры огня и струйку дыма. Это очищающий огонь. Пройдя между столбиками-жердинками на краю поляны, Мать Детей остановилась, оглянулась и, закрыв тропу стволами сосенок крест-накрест, сказала:

– Здесь Гром-Старик и Медведь ходят. Отсюда вы обратно возвращайтесь, дальше за нами не ходите...

И все трое, опустив головы, не оглядываясь, пошли к своему осиротевшему дому. Возле чума Мать Детей на дощечке развела дымокур: на тлеющие угольки положила куски пихтовой коры и выдровой шкуры. Этим очищающим дымом она окуривала детей и себя. Особенно старательно подставляли дыму пятки, наступавшие на горестную землю кладбища. И только после этого все трое вошли в жилище.

Все. Пять траурных дней и ночей закончились. Одни запреты по обряду снимаются, другие остаются до года. Но, главное, первые пять ночей отсидели и дорогих родичей по-людски проводили в последний путь.

Мать Детей молча опустила на свое место в чуме и долго сидела неподвижно, ни разу не шелохнувшись. Потом как сидела, так и повалилась на лежанку, у нее потемнело в глазах. Будто заснула вечным сном и жизнь для нее на этой земле завершилась. Прошло сколько-то времени, и она очнулась. Но очнулась в каком-то странном оцепенении. То ли сон, то ли явь. То ли на том свете, то ли на этом. То ли это она, то ли не она, а кто-то другой... Потом она стала различать небо в макодане. Иногда улавливала смутные звуки: тихий говор, детский плач, бульканье воды, потрескивание огня. Она потеряла ощущение времени и места, где находится... Но однажды она все же с трудом поднялась и вышла на улицу.

Яркое солнце ослепило ее. По-весеннему порыжели сосны. По-весеннему ярко блистали белые снега. А у основания чума,

на меховой крышке, снежинки превратились в серебристые капли воды. Серебристые капельки. Вода... Весна...

И Мать Детей вспомнила, что зима давно одним бочком повернулась к весне, а сейчас заметно подвинулась в сторону весеннего равноденствия. Придет весна, сойдут снега, наступит лето. А летом надо быть на Агане, на летних родовых землях. Милый Бог, расстояние-то ведь немалое, ужаснулась женщина. И это при двух-то оленях на пять живых душ, одном ружье и двух собаках...

Когда глаза привыкли к солнечному свету, женщина увидела разгромленное становье с изрубленными нартами, и в ее памяти до мельчайших подробностей всплыл день прихода красных и гибель самых близких ей людей. И с новой силой нахлынула горестная боль. И эта боль вернула ее в реальную жизнь.

Надо жить. Ради детей. Стало быть, нужно ехать. Пока не поздно.

Вернувшись в дом, она сказала старшим, что пора собираться в дорогу. Поедем на Аган, к сородичам, к людям.

Все в доме ожило, задвигалось, зашумело, наполнилось предотъездными заботами и сборами. Почувствовав оживление в чуме и предстоящий отъезд, на улице залаяли собаки.

И, как прежде, завертелось колесо времени.

Лета и зимы ее жизни.

Месяцы.

Дни.

Мгновения.

Они сели на нарту, запряженную двумя быками-братьями Угольным и Молочным, привязали к задним копыльям нарты собак, старого Пойтэка и молодого лохматого Хвост Крючком, и пустились в путь.

Глава 4

Глава красного войска Чухновский, плосколицый здоровяк из уральских пролетариев, гордился тем, что даже внешним обликом смахивает на маршала Тухачевского, с которым когда-то брал Омск, а позже подавлял тамбовское крестьянское восстание. Там его отряд отличился особым рвением и жестокостью. Возможно, поэтому выбор пал на него – срочно кинули на по-

давление остяков, восставших против советской власти, чтобы раз и навсегда те усвоили, что шутки с красными плохи и всякое неповиновение карается бескомпромиссно и сурово.

Когда санный поезд въезжал в Березово, мальчишки бежали вдоль улицы и кричали: «Войско идет! Войско идет!» Это приятно потешило самолюбие Чухновского. Раз войско, значит, он – командующий. Как маршал Тухачевский.

Еще на въезде в город, еще не расквартировавшись, он уже почувствовал себя полным хозяином. Теперь вся жизнь завертелась вокруг него, красного командира. По законам военного времени все здесь для Красной Армии, все для красного бойца. Местной, районной, власти как бы уже не существовало. Ни партийной, ни советской. Ни милицейской. Ни прокурора, ни судьи. Нет старших. По военному положению хозяин один – тот, кто командует войском, у кого в руках реальная сила.

Возможно, по этой причине в глубине души, никому не признаваясь, он любил войну и военные походы. Еще в гражданскую, будучи младшим командиром, впервые ощутил это сладостное чувство вседозволенности и превосходства. Что хочу – то и творю. Вот и взял Березово. Без боя. Завтра пригонят оленьи упряжки – и возьмет все остальное: реки и озера, селения и урочища, где засели восставшие остяки. Где с боем, где без боя. Тут он быстро наведет порядок. Может, месяц понадобится, а возможно, и того меньше. О начале операции завтра же отлучит телеграфом в Екатеринбург.

Все предусмотрено для удачного начала, все для этого есть: и аэропланы, и хорошо вооруженные и обмундированные красноармейцы, и аргиш с опытными каюрами дожидается на ближних ягельниках. От конного поезда придется отказаться – дороги не позволяют, по болотам не проедешь, на переправах можно застрять.

Так он размышлял, прогуливаясь по сумеречному городу. Ему давно хотелось взглянуть на него: все-таки здесь почил светлейший князь Меньшиков, некогда всеильный правитель Российской империи. Впрочем, подумал: таким ли уж всеильным был князь, коль не сумел удержаться у власти?! О чем он размышлял, прогуливаясь в мощной лиственничной роще на высоком взгорье над рекой и бескрайней заснеженной лугови-

ной?! Возможно, сожалел о своих ошибках и просчетах, а возможно, смирившись со своей участью, философски смотрел на жизнь и, возводя белую церковь на опушке лиственничной рощи, вспоминал лучшие свои дни, проведенные рядом с Петром Великим.

Эти лиственницы, высокие, прочные, здоровые, как и сам светлейший князь, будто случайно, по ошибке природы оторвались от родимой плодородной почвы и крепкими корнями вцепились и вросли в этот высокий мыс над крутояром, обрывающимся к реке, к Северной Сосьве. Ведь во всей округе нет ничего более сильного и мощного, чем этот лиственничный лес-великан. Впереди на восток тянется пустынная луговина с редкими кустиками чахлого тальника, а позади, за десятком добротных купеческих домов и двухэтажной гимназией, приютились приземистые избы с огородами да низкорослый, битый всеми ветрами и морозами, ельник, неведомо как выживший на этой суровой земле.

Трудно понять, о чем думал здесь государственный деятель тех далеких лет. Да еще светлейший князь.

Проще понять Троицкого, который чуть более двух десятков лет назад бежал отсюда в Европу. Именно он стал организатором и создателем Красной Армии, был первым председателем Реввоенсовета республики. И, тем не менее, попал в опалу, не удержался на своем посту. Значит, не был настолько крепок, значит, какая-то червоточинка его подточила, не до конца был предан рабоче-крестьянскому делу.

Еще проходя мимо лиственничной рощи и размышляя о тех, кто побывал здесь до него, глава красных почувствовал боль в пояснице. Давал знать о себе застарелый радикулит. Особенно он не беспокоил – бывало, поноет, а потом отпустит. Но в дороге надо бы побережиться, нужно смазать поясницу хорошей мазью да, может, промять. Вернувшись в отведенную ему квартиру в добротном купеческом доме в центре села, он приказал прислать доктора. Его на месте не оказалось, поэтому пришла фельдшер – белотелая рыжая девица с насмешливыми зелеными глазами. Нисколько не смутившись большого начальства, поздоровалась и с улыбкой спросила:

– На что жалуемся, товарищ командир?

Он внимательно оглядел ее с ног до головы, помолчал, потом сказал:

– Для начала познакомимся.

– Хорошо, – живо откликнулась девушка.

– А зовут меня Владимир, – сказал он. – Правда, не Ильич, а Васильич.

– А я Маша Оболкина.

– Откуда ты такая взялась в этих дебрях, Маша? – удивился командир.

– Да я из ваших.

– Из каких наших?

– Ну, из красных.

– Из каких красных?

– Ну, которые царя скинули.

– Ух ты! – удивился командир. – Выходит, здесь тоже царя скидывали! Ай да Березово! Ай да очаг революции!

– Батяка мой революционером был, – пояснила девушка. – А я здесь родилась.

– А где сейчас батяка?

– Не знаю.

– Куда же он подевался?

– Как только услышал про революцию, так и укатил. То ли в Питер, то ли в Москву. Говорил, революцию защищать поехал.

– И ничего о нем не слышно было после гражданской?

– Нет, ни слуху ни духу.

– Совсем пропал?

– Наверное, погиб на фронте. Иначе бы уж объявился.

Помолчали, приглядываясь друг к другу. Потом командир спросил:

– А мать тоже из ссыльных?

– Не, мама у меня местная.

– Остячка?

– Да, полуостячка. Из обрусевших.

– А откуда корень пошел?

– Дед мой по материнской линии был из казаков. Женился на бабушке, обской остячке. А отец мой из питерских разночинцев. Там уже и корни не найдешь.

– А на фельдшера где выучилась?

– В Остяко-Вогульске.¹ Там после революции открыли фельдшерско-акушерскую школу.

Между тем Маша вымыла руки под рукомойником и открыла свою фельдшерскую сумку. Глава красных снял гимнастерку, провел руками по бокам, потянулся слегка, лег на кушетку и сказал:

– Ну, красная Маша, лечи красного командира!

Звякнув банками-склянками, она поколдовала над его поясницей, потом, прикрыв его спину простыней, сказала:

– Прогреть бы надо. – Помолчала, после добавила: – И на холод не надо ходить.

Он похраптел, потом откликнулся:

– И погреть некогда. И на холод надо ходить.

Маша после паузы сказала:

– Так можно долго лечиться – и все без толку.

Командир с беззаботностью бывалого вояки произнес:

– На войне пуля все может излечить...

– Конечно, может, – согласилась Маша.

Потом они надолго замолкли. Наконец Чухновский прервал молчание:

– Маша, ты замужем?

Маша секунду-другую помедлила, потом протянула неопределенно:

– Не-а... То есть...

Ответ развеселил красного. Хохотнув, он переспросил:

– Так есть муж или нет?

– Есть, – сказала девушка. – Но только сейчас его нет дома.

– Где же он?

– На промысле.

– Когда приходит?

– В конце сезона.

– Это в конце зимы?

¹ Остяко-Вогульск – столица Остяко-Вогульского национального округа до 1940 года. Затем переименован в г. Ханты-Мансийск, в настоящее время – столица Ханты-Мансийского автономного округа. Город расположен на слиянии рек Оби и Иртыша, основан в 1635 году на месте города-крепости остяцкого князя Самара, отсюда прежнее название «Сама-рово» (до 1930 года).

– Да, конечно.
Красный снова помолчал. Потом сказал:
– Маша, у тебя необыкновенные руки... Ты могла бы с нами пойти на войну?
– Кем?
– Санинструктором, конечно. Или воен-фельдшером.
– Что, своего нет?
– Есть, но коновал. Ему бы только коней лечить.
– А там, в тундре-тайге, коней-то не будет, да?
– Точно. Да и хворь к нему какая-то пристала. Может, простыл в дороге. Какая от него польза?
– Кони останутся здесь.
– Да. Ну что, пойдешь?
– Что я там буду делать? – наивно спросила она.
– Раненых станешь лечить.
– Их же в стационар надо отправлять.
– Ну, так первую помощь будешь оказывать.
– Так это любой мужик сделает.
– Ну... мирным остякам станешь помогать. Если, правда, таковые найдутся.
– У них там своя медицина.
– Ну как, пойдешь?
– Кто ж добровольно ходит на войну?!
– Верно, добровольцы только сдуру прут. Но ты-то в обозе будешь, в тылу, а не на передовой. В атаку-то не пойдешь... Опять же аэропланы будут. В случае чего всегда можно выдернуть из любой заварушки. А аэропланы специальные: на лед могут садиться, на реки и озера.
– Поди разберись там, где передовая, а где тыл.
– Разберемся. Хотя это как на партизанской войне.
Раздался стук в дверь. После разрешительного окрика на пороге вырос его помощник, малый неопределенного возраста, с довольно потрепанным жизнью лицом, на котором выделялись мертвые, без всякого выражения, глубоко посаженные глаза и вечно розовые прожилки, просвечивающие сквозь кожу щек и носа. Увидев девушку, он дернул вверх левое приопущенное плечо, вытянулся и бодрым, но немного писклявым голосом стал докладывать что-то о транспорте на следующий день. Ко-

мандир оборвал его на полуслове, махнул на дверь: мол, я занят, попозже, потом разберемся. Помощник четко развернулся, шаркнул валенком и вышел.

– Это мой помощник, Мингал, – сказал командир. – Гад, конечно. Но свой, рабоче-крестьянский. И очень исполнительный...

Командир немного лукавил, говоря так про своего помощника. Уж больно тот был изобретателен и безжалостен в борьбе с врагами революции и Советской власти. Так уж старался, что чуть ли не выворачивался из собственной шкуры. Казалось, он замаливал какие-то свои старые грехи. Как-то командир полусмешливо сказал ему: «Мерещится мне, Мингал, что когда-то, на заре Советской власти, ты вешал комиссаров...» Помощник вдруг начал заикаться: «Н-н-н...» Командир поинтересовался: «Что значит н-н-н?» Мингал наконец обрел голос: «Н-никак нет, товарищ командир!» После этого Чухновский стал сомневаться в нем еще больше. Тем более что в биографии помощника были темные пятна, о которых тот толком ничего не мог сказать. Гордился тем, что ему, как и командиру, досталось имя вождя мировой революции. Но еще на гражданке, чуть ли не с детства, друзья-приятели переименовали его славное имя, называли его Лодька.

Бойцы его недолюбливали и побаивались за злопамятный и мстительный характер, за глаза его называли Мингал-Мангал-Мандал. Многих, особенно при первом знакомстве, он озадачивал: не могли сразу понять, что это – фамилия, имя или кличка. А командир, бывало, в гневе и вовсе перевернул его имя, и у него получалось крепкое матершинное слово. Но, однако, главу войска он устраивал. И сейчас Чухновский повторил:

– Исполнительный... Расшибется, но выполнит приказ. Хоть и гад...

Похоже, любимым словечком командира было «гад». Он употреблял его больше не в ругательном значении, а, наоборот, придавая ему одобрительный оттенок. Получалась как бы награда за пронырливость и находчивость.

Маша молчаливым, но по-женски любопытным взглядом проводила помощника командира, а потом, продолжив прерванный разговор, спросила:

– А что, командир, и без моей воли можешь забрать меня?

– Ну, по случаю военного положения любого могу мобилизовать.

– И меня в том числе?

– Да. Но без твоего желания не сделаю этого.

– Сколько времени все это займет?

Командир задумался. По приезде он ознакомился с документами, с предысторией Казымского восстания. Конфликт назревал давно. Еще в 1931–1932 годах начались трения между остяками и местными властями. Именно тогда сотрудники ОГПУ арестовали в верховье реки Казым четырех авторитетных и зажиточных остяков, «кулаков», говоря языком официальных документов, и увезли в город. Остяки потребовали освободить арестованных. Тогда власти отправили к ним для разрешения назревающего конфликта руководителя Казымской культбазы Шершнева и председателя Интеграл-союза Хозяинова. Но эти посланцы, однако, прибыв на фабрику, базу Урал-пушнины в районе Нум-То, занялись не переговорами, а производством... самодельных бомб. Они называли их гранатами. Выбирали серединку редьки, насыпали туда порох, а вместо взрывателя вставляли фитиль из ниток. По верховьям рек быстро разнеслась весть, что красные русские готовятся к войне. Не менее странно повела себя и вторая группа переговорщиков от властей. Они доехали до Божьего озера и ни с чем вернулась обратно, говорили, якобы поднялась метель и они заблудились, потеряли дорогу. Хотя каюры-проводники были из местных и не могли не сориентироваться в своих вотчинах. Между тем конфликт все углублялся. Потом поехала на переговоры третья, более многочисленная группа. Она тоже заняла странную позицию: первоначально решила расправиться с остяцкими богами, а потом приступить к переговорам. Возможно, переговорщики полагали, что мятежники без богов будут более сговорчивыми. Группа пропала без вести. Позднее выяснилось, что вся она погибла. Идея уничтожения остяцких богов принадлежала члену этой группы комиссарше Ш., представителю Уралобкома. Размахивая револьвером, постреливая по святыням, она поднялась на священный остров, куда никогда не ступала нога чужеземца. Так была осквернена главная, особо чтимая земля коренных жителей. Такого кощунства остяки уже не могли терпеть. Практи-

чески с этого дня начались военные действия между двумя сторонами – остяками и Советской властью. Затем к мятежникам была отправлена четвертая, оперативная группа сотрудников ОГПУ. Но она была уничтожена практически одной семьей. Григорий Сенгепов с женой вступили в бой и побили оперативников. Правда, сами супруги тоже погибли.

По оперативным данным, в конце 1933 года восемьдесят семей остяков и самоедов верховья Казыма собрались близ своего священного места и избрали нового вождя «всего остяцкого и самоедского народов». Им стал остяк Ефим Семенович Вандымов. Сюда съехались остяцкие роды верхнего течения реки: Вандымовы, Молдановы, Ерныховы, Лозямовы, Сенгеповы, Тарлины и другие, а также самоедские роды, жившие возле озера Нум-То. На этом сходе было принято решение о начале войны: если придут красные, то «воевать с ними до смерти». Вскоре власти получили ультиматум восставших из семи основных пунктов. Вот некоторые из них:

«Отменить всякие аресты туземцев и судить их только своим судом и из тундры никуда не увозить.

Не отбирать у кулаков оленей для культбазы и не заставлять туземцев работать на культбазе.

Снять налоги с кулаков, не облагать их твердыми заданиями и не привлекать к суду за невыполнение этих заданий.

Закреть на культбазе интернат и не брать обучать детей в школу, а тех, которые учатся сейчас, из школы вернуть родителям...»

Ультиматум заканчивался словами, что в случае неудовлетворения этих требований «пойдем войной».

Власти поняли, что мирным путем конфликт не разрешить. Тем более что ни одно из этих требований удовлетворять не собирались, поэтому-то срочно и вызвали войска из Екатеринбурга. Вот получается, что Чухновский теперь возглавляет пятый поход на восставших.

Сколько же их, мятежников? На сходе было восемьдесят семей. А семьи у них большие. Если взять в среднем по пять человек, то получится четыреста. Пусть сто – сто пятьдесят из них малые дети и грудные младенцы. Пусть еще примкнет к ним в округе 20–30 семей, что не приняли участия в сходе. Это еще сто – сто пятьдесят человек. Малых и грудных – 40–50. В общей

сложности будет 500–550 человек. Пусть из них поставят под ружье половину – двести пятьдесят – триста. Если жители других рек не примкнут к восстанию, то в обычных условиях с ними можно было бы разделаться за одну хорошо спланированную войсковую операцию. Тут же много неясного и непредсказуемого. По поступающим сведениям, наравне с мужчинами здесь «воюют до смерти» и женщины, и дети. Как это было с семьей Сенгеповых. Но все равно для регулярных войсковых частей это слишком незначительная сила.

И командир красных начал рассуждать вслух:

– Ну, недельку туда, до их логова. Столько же на обратную дорогу. Там неделька-другая понадобится. За месяц управлюсь. Больше не потребуется.

– А если все затянется?

– Ну, такому не бывать. Управлюсь быстро. У меня опыт большой. Недаром же бросили сюда. Не к теще на блины.

– Не знаю...

– Ну, думай до утра. Надумаешь – в отряд зачислим.

– Может, и надумаю. Ведь во мне бунтарский дух сидит, – рассмеялась девушка.

– Что за бунтарский дух?

– Это с детства мне так говорили. Мол, много кровей в тебе смешалось: и остяцкая, и казацкая, и питерско-разночинная, вот и несет тебя вечно туда, куда, может, и не следовало бы...

Они оба помолчали. Потом Чухновский поинтересовался:

– Может, тебя бойцы пугают? Все же одни мужики...

Она дернула плечом, взглянула на него сверху вниз, со смехом ответила вопросом на вопрос:

– С таким-то командиром?!

Он тоже усмехнулся в усы: вот девка-то – нигде не пропадет!

На другой день Машу Оболкину зачислили в отряд красных, и она засобиравшись в поход на неведомое правобережье Оби, захваченное восставшими остяками.

Глава 5

Аэроплан, заполняя гулом все небо, стал описывать круг, как бы накидывая на упряжку огромную петлю.

Мать Детей остановила оленей посреди кочкастого болотца с редкими сосенками. Укрыться все равно нигде – поблизости нет ни леса, ни бугорка. Она всем существом почувствовала, что сейчас это крылатое чудовище-хищник начнет затягивать петлю, чтобы удавить ее вместе с детьми. Она знала, что аэропланы в хорошую погоду охотятся за каждым человеком. А сегодня день что надо. Все как на ладони видно. Но у нее блеснула надежда. Надежда на спасение. И она быстро завязала вожжу на первый копыл нарты.

Роман тут же соскочил с сиденья и громким шепотом, словно летун мог услышать, предложил Матери:

– Давай стрельнем!.. Стрельнем, что ль?!

– Нет-нет! – закричала Мать. – Не показывай ружье!

У нее была надежда на другое. И она скороговоркой скомандовала:

– Анна! Мария! Слезайте с нарты! Выходите на дорогу!

Девочки поспешно прыгнули со своих мест. Мать Детей, командуя, одновременно разъясняла свои действия:

– Становитесь на дорогу! Назад идите, подальше от нарты. Пусть крылатая машина нас хорошо видит! Пусть видит, что мы не воины. В руках у нас нет ружей. Мы с красными не воюем. Мы красных русских не убивали. Пусть видит, что тут дети и женщины! Мы к себе домой едем. Мы никого не трогаем...

На нарте, внутри меховой полости, в люльке спал самый младший, Савва. Мать хотела взять его на руки, чтобы крылатая машина все видела. Вот, мол, самый младшенький, он еще не ходит, на руках его носим. Не станешь ведь с ним воевать, хоть ты и красная крылатая машина!.. Но Мать не успела вовремя взять Савву на руки. А суетиться было нельзя. Это она чувствовала всем нутром. Аэроплан может подумать, что она из полости нарты вытаскивает ружье и патроны. Нет, надо твердо и уверенно стоять перед красной машиной. Не нужно показывать, что мы боимся красных, что мы виноваты перед ними.

Так Савва один остался на нарте.

Между тем аэроплан замкнул небесную петлю, развернулся на закатной стороне и устремился прямо на беззащитный выводок женщины. А она уже всех расставила по своим местам: Романа позади всех, за свою спину, и сказала ему:

– Ты, Роман, тут будешь стоять. Ты у нас в мужской малице. Хоть и мал, а могут принять за война... Поэтому стой за нами и не высовывайся!

А дочерей поставила перед собой, чуть впереди. С левой руки – Мария, с правой – Анна. Все трое в женских ягущках и платках. Сразу видно – тут две девочки и одна женщина. Все безоружные, бежать и прятаться от красных не собираются.

Теперь Женщина заговорила языком детей, от их имени:

– Нас не надо убивать. Мы только-только на свет вылупились. Мы еще совсем маленькие. Нам еще надо пожить. Мы еще жизни-то не видели. Мы еще на Солнышко не налюбовались. Мы еще на Луну не насмотрелись. Мы еще путей-троп не успели по жизни натоптать...

Все стояли лицом к аэроплану. Он, гудя, все приближался, напоминая хищную птицу с расправленными когтями. А когтями казались ее лыжи-ноги, на которые она падает на ровный лед рек и озер. За опасную птицу принял ее и молодой рыжий пес Хвост Крючком. Натянув цепь, вскакивая на задние лапы, он неистово облаивал неведомую ему птицу. А Пойтэк, пнем застыв возле копыла нарты, почему-то смотрел не на небо, а на своих хозяев посреди голого зимника.

Но Матерь Детей не теряла надежды. Красная машина посмотрит на них, убедится, что это женщина и дети, и оставит их в покое. И, успокаивая своих птенцов, наполняя пустоту голосом, все повторяла-говорила:

– Мы еще маленькие. Нам еще нужно пожить. Красная машина нас не тронет...

Последние ее слова растворились в нарастающем гуле. Аэроплан, снижаясь, метил прямо на них. А они, со смешанным чувством любопытства и страха, с широко раскрытыми глазами смотрели на приближающуюся крылатую машину, которую никогда так близко не видели. Вон, кажется, шевельнулся рулевой в огромных очках. Видно, хочет как следует рассмотреть детей...

Гул мотора уже стал переходить в рев.

На подлете вдруг от аэроплана стали отделяться черные точки: одна, вторая, третья...

Роман, уже многое знавший о войне со слов взрослых, истошно завопил за спиной Матери:

– Огненные камни! Падайте! Ложитесь!

И как-то неосознанно – ноги сами подтолкнули – нырнул в сугроб.

А Матерь Детей, заколдованно глядя на падающие «камни», вдруг оцепенела и не смогла даже шелохнуться. Ее парализовала мысль: «Камни летят на моих деток!» Дочери Анна и Мария тоже замерли от испуга и неожиданности.

Через мгновение грохнул взрыв. Вихрь ударил в грудь – и Матерь Детей упала навзничь. Падая, краем глаза она увидела, как Хвост Крючком сорвался с цепи и, радостно взмахнув своим пышным лохматым хвостом, рыжим клубком понесся к ним. Но предсмертный визг попавшей под огненный камень собаки она уже не слышала.

Все вокруг потонуло в снежном урагане. Все вокруг взвихрилось. И показалось Матери Детей, что вместе с грохотом она провалилась в Нижний Мир и навеки оставила Землю людей. Все исчезло. Все потонуло во мраке. Время для нее остановилось. Воцарилась мертвая тишина... Потом стала наплывать белая пелена. Она еще успела удивиться, почему в Нижнем Мире белая пелена, а не черная тьма. Странно, очень это странно... Затем пелена стала медленно рассеиваться. Проступили очертания поникших сосенок, дороги и меховых ягущек дочерей. Машинально отметила: вот Мариина шубка – на ней орнамент «заячье ушко», сама вырезала и шила. А вот Анин узор, называется «спинка соболя». Значит, они рядом, это хорошо... Матерь Детей лежала неподвижно, она стала будто бестелесной, будто тело ее разнесло огненным камнем на мелкие-мелкие крупинки и превратило в белую пыль.

Безмолвное небо. Покалеченные сосенки. Мариино «заячье ушко». Анина «спинка соболя».

Прошло еще сколько-то времени. Потом в ее ушах появился звон, а в ноздри ударил противный запах огненного камня. Но окончательно вернул ее на землю зов, полный мольбы и пронзительной боли:

– Мамм-ма-а-а...

– Ан-на-а! – живо откликнулась Мать, напрягая все силы.

Зов старшей дочери подбросил женщину, оторвал от земли. Она всем своим нутром почувствовала, что сейчас Анна больше

всех нуждается в ее помощи. И она подползла к Анне, села на снег, положила голову дочери к себе на колени.

– Мам-ма... – почти шепотом повторила Анна.

– Я тут, я тут, Анна! – закричала Мать.

Она обхватила голову дочери двумя руками, низко наклонилась над ней. Лицо Анны неузнаваемо изменилось: заострились нос и скулы, угас живой румянец на щеках, и прорезались впервые тонкие нити страдальческих морщин. Она побелела, как весенний снег, исходящий трещинами под неумолимым жаром небесного светила. Глаза ее, как два озера, были полны слез, но взор все еще оставался ясным. И она тихо, но отчетливо выговорила:

– Мама, я хочу жить...

– Что ты, Анна! Ты будешь жить! Будешь жить! – закричала Мать.

С этим криком на устах она ощупала голову дочери, развязала платки на шее. Торопливо приговаривая, успокаивала Анну:

– Ты будешь жить! Вот, головушка цела. Вот, рученьки-ноженьки на месте. Конечно же будешь жить! Ничего плохого с тобой не случится.

Говоря так, Мать развязала тесемки-завязки на груди дочери, запустила руку под полы ягушки и стала ощупывать тело Анны в поисках раны. И ее рука почти сразу же наткнулась на липкое и горячее. Анна вздрогнула всем телом и тяжело застонала.

Мать рывком сорвала с головы свой платок и, свернув его, приложила к ране на груди дочери. Теперь она сидела на снегу, держа левую руку под ягушкой, пытаясь ладонью приостановить кровотечение, а правой, унимая боль, вбирая ее в себя, нежно водила по лицу Анны и страстно, как молитву, громко шептала:

– Анна, миленькая моя деточка! Богом данная мне деточка! Анна, я отниму твою боль, залечу твои раны, сделаю тебя здоровой, невредимой. Ты не оставишь эту солнечную землю, не оставишь эту лунную землю, не покинешь этот светлый мир!

Под теплом материнских ладоней Анна перестала стонать и впала в полудрему, успокоилась, затихла. А Мать, словно напевая колыбельную песенку, все нашептывала тихонько:

– Моя миленькая, моя хорошенькая, моя умненькая, разве для того я тебя вскормила-взлелеяла, чтобы ты сгнула посреди этого горестного болота?! Разве для того я тебя вскормила-взлелеяла, чтобы твоя душа до срока покинула эту землю?! Нет-нет, Анна, нет, не бывать этому! Ты будешь жить! Это говорю тебе я, твоя Мама. Ты слышишь меня, Анна? У тебя впереди еще много солнечных дней! У тебя впереди еще много лунных дней! Ты у меня на руку проворненькая! Ты у меня на ногу скорненькая! Возьмешь ли иглу большую или малую – она звенит-поет в твоей руке! У тебя впереди еще много стежек-дорожек, у тебя впереди еще много узоров-орнаментов... И наступит когда-нибудь яркий безоблачный день: на трех белых оленях примчится за тобой человек, и своего дома ты станешь хозяйкой, и своего очага ты станешь хранительницей, и станешь любимой женщиной, и станешь ласковою матерью, и станешь доброю бабушкой... Ты – моя солнечная красавица, ты – моя лунная красавица... Анна, доченька, слышишь ли меня?..

Анна, убаюканная молитвой Матери, слабо шевельнула пальцами правой руки, с трудом разлепила отяжелевшие веки и медленно, через долгие паузы, едва слышно выговаривая каждое слово, спросила:

– Мам-ма... а ТАМ... солнце... свет-тит?..

– Что ты, Анна?! – закричала Мать. – Анна, душенька моя! Анна, сердце мое! Солнышко ЗДЕСЬ! Вот оно, на небе! Солнышко смотрит только на тебя! Солнышко светит только для тебя! Это твое солнышко! Только – твое! Солнышко – твое! Анна, не оставляй солнышко! Только не оставляй солнышко, слышишь?!

Говоря это, Мать подняла голову к солнцу, к небу, отчаянно призывая их на помощь. Теперь она обращалась то к Анне, то к Богу:

– Милый Торум, где же Ты?! Где же Ты, где?! Анна, вот солнышко тянет к тебе свои ласковые руки-лучи! Милый Торум... Анна, доченька...

Мать говорила быстро, скороговоркой, то опуская, то поднимая голову к небу. И не заметила, как помутнел взор Анны и как стали гаснуть ее по-детски чистые глаза. А Мать все говорила и говорила, убеждала дочку, что та будет жить. И вдруг замерла,

застыла на полуслове с открытым ртом: левой рукой почувствовала, что у Анны перестало биться сердце... Еще мгновение, не веря этому, окаменевшая Мать сидела молча. Потом, опомнившись, дико закричала.

Так закричала, что от ее крика треснули льды и снега болота.

Треснуло небо.

Треснуло солнце.

Все вокруг покрылось трещинами.

И Мать повалилась на остывающее тело Анны, завывала нечеловеческим голосом. Ее жуткий вой, вползая во все земные и небесные трещины, расшатывал, казалось, все мироздание. Все рушилось. Все рассыпалось. Казалось, подступал конец Мира, человечества, остяцкого народа и вместе с ним подступала кончина Матери и ее Детей. И эту надвигающуюся катастрофу не сможет предотвратить никто, ибо даже истекающая кровью Божья Мать оказалась бессильной перед красными.

— Какую девочку погу-би-ли-и!.. — подвывала она, давясь слезами. — Псы... мерзавцы... сволочи... Какие твари вас пор-ро-дили... Твар-ри... будьте про-кля-ты... на все времена... пока Земля сто-ит...

Наконец, вой перешел в глухое шипение. И Мать Детей, омертвевшая, затихла и теперь лежала, подобно подбитой птице, распластавшись на стынущем теле милой доченьки...

Глава 6

Помощник командира Мингал поднес бинокль к глазам. Две упряжки в снежном вихре стремительно уходили по озеру. Они неслись с такой скоростью, будто взлетели по морозному воздуху. Казалось, вот-вот насовсем унесутся в небо. На первой нарте сидела женщина в платке. На второй — мужчина: мелькал светлый гусь¹ с белым капюшоном.

Мингал оторвал бинокль от лица и уверенно сказал командиру:

— Разведка!

Командир помедлил, потом глухо приказал:

— Взять! Живыми!

Мингал развернул красноармейцев цепью, скомандовал:

— По оленям — огонь! — Выдохнул морозный пар, снова зарал: — Огонь по оленям! — Перевел дух и опять: — Огонь!

Дали три залпа. На задней упряжке сначала захромал правый пристяжной, потом упал вожак. Остался на ногах средний олень. Мужчина соскочил с нарты, развернул последнего оленя поперек дороги, прикрылся им от преследователей и вытащил винтовку. Женщина тоже остановила упряжку. Но спутник что-то крикнул ей и замахал руками: мол, уезжай, прикрою.

Тут Мингал пустил за ними четыре упряжки с красноармейцами: две слева, две справа от основной дороги. По мелкоснежью озера ездовые быки понеслись галопом. Преследуемый открыл огонь по красноармейцам. Тогда Мингал пустил еще две упряжки с каюрами и новыми карателями. Теперь уже по основной нартовой колее. Шесть упряжек стали окружать остяка с подбитыми оленями.

— Не уйдут! — уверил Мингал. Командир молча наблюдал за неравной схваткой. Потом, кивнув в сторону озера, откуда приехали, сказал помощнику:

— Переночуем на фактории!

— А их куда? — помощник показал на середину озера.

— Привезешь туда.

Глава красных тронул своего каюра за плечо. Командирская упряжка развернулась и направилась в сторону фактории, базы Уралпушнины, до которой был не ближний путь. Она находилась в сосновом бору, недалеко от Священного озера, на берегу таежной речки, на окраине болота, где в просторной избе жил русский приемщик пушнины. Хозяйство у него было крепкое, добротное. Имелась всякая мелкая домашняя живность, соленья-варенья, банька и другие хозяйственные постройки. Когда-то это была купеческая заимка, при советской власти здесь открыли заготпункт и назвали факторией. Тут можно было хорошо отдохнуть. И командир решил оборудовать в этом месте своего рода базу, командный пункт, откуда удобно делать вылазки небольшими отрядами по всем направлениям для поимки беглых остяков и усмирения непокорных селений. В крепких складских помещениях содержались пленные.

¹ Гусь — мужская глухая одежда мехом наружу, надеваемая на малицу.

После главного сражения и разгрома ледяной крепости возле Божьего озера в задачу главы красного войска входило выловить и доставить в окружной центр Остяко-Вогульск как можно больше участников восстания для следствия и показательного суда над теми, кто замахнулся на советскую власть, кто захотел свободы и независимости. Нужно было показать всем, кто хозяин на этой земле. Красная власть – не русский царь, ни с кем церемониться не станет. Всякого, кто пойдет против нее, покарает сурово и жестоко.

Остальные упряжки тронулись за командирской. На озере остался только помощник Мингал со своим каюром и парой красноармейцев.

На фактории командир красных с мороза выпил полкружки спирта и плотно поужинал в просторной пятистенке, которую занял. Он придавал большое значение вечернему приему пищи, поэтому в это время никто не смел его тревожить. Потом, уже к полуночи, он вызвал помощника для доклада. Тот в сенях поставил печку-буржуйку – таким образом оборудовал что-то типа караульного помещения. Всегда рядом, всегда под рукой.

– Ну, что? – спросил командир.

– Да почти ничего не узнали, – сказал помощник.

– Как так?

– Молодожены были. Ехали навестить родителей жены да наткнулись на нас. Мол, никого не видели, ничего не знаем.

– Где он?

– Да там и прикончили.

– Что так спешно? И ничего не выяснили?

– Так ведь отстреливался – бойцы злые были.

– А женщина?

– Она этого не видела. Ее раньше отправили.

– Думает, что муж жив?

– Да, наверно.

– Где она?

– Здесь.

– Как она?

– Все молчит. Пока не трогали.

– Давай ее. Сам начну.

Конвоир привел пленную – хрупкую молоденькую девушку с черными длинными косами и приятными чертами чуть удлиненного смуглого лица. Обхватив плечи тонкими, как у девочки-подростка, руками, она остановилась у порога. Видно, в одном платье ей было зябко. Поскольку не хватало людей на конвой, охрану и на прочие обязательные наряды, у пленных прежде всего отбирали теплую одежду, чтобы они не смогли сбежать. В этом случае мороз становился своего рода красным охранником.

Командир сделал знак, и конвоир с помощником вышли в сени. Теперь они остались вдвоем.

Командир подвинул к печке табуретку, сказал:

– Садись.

Она взглянула на табуретку, отошла от порога в сторону печки, но не села.

Тогда он налил чаю в кружку, поставил на край стола, подвинул нарезанный большими ломтями хлеб и деревянное блюдо с вареным мясом. Жестом гостеприимного хозяина пригласил:

– Ну, садись к столу, чайку попей!

Она не двинулась с места, но повернула голову к столу, посмотрела, как над кружкой струится пар от горячего чая, и с деланным равнодушием отвела взгляд в сторону.

– Не хочешь – как хочешь, – проговорил командир.

Он помолчал, потом начал задавать ей вопросы домашним голосом:

– Скажи, как тебя зовут?

Она молчала.

– Ладно, будешь Безымянной. Скажи, откуда родом?

В ответ молчок.

– Куда ехала?

Нет ответа.

– Откуда ехала?

Молчок.

– Кого видела в пути?

Молчание.

– Сколько вооруженных?

Все без ответа.

– Сколько безоружных?

Без ответа.

– Сколько селений проехала?

Нет ответа.

– Расскажи, не бойся, – почти ласково проговорил он. – Мы все равно скоро узнаем. Вот распогодится, полетят наши аэропланы – и все высмотрят с неба. Все занесут на карты, зарисуют на бумагу. От нас никуда не спрячешься, нигде не притаишься. Все небо над тайгой и тундрой исчертим-изрисуем, поэтому таиться нечего. Честных да мирных остяков не тронем. А кто сможет выловить бандитов – благодарность нашу получит. Так что подумай. Может, что и захочешь нам рассказать.

Девушка будто не слышала его слов.

Он немного помолчал. Оглядел, чуть сощурившись, ее стройное гибкое тело под тонким платьем, потом сказал:

– А ты... будешь ездить в моем обозе до тех пор, пока не заговоришь. Поняла?

Молчание. Он вытащил армейскую фляжку, плеснул спирта сначала в одну, потом в другую кружку, предложил:

– Раз чаю не хочешь, может, спирта со мной выпьешь?

Она опять промолчала.

Тогда он поднял свою кружку, медленно поднес к губам, выпил и вытер губы рукавом гимнастерки. Крякнул от удовольствия, перевел дух. Потом, чуть подавшись вперед, остановил взгляд на лице девушки и резко и отрывисто выстрелил вопрос:

– Где полковник?.. Белый!..

У девушки вздрогнули ресницы. Он откинулся на своем сиденье, расслабился и, потирая руки, с удовлетворением сказал вслух:

– А ты, оказывается, важная птица...

Дело в том, что ходили упорные слухи, что одним из руководителей восстания является белогвардеец, полковник генштаба царской армии, который остался здесь после окончания гражданской войны. Он и разрабатывал все военные операции остяков, обучал их военному делу, инструктировал, из подручных средств изобретал различные мины-ловушки и другие взрывные устройства, чинил поврежденное оружие, занимался снабжением боеприпасами. А база его якобы находилась в глубине лесов,

в верховьях остяцких рек, в районе православной русской церкви или лесной часовни. Там остяки заряжались верою, укрепляли дух. Молились, как они выражались, русскому Богу, просили у русского Бога помощи в борьбе против красных русских.

В том, что лесная часовня существует, Чухновский не сомневался. Ибо дед-остяк, которого взяли в заложники, прямо и без всякого страха объявил командиру-главарю: «Ты нас не победишь!» Командир спросил: «Почему?» Дед ответил: «Потому что нам помогают два Бога – остяцкий и русский. Мы молимся русскому Богу в русском Божьем доме». Это была чистая правда. Дело в том, что все старшее, дореволюционное, поколение было крещеным. «Славно поработали русские попы», – подумал командир. Остяки считали, что православная икона оберегает человека в доме и во дворе, а за их пределами вступают в силу их остяцкие боги. Так причудливо переплелись две религии. Вот и получается: какой Бог тебе нужен, к тому и идешь на поклон. Тогда командир попросил деда: «Укажи дорогу к Божьему дому». – «Нет, не укажу». – «Почему?» И дед-заложник пояснил: «Если я открою тебе дорогу, Бог меня накажет, и я умру». Командир сказал: «А если не покажешь, так от моей руки можешь помереть...» На что мудрый дед возразил: «Это уже как мой Бог решит, не от твоей воли зависит». Командир ему: «Я решаю, а не твой Бог!» Дед опять возразил: «А мой Бог поворачивает твой ум. Куда захочет, туда и повернет. Как Он захочет, так и сделаешь». Командир взялся за голову. Ведь он не жаловал перебежчиков и предателей, а деда за честность просто так не отпратишь, как они выражаются, в Нижний Мир...

Напасть на след полковника так и не удавалось. Впрочем, говорят, он не столько на своей базе или своем штабе сидит, сколько разъезжает и управляет восстанием. А выловить его трудно потому, что обличьем он похож на остяка, одет в малицу и кисы, знает язык и обычаи, изучил местность и приметы погоды, хорошо владеет различными видами оружия, а упряжкой управляет не хуже всякого оленевода или охотника. В военных операциях дерзок и непредсказуем. Поди, не одну академию закончил, не одну войну прошел. По другой версии, это даже не полковник, не генштабист, а боевой царский генерал. Но Чух-

новский называл его полковником. Когда терпел неудачу, чертыхался про себя: опять чертов полковник обошел меня.

Впрочем, Чухновский понимал: если бы полковника не было, то его бы придумали. Руководители-большевики и партийные агитаторы-пропагандисты всегда подчеркивали: Советская власть – это народная власть, стало быть, народ должен любить эту власть, но тогда отчего народ поднялся против этой власти? Отчего восстал? Говорят: это не народ, а кучка шаманов-кулаков, поднятая белым полковником. «Как бы не так», – рассуждал про себя Чухновский. Хотя он и был без военного образования, но зато практику имел большую и многие вещи понимал. Во всем выискивал корень. Если бы это была кучка, небольшая группа, то местные карательные органы сами бы с ней справились, не стали бы вызывать на помощь войско с аэропланами. Все намного серьезнее. Полковник знает свое дело, работает хорошо. На днях перехватили гонца, который направлялся в обские села поднимать народ. Там, в районе устья Казыма, проживают Молдановы, Новьюховы, Харамзины и другие остяцкие роды. Там у них еще сохранились шаманы и старейшины, которым предстояло принять решение об участии в восстании. А немного раньше в Березово был схвачен другой посланец, ехавший на Сосьву поднимать вогульские роды Анямовых, Гоголевых, Сайнаховых, Хозумовых, Шешкиных, Ромбандеевых... Это сколько народу-то будет! А если еще поднимутся низовье и верховье Оби?! Тогда уж за одну зиму никак не управиться. Если восстание перекинется на юг Западной Сибири, так и вовсе трудно предположить, сколько времени потребуется на подавление. Хотя там есть свои преимущества: транспортная система развита, маневрировать можно, быстро перебрасывать войска с одного места на другое, не то что в здешних непролазных снегах, лесах и болотах...

Видно, полковник выполнял функции штаба восстания, держал за ниточки. Чухновский понимал: уничтожить штаб противника – значит обеспечить себе полпобеды. Поэтому важно было выйти на его след или на того, кто заменяет его, будь он генерал, поручик или рядовой белогвардеец. На лесную церковь-часовню потребуются две связки гранат с аэроплана, а вот со штабистом придется повозиться, голыми руками его не возьмешь.

Похоже, спутник девушки мог бы вывести на него, но дурак Мингал-Мангал, как всегда, перестарался: раньше времени забили парня листовничными дубинками, которые придумал для устрашения и наказания восставших.

Трудность поиска заключалась в том, что каждый каюр-проводник хорошо знал только свою реку, свою вотчину. Он мог вывести на любую точку, указанную на карте, но в чужом хозяйстве не разбирался: ему было неизвестно, что и где расположено. Да к тому же по бездорожью далеко не уедешь. А тут, как назло, местами снег чуть ли не до шеи.

Но теперь появилась ниточка. Только тянуть ее надо осторожно, самому, без участия старательного помощника. Девушка что-то знает о полковнике, о белом. И он опять повторил свои слова-мысли вслух:

– Важная птица...

Потом, помолчав, с многозначительным намеком добавил:

– Если не заговоришь, можно уйти за своим спутником...

Война..

Она в первый раз вперила в него свои темные глаза – из них брызнул черный огонь ненависти. Она вспомнила, как, связав руки и ноги, ее бросили на нарту и увезли с озера. Выстрела она не слышала. Значит, не стреляли. Но когда упряжка тронулась, она краешком глаза видела, как красноармеец вытаскивал листовничную дубинку, какими, по слухам, красные забивают самых непокорных. Она все время надеялась, думала, что жив ее муж. Но теперь поняла, что его уже нет. И, стало быть, коль нет любимого, жизнь ей ни к чему. Ведь он пожертвовал собой ради того, чтобы спасти ее.

Глаза ее горели черным огнем. Она подошла к столу, взяла кружку со спиртом, поднесла ко рту, понюхала, сморщилась, подержала в руке. Постояла в раздумье, потом не спеша поставила кружку на стол. Постояла еще мгновенье. И вдруг молнией метнулась к командиру – и ударила его ножом в живот. Удар был настолько неожиданным и резким, что командир опрокинул стол и плюхнулся на лавку возле стены. На грохот в избу вбежал Мингал, выбил из руки девушки нож, схватил ее сзади за волосы, задрал ей голову и к виску приставил револьвер. Застыв в этой позе, уставился на командира. Ждал приказа. А командир

сидел, оторопело прижав обе руки к животу. Наконец он опомнился, осторожно, опустив глаза, отнял сначала одну руку, потом другую. Крови не было, кишки не вывалились, остались на месте. Удар пришелся на пряжку ремня – кончик ножа обломился, не причинив вреда.

Командир поймал огненные глаза девушки, потом перевел взгляд на помощника. Тот подобострастно ждал знака, когда можно будет нажать на курок. В доме повисла жуткая тишина. Командир все молчал. Возможно, соображал, что же его спасло: армейская пряжка или перекаленный кончик самодельного охотничьего ножа, почему-то не изъятый при аресте. Наконец он мотнул головой, глухо приказал:

– В обоз!

Потом добавил:

– С-мотри!..

Это означало: с нее не спускать глаз и без его ведома к ней не прикасаться.

Помощник Мингал резко повернул девушку и, подтолкнув в спину, вывел ее в открытые двери, ведущие в сени, точнее, в караульное помещение.

Красноармеец-конвоир печально и, кажется, с сочувствием взглянул на ее бледно-прекрасное в гневе лицо.

После того как дверь закрылась, командир налил себе в кружку спирта и одним залпом выпил. Посидел неподвижно, ожидая мгновения, когда тепло начнет разливаться по телу. Вот и согрелось нутро. Тогда он крикнул часовому через закрытые двери:

– Машку давай!

Та пришла румяная от мороза, с медицинской сумкой, поздоровалась и весело спросила:

– В чем нужда, товарищ командир? Без всяких предисловий он брякнул:

– Ты у меня сегодня на вертеле будешь вертеться.

– Вертело бы вертело! – беззаботно откликнулась Маша.

– Не боишься?

– Вот еще! – фыркнула она.

– Такая храбрая?

– Что я, мужиков, что ль, не видела! – в тон ему ответила она и захохотала, уловив на его лице тень легкого замешательства.

«Вот девка: ничего ее не пугает», – подумал он. И молча снял с ее плеча сумку с медикаментами.

А девушка-пленница с этого дня со связанными ногами и с постоянным охранником-конвоиром станет мотаться по всем тропам-дорогам войны, куда бы ни двинулись красные, потому что глава войска, командир, хозяин-владыка, может затребовать ее к себе в любое время дня и ночи. И никому, даже самому Господу Богу, неизвестно, какая судьба ее ждет.

Глава 7

Ехала Матерь Детей, потихоньку погоняя оленей. Мгновения медленно наматывались на клубок ее жизни. Мысли ее ходили то вперед, то назад. Потом она вспомнила, как несколько лет назад в селении впервые появился чудной русский. Белый. Отец Детей подобрал его посреди болота в зимнюю весну, в середине Месяца Вороны, когда снег уже всю стал подтаивать и на чистине проклюнулись вершинки кочек, а на бору вот-вот должны были появиться первые проталины. Но тут неожиданно запуржило, и на два дня Верхний и Средний Миры напрочь смешались: не поймешь, где небо, где земля. Когда пурга улеглась и Отец Детей поехал проверить и вытащить на лето морду на болотной речушке, он наткнулся на человека. Тот, припорошенный снегом, лежал ничком на санной колее. Перевернул его. Обмороженное, почерневшее лицо. Обтрепанная шинель. В руках зажата винтовка. Он напоминал мертвеца, но жизнь в нем еще теплилась, и охотник уложил его на свою нарту, привез домой.

– Это кто? – спросила Матерь Детей.

– Белый Человек, – ответил муж.

– Откуда узнал?

– При нем винтовка была.

– А-а...

Белого переодели в сухое, с трудом влили ему в рот теплый бульон и уложили в постель. Он был без сознания: то бредил и, бормоча, отдавал какие-то отрывистые и невнятные команды, то успокаивался и надолго затихал. Хозяйка дома изредка поглядывала в его сторону, ничем внешне не выдавая своей тревоги.

А было отчего беспокоиться: кто знает, что у незнакомца на уме. Особенно в эти смутные времена.

В доме знали по слухам, что закончилась война между белыми и красными. Красные взяли верх. И белые спасались кто как мог. Одни с Большой Оби уходили прямо на Север, в тайгу и тундру, где красные не могли их достать, и там мирно оседали среди остяков, обзаводились семьями и оленями, обучались промысловому делу. Другие добирались до самого побережья Холодного Океана, а там сворачивали на запад или восток. Третьи из лесов делали набеги на красных и, пострашав тех, снова возвращались в тайгу. Правда, не было таких случаев, чтобы они ссорились с остяками или нападали на них. И тем не менее за каждым новым человеком нужен глаз да глаз. Это не повредит дому.

Окончательно же хозяйка успокоилась лишь после того, как Белый очнулся и, скосив впалые глаза, долго смотрел на висевшую над ним икону Божьей Матери, а потом слабой рукой молча попытался осенить себя крестным знаменем. Женщина поняла, что этот человек с Богом в душе, стало быть, нечего опасаться. «Верховный Отец присматривает за ним», – подумала она.

Потом Белый молча отыскал взглядом хозяйку дома и, показав глазом на икону, спросил тихо и хрипло:

– Откуда?

– Из Божьего дома, – ответила Мать Детей.

После этих слов Белый снова уснул и спал очень долго. Раны его смазывали медвежьим жиром. Поили отваром трав. Силы ему возвращали медвежьей горькой.¹ Мать Детей заносила с улицы это застывшее в лед снадобье, скалывала маленький кусочек и заставляла глотать, а уж потом запивать водой. Проглотить льдинкой – не так горько. Позже, с приходом тепла, достали высохшую в порошок желчь, щелотку которой брали острым кончиком ножа и насыпали в блюдце с чаем. Лекарство было жгуче-горьким, но полезным.

Пробуждаясь, каждый раз он поднимал глаза и крестился на икону, а потом долго и молча смотрел на нее. Ежеутренне он словно проходил по трем мирам: из мира сновидений переби-

¹ Горькая – иносказательное название медвежьей желчи.

рался в мир Божьей Матери, а оттуда – в мир людей. И в Божьем мире пребывал ровно столько, чтобы получить необходимые силы для продолжения жизни на земле в эти смутные времена. После он долгим взглядом обводил дом, как бы заново открывая мир людей, и снова закрывал глаза, молча слушал. Слушал неведомый и странный мир остяков. По голосам он теперь узнавал всех домочадцев. Хозяйка дома, хозяин дома, дети. На улице лают собаки. Олени хрустят снегом, стучат копытами, вороны радостно каркают. На улице весна, звенит капель, там солнце – солнце, похожее на Божью Матерь. На Божью Матерь в золотом окладе.

Больше всего его занимала икона. Как она попала сюда? Зачем язычникам православная икона? У них же свои боги, размышлял он.

С Божьей Матери он перевел глаза на хозяйку. Она сидела в своем углу и, держа на правом бедре младенца, кормила его грудью. Голова ее с ровным пробором черных волос, сплетенных в две косы, прикрытых цветастым платком, была высоко поднята. Со строгим и непроницаемым выражением она смотрела на тихо бормочущий в чувале огонь. Сидела она неподвижно, словно была высечена из камня. Потом, когда младенец оставил грудь и шевельнулся, она очнулась от своих потаенных мыслей, чуть заметно улыбнулась огню за тепло и склонила голову над дитя, повернув его лицом к очагу. С живою любовью и нежностью она глядела на него. В это мгновение она точь-в-точь напонила Божью Матерь с иконы в золотом окладе, она была так же красива и добра. Но промелькнуло мгновение, и она чмокнула дитя в щечку и, осторожно встряхнув, поставила на ноги.

Белый Человек все молчал. Долго-долго молчал, глядя на таинственную икону. Почувствовав его интерес к ней, хозяйка как-то вечером неторопливо рассказала историю этой иконы.

«А попала она к нам в давние-давние времена, – сказала Мать Детей. – Сказывают, еще во времена царя Петра. Прислали в Сургут нового князя-воеводу. Привез он с собой молодую да красивую жену, княгиню, которую от себя далеко никогда не отпускал. Как-то плыл он на большой лодке с казаками, да, приустанав, причалили к берегу, остановились отдохнуть да пообедать. Там их выследили самоеды и неожиданно напали на них.

Промышляли они набегами на наши земли, грабили селения и увозили молодых женщин и девушек. Завязалась схватка. Побили друг друга, но князь-воевода все-таки одержал верх, победил. Самоеды отступили и умчались на легких обласах-калданках. Тут хватились: а княгини-то нет. Подумали, что в суматохе боя самоеды ее захватили и увезли с собой. Князь снарядил новый отряд казаков – да за ними. В конце концов догнали разбойников, но женщины среди них не оказалось.

Закручинился князь-воевода.

А дело было к концу лета, в пору поспевания черемухи и смородины. Наша прабабушка Анна, в те годы молоденькая девушка, собирая ягоды со своей матерью в приречных зарослях, наткнулась на искусанную комарами, обессиленную от голода княгиню. Привезли ее домой, травами да отварами напоили-накормили, в чувство привели, обогрели-приютили. Прабабушке она так понравилась, что ни на шаг от нее не отходила – все ухаживала за ней, как за маленьким ребенком. Оказалось, что во время нападения, когда на нее нацелился главарь самоедов-разбойников, чтобы схватить и бросить в облас-калданку, она с такой прытью бросилась в чащу, что никто не смог ее догнать. Бежала она до тех пор, пока не упала в изнеможении. Несколько дней и ночей блуждала она по лесу. Спаслась от самоедов, так потеряла своих.

Когда она поправилась, отвезли ее в Сургут. Князь-воевода будто заново родился – так был рад спасению жены. А княгиня пожелала, чтобы Анна погостила у нее в доме. Да так она у нее и осталась. Нарядилась в русские одежды, а княгиня научила ее читать книги и говорить на других иноземных наречиях.

Прошло сколько-то лет. Царь отозвал своего князя-воеводу в столицу. Прабабушка Анна не захотела оставаться в городе без княгини, вернулась в родительский дом, на реку Тромаган, то есть Божью Реку. Там, недалеко от устья, находились их родовые угодья. Привезла с собой обитый железом сундук. В сундуке были одежда, книги Божьи и икона Божьей Матери. Княгиня, прощаясь, поцеловала нашу Анну и сказала: «Да хранит тебя и твой род Божья Матьер многие лета!»

Дома Анна долго печалилась и молчала. Целыми днями перелистывала божественные книги и смотрела на икону. Видно,

молилась, разговаривала, беседовала с Божьей Матерью. Родители ей ни в чем не перечили и против иконы ничего не имели. К тому времени русские священники окрестили уже всех остяков, и в каждом доме была икона. Удивительно сплелись две веры – православная и остяцкая. Считалось, русская икона охраняет человека от нечистой силы только внутри дома, поблизости от него. А за пределами дома человек находится во власти языческих богов и богинь.

Как-то вечером, глядя на икону, Анна вздрогнула, замерла на мгновение, а потом посветлела лицом. На другой день она переоделась, городскую одежду сложила в сундук и принялась помогать матери по хозяйству. Спустя какое-то время она родила сына. Мальчика в роду прозвали Городским Человеком. Он рано научился ловить рыбу, охотиться на зверей и птиц, пасти оленей, отражать набеги разбойных самоедов. А когда состарился, его стали называть Городским Стариком. Он народил семерых сыновей и четверых дочерей и прожил до глубокой старости.

Сказывают, от княгини-воеводши приходило письмо. Будто бы она написала, что князь-воевода во главе войска ушел на войну с чужестранцами, пришедшими завоевывать русскую землю, и пал на поле брани. А у нее-де, у княгини, растут дочка да сын, славные дети. И все они втроем вспоминают ее, спасительницу Анну, и молятся за ее здоровье. В конце послания, сказывают, приписка была: «Да хранит тебя, Анна, Божья Матьер!»

Прабабушка Анна многожды перечитывала письмо и потом прятала в сундук среди божественных книг. Она тоже прожила долгую жизнь. Видно, и вправду ее хранили молитвы княгини и Божья Матьер. Будто бы она занемогла на сто первом или сто втором году жизни. Сказывают, она взяла в руки икону и спросила:

– Как с тобою быть, Божья Матьер?

И долго и терпеливо ждала, что Та скажет. Потом, видно, получив ответ, позвала самую младшую внучку и передала ей икону со словами:

– Пусть она тебя хранит, Мария! – Потом, помолчав, добавила: – Когда придет мгновение твоего ухода, передай Ее самой младшей дочери или самой младшей внучке!

Так она досталась нашей бабушке Марии. Она тоже прожила не короткую жизнь. Потом перешла к моей маме Дарье, в род Тэвлиных. Они тоже жители Тромагана, Божьей Реки. Но мама перебралась на другую реку. Вышла замуж за моего отца Савву, он из рода Покачевых, что в нижнем течении Агана. Это был ее первый дом. Но папа наш ушел из жизни. Потом она вышла замуж за человека из рода Сардаковых в верхнем течении реки. Сейчас у нее голова побелела, как перо халея. По ее словам, она тоже прожила долгую жизнь. И, надеюсь, проживет еще немало лет и зим...»

Мать Детей помолчала.

«...Но потом, с приходом красных, что-то случилось то ли с иконой, то ли с нашей жизнью, – печально заговорила она после паузы. – Все пошло вперекос, будто течение жизни повернулось в другую сторону. Вскоре после замужества заболела и умерла моя средняя сестра. Потом младшая вышла замуж, родила мальчика и тоже умерла, оставив сироту. И мама, вместо самой младшей в первом доме, передала икону мне, старшей дочери. Вера, сказала мне мама, пусть Божия Мать оберегает тебя, присматривает за тобой, за твоим домом. Жизнь у меня, как и у сестер, получилась не очень складная. Моего первого мужа Степана «русские увезли», как у нас говорят, и сгинул он сразу после революции бесследно. Шаманом он был, вот люди и попросили его узнать судьбу новой власти. Он пошаманил и сказал: «Слышу, вижу, идет Огонь, который спалит красных!...»

Вот за эти слова и поплатился он своими земными днями. За то, что пророчил красной власти недолгий век. От него у меня двое старших детей осталось – да теперь они уже самостоятельные, почти взрослые. Всего-то от первого дома было трое детей. Один, Константином окрестили, во младенчестве умер».

Замолчала, закончила свой рассказ хозяйка дома. И, вздохнув тяжело, взглянула на древнюю икону. Может быть, в эту минуту, вспоминая своих преждевременно ушедших сестер, она про себя молилась Божьей Матери, чтобы Та была более благосклонна к ее дому и семейству...

Глава 8

Слушая историю о Божьей Матери, Белый то ли впал в забытие, то ли погрузился в сон. Очнувшись, размышлял о своем прошлом и будущем, долго молчал, потом тихим голосом обратился к хозяйке дома:

– Вас ведь, как я понял, Верой Саввичной зовут?

Она непроизвольным движением платка прикрыла лоб, глянула в его сторону через головку младенца и негромко ответила:

– Да, верно, по-русски будет так.

– Что, есть второе имя?

– Да, еще Матерью Детей зовут. – Помолчала, потом добавила: – Так зовет мой муж, Отец Детей.

Белый задал новый вопрос:

– А имена-то у вас русские?

– Так ведь нас крестили русские попы.

– А-а, да.

– Помню, каждое лето приезжал поп...

– Это до прихода красных? – уточнил он.

– Да, в царское время. Поп крестил младенцев, что за зиму пришли на эту землю. А потом взрослые вставали перед иконой, крестились и говорили непонятные слова на русском языке. Мне слышалось так: «Осподи, по-мило-о-ой!» Уже потом, когда стала старше, узнала, что означают эти слова. А тогда мы, малые дети, побаивались батюшки-попа. Он был с бородой, весь в длинных волосах, в черных одеждах. Мы прятались за постелями, уложенными вдоль нар в доме. И все же любопытство брало вверх – высовывались из своих укрытий, подсматривали, что же делает поп. А наиболее озорные ребятишки еще и подсмеивались, если смешинка попадала в рот. Вот так навещал нас батюшка каждое лето...

Белый молча слушал.

В дом вошел Отец Детей. Вместе с ним с улицы нахлынула свежесть весеннего утра с запахом распускающихся почек и тающего снега.

Сели завтракать. Белый сказал, обращаясь к хозяину:

– Поправлюсь и уйду.

Хозяин отхлебнул чай из блюдца и издал неопределенный звук:

– Хм-м...

Белый помолчал, потом добавил:

– Незванный гость – я все понимаю... Хозяин чуть улыбнулся уголками губ и,

упреждая невеселые мысли-рассуждения гостя, успокоил его:

– Про это дело не беспокойся – не мы тебя кормим-поим...

– А кто же?

Хозяин кивнул в сторону неба:

– Наш Верховный Отец.

– Каким образом?

Хозяин удивился наивному непониманию простейших истин, но виду не показал, а терпеливо начал растолковывать:

– Он пошлет в мои сети-невода лишнюю рыбку, на мои стрелы-пули – лишнюю птицу и лишнего зверя, в мое стадо – лишнего оленя. Для гостя, а ты у нас гость. Он прибавит мне немного удачи во всех делах. Он высоко сидит – далеко видит...

Женщина дополнила слова мужа:

– Все видит, все знает.

– Хороший Отец, – улыбнулся гость.

– Хороший-хороший, – согласился хозяин.

– Да, все может, – подтвердила женщина.

– Ему спасибо! – поблагодарил гость. Хозяева молча переглянулись. И гость по их выражению понял, что он поступил совершенно правильно, выразив благодарность не им, а Отцу в небесах.

Все удовлетворенно замолчали – и гость, и хозяева. Все они, очевидно, думали об одном и том же – о том, кто наделяет удачей, кто оберегает дом, кто плететнашептывает долгую и счастливую жизнь...

Потом гость, видя, что хозяева ни о чем его не спрашивают (у них это не принято), сам рассказал о своих дорогах-путях, слегка кивнув в сторону, куда направлялся: – Иду на север.

Хозяин выдержал нужную в таких случаях паузу, потом деликатно, из приличия, осведомился:

– Далеко ли?

– Да уж недалеко. С севера поверну на запад, дойду до Финляндии. Оттуда перееду в Скандинавию. А там уж доберусь до Европы...

– Дорогу знаешь?

– Дорогу-то найду. Здесь люди подскажут, а там уже места знакомые.

– Кто у тебя там, в этой... как ее?..

– В Европе-то?

– Да-да.

Семья должна быть...

Хозяин долго молчал, размышляя над услышанным, потом сказал гостю:

– Сейчас далеко не уйдешь.

– Знаю.

– Потому как распутица.

– Распутица не вечная.

– Летом далеко тоже не уйдешь.

– Да догадываюсь.

– Много озер и рек, много воды.

– Лето тоже не вечное.

– Верно, лету тоже приходит конец, – согласился хозяин.

Хозяин помолчал, словно мысленно примерил на себе предстоящие тропы-дороги путника, и, выдержав долгую паузу, сказал:

– Сначала здоровье надо вернуть...

Гость согласился:

– Да, надо...

Белый выздоравливал медленно. Был он бледным, под прозрачной кожей, казалось, высвечивалась каждая косточка. По утрам, перекрестившись на икону, он медленно умывался, затем крохотной половинкой расчески поправлял усы цвета осыпающейся лиственницы и такого же цвета волосы и только после этого садился за стол.

На мир он смотрел грустно, глубоко запавшими узорчатыми, то есть голубыми, глазами. Всех русских остяки обычно называли узорчатоглазыми, поскольку большинство из них обладали очами небесного цвета. А среди остяков почти не попадалось голубоглазых.

Когда Белый ни на кого не смотрел и как бы уходил в себя, из его узорчатых очей выплескивалась тоска. Всем в доме, кто видел это, становилось тоскливо. И хозяйка разговорами стара-

лась отвлечь его от тоскливых дум. Но лучше всего отвлекали его младшие дети, особенно Роман. Мальчик лез к нему со своими игрушками, с любопытством рассматривал его необыкновенного цвета усы и волосы, пытался дотянуться до них, потрогать руками. У Белого оживали глаза. Костлявой рукой он проводил по черной головке мальчика и говорил:

- Зови меня Петром Николаевичем или дядей Петей.
- Дядя Петя, дядя Петя... – нараспев тянул мальчик.
- Молодец, – похвалил Белый. – Ты хороший ученик. Сразу запомнил и выговорил.
- Петя-петя, – бормотал мальчик. – Петя-петя-петя...
- Что, имя понравилось? – спросил Белый.
- Не-е, – сказала Матьер Детей. – Это он здороваается.
- Почему здороваается?
- На нашем языке почти так звучит слово «здравствуй», – пояснила женщина.

– Чудно! – удивился гость.

Потом он повернулся к мальчику и, показав на свои усы, спросил:

- А ну-ка, Ромка, скажи, что это такое?
- Ромка на родном языке отвечал:
- Туш.
- Ага, понятно. А по-русски будет «ус». Понял?
- Мальчик с удовольствием повторил новое слово:
- У-ус!..
- Правильно. А это что такое?
- И он прикоснулся к своим волосам.
- Опт, – бойко отвечал мальчик.
- Ага, понятно. А по-русски будет «волос».
- Волос, – повторял ученик. Белый прикоснулся к глазу,

спросил:

- А это как будет?
- Сам.
- Глаз.
- Сам.
- Глаз.

Белый сделал паузу, вздохнул, похвалил мальчика:

– Молодец, Ромка: из тебя вырастет хороший учитель!

Мальчик поправил его:

- Я не Ромка, а Роман.
- Хорошо, Роман так Роман.

Так Белый учился остяцкому языку, а Роман русскому. И уже непонятно было, кто у кого учится – то ли большой у малого, то ли малый у большого. Пойми, кто учитель, а кто ученик. Потом к братику присоседилась сестричка Анна. Уже вдвоем они хором отвечали на вопросы гостя и вместе спрашивали, как называется тот или иной предмет по-русски. Эта игра им явно пришлась по душе.

А после, когда Белый стал чувствовать себя намного лучше, он коротким карандашиком вывел на листочке знак и сказал:

– Это буква А.

Роман охотно повторил:

– Это буква А.

Повторила и Анна:

– А.

На другой день Белый написал У, затем М, потом пошли другие буквы алфавита. И дети сами начали рисовать их. Бумаги, видимо, не хватало. Писали на белых дощечках-срезках, что подбирали на уличной мастерской отца, где тот изготовлял разные деревянные инструменты и другую домашнюю утварь. Писали карандашиком, который называли пишущей палочкой или просто короткоклювым.

Как-то вечером, глядя на старательно пишущих детей, хозяин поинтересовался у гостя:

– Вы, наверно, учитель?

– Нет, не учитель, – ответил Белый. Как и хозяева, он уже привык неспешно выражать свои мысли. Выдержав нужную паузу, добавил:

– Вообще-то солдат умею учить.

– И детей тоже умете учить, – сказала женщина.

– Это я вспомнил, как учили меня. И как учили азбуке моих детей.

– А-а-а... – понимающе сказала хозяйка.

Все в доме замолчали, ожидая следующих слов гостя. И Белый, почувствовав это, повторил:

– Да, военному делу могу обучить...

- Значит, война увела из дома.
- Точнее, к вам меня привела боль... Белый прижал ладонь правой руки к груди, как бы унимая боль, повторил:
- Сюда меня привела боль...

Он помолчал, потом неторопливо заговорил о своих корнях. По отцовской линии он скандинавского, финно-шведского происхождения. Оттуда в очень давние времена его предки попали в Россию. Говорил очень скупое. Про своего отца сказал, что он тоже был военным, ходил в японскую. Дед защищал Крым, а прадед участвовал в войне против Наполеона. Таким образом, все его предки были военными. Все воевали. Точнее, Россию, свое Отечество, защищали от врагов. Сам он тоже принимал участие в войне, воевал с немцами. Это было совсем недавно. Про эту войну еще помнят.

Но боль в душе рождает не только война...

Глава 9

Боль кольнула его душу в то мгновение, когда он узнал, что российский государь Николай Александрович отрекся от престола. Он еще ничего не мог понять и осмыслить, а только интуитивно почувствовал, что Россия погибла, что у него теперь нет родины, что у него нет отеческого дома. И его самого как бы тоже не стало. Вдруг улетела куда-то душа вместе с болью, улетелись куда-то мысли. Почему такое произошло с ним? Почему боль так резко ударила его? Может быть, потому, что он очень хорошо понимал и чувствовал, что случилось. Ведь Николай Александрович был не просто государем-императором. Для истинного русского он был больше, чем просто царь.

Государь – это символ России, государства, нации, русского народа, символ веры. Государь – это наместник Божий на земле.

И тот, кто замахнулся на него, замахнулся на русский народ и на Бога, замахнулся на Российскую государственность. Поэтому он так близко принял к сердцу отречение царя.

Потом зародилась надежда: может быть, Россия еще не погибла, пока жив император?.. А император жив, только сослан вместе с семьей в Сибирь, в Тобольск. Стало быть, чтобы спасти Россию, надо спасать императора. И он поехал к нему, поехал за ним, чтобы помочь ему спастись, помочь остаться в живых. Его

надо было вывезти вместе с семьей в безопасное место, где он смог бы пережить это смутное время.

Это стало его главной целью жизни. От исхода дела зависела не только судьба его, русского офицера, но прежде всего судьба России, всего русского народа. А свой народ он хорошо знал. Русский не может жить без царя и без Бога в душе. Во всяком случае, долго не протянет. Без Бога и царя в нем просыпаются самые низменные страсти. Он становится разбойником, бандитом, вором, начинает все крушить на своем пути и в конце концов уничтожает самого себя. А разве мы для того родились, чтобы уничтожать себя? Разве для этого много веков обустроивали и оберегали свое Отечество? Нет, не для этого.

И он ехал с надеждой, что принесет спасение своему Отечеству и своему народу. Ехал он долго, ехал очень медленно. Дорога была длинной и опасной, особенно для царского офицера, который все еще гордился своей родиной и сохранил чувство собственного достоинства. Да еще в пути угораздило его угодить к красным, в ЧК.¹ Чего он там только не насмотрелся. Одному юнкеру на его глазах... Нет, об этом лучше не стоит вспоминать... Из рук чекистов его вырвала армия Колчака. Отделался он довольно легко – несколькими поломанными ребрами и сединой в волосах.

Но как он ни спешил, как ни торопился, все же опоздал. Не успел. Перед самым его приездом в Екатеринбург красные, припешники сатаны, расстреляли государя. Уничтожили его семью. И тогда он понял: это конец. Окончательно погибла Россия. Пропала Россия. И вместе с ней пропал и русский народ. Надежды на спасение рухнули. И жизнь его утратила всякий смысл. Ему хотелось умереть. И умереть достойно. Он не боялся смерти, но был не настолько слабым человеком, чтобы взять и просто застрелиться. Ведь все его предки были военными. И если умирали, то погибали в бою, защищая свое Отечество. Отец воевал с японцами. Дед принимал участие в Крымской кампании 1854–1855 годов, защищал Севастополь. Прадед сра-

¹ ЧК – сокращенное название Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией в 1917–1921 годах. Позднее – ОГПУ, НКВД, КГБ.

жался с Наполеоном. И ему следовало, сохранив традиции, погибнуть в бою и кануть в небытие вслед за погибшей Россией. Так он пришел к Александру Васильевичу, Верховному главнокомандующему в Сибири, с которым был давно знаком. Вступил в его армию. Ходил в атаки, лез в самое пекло, но пули обходили его стороной. Если и задевали, то как бы ненароком, слегка царапали его мертвеющее тело. Физических страданий он почти не чувствовал, поскольку болела душа, и душевная боль за гибель страны затмевала все остальное. Но при этом он старался до конца остаться человеком, хотел сохранить человеческое лицо, лицо русского человека. В спину никому не стрелял, безоружных не трогал. А в бою был на равных с противником: или он мог убить, или его самого. Тут уж кому как повезет. Красные убивали его, он убивал красных, точнее, русские убивали его, и он, русский, убивал русских. Это была гражданская война, кровавая война. Видит Бог, он не хотел участвовать в ней, ибо знал, что победы не будет и Россию из бездны не вытащить. Но, однако, в ожидании конца попал в водоворот войны, а конца все нет и нет. Пуля его не брала, осколки не находили, клинок не доставал. А между тем русские без царя озверели, утратили человеческий облик. Красные, обезумев, озверев, будто в каменном веке, разрывали своих врагов на части, устраивая кровавые пиры, возвели убийство в ранг человеческой морали. Впрочем, белые потом тоже ожесточились.

Но, в конце концов, он дождался своего – пуля ударила его в грудь во время атаки. Сгоряча пробежал еще несколько шагов, а потом уткнулся лицом в мокрую грязную землю, вдохнул в последний раз запах прелых листьев и с мыслью в гаснущем мозгу, что погибает на поле боя, потерял сознание.

Выходила его семья сельского священника. Как выяснилось, пуля прошла навылет, не задев сердца. Значит, судьбе угодно, чтобы он еще походил по белому свету. Лечили его в основном молитвами, поскольку лекарств в деревне не было.

Пока он встал на ноги, утекло немало воды и случилось немало событий. Александра Васильевича уже не было в живых: красные расстреляли его, а остатки его частей оттеснили на Дальний Восток, в Приморье. Завершалась гражданская война.

Точнее, кровавая бойня русских с русскими. И оказалось, что опять он никому не нужен.

Царя, которому он присягал служить верою и правдою, нет. Царя растерзали. России, которую он обязан был защищать, тоже нет. Российское государство рухнуло. Дома своего у него не стало. Имение разграбили озверевшие мужики, а библиотеку и картины сожгли. Слава Богу, хоть семья успела уехать в Европу.

Залечивая раны в доме священника, он много размышлял о том, ради чего и кто затеял эту кровавую бойню. Ради чего? Кому это нужно? Кто и что получил от российского разора? Время у него было, размышлять никто не мешал.

«Ради чего?» Этот вопрос мучил его больше всего. Ради чего проливалось море крови, отнимались миллионы жизней, разрушались дворцы и храмы, уничтожались картины и книги? Ради чего так рьяно и жестоко русские убивали русских?.. И по всему выходило, что все это было сотворено ради того, чтобы небольшая группа каких-то проходимцев получила власть, села в Кремле и правила обезглавленным и обезличенным русским народом, точнее, тем сбродом, что остался от народа. Ибо лучшую часть народа, что имела высокую душу, прикончили в пору кровавой бойни. На главу Российской державы замахнулись не те, кто хотел блага своему отечеству и народу, а те, кто хотел получить власть для удовлетворения собственных амбиций и набивания живота себе и своим близким.

Он знал историю. Ни одна революция не принесла блага ни государству, ни народу. Революционная верхушка завязнет в вечной борьбе за власть. Она сама, разделяясь на группки, начнет пожирать себя. Первых уничтожат вторые, вторых – третьи, третьих – четвертые. И так бесконечно. Разница только во временных интервалах. Это могут быть месяцы, годы или десятилетия. Захочется править кухарке и сапожнику, уголовнику и вору, душевнобольному и прочим. Жизнь народа и дела государства никого не будут интересовать. Россия рухнула в эту бездну. При государе это было бы невозможно. Поэтому его и растоптали.

Кому это нужно было? Конечно же, не друзьям России. Когда он воевал против Германии, то знал, что она не победит. Победить русского, защищающего свое Отечество, невозможно.

Впрочем, нельзя победить любой народ, обороняющий свою землю. Немцы не могли одолеть русских лоб в лоб. Но они оказались намного коварнее, чем он мог предположить. Они взяли не в лоб, а с тыла. Когда немцы поняли, что пушками и штыками русских не взять, они вложили свои деньги в большевиков, которые успешно разрушили российскую державу изнутри.

Ничего не скажешь, хорошо было придумано. То, что не смогли сделать немецкие солдаты, сделали красные большевики. Они заставили русских воевать с русскими. Если в 1914 году он, русский офицер, шел на немца, то теперь наставил винтовку на красного русского, который стал выполнять кровавую работу немецкого захватчика. Никто и никогда в истории человечества, пожалуй, так ловко не воспользовался российской доверчивостью и добротой, вернее, доверчивостью и человечностью русского государя Николая Александровича.

Много чего достанется нашим врагам от российского разора. Во-первых, нет Российской державы. Великой державы. Стало быть, кто-то другой займет это место. Во-вторых, можно запустить руку в российский карман — это земли и недра. Если одна верховенствующая группа в Кремле этого не позволит, можно поставить другую. Если с другой не договориться, можно поставить на третью. Для этого все уже подготовлено. В-третьих, нет больше совестливого русского народа. Точнее, уничтожена его совесть.

Рана его зажила, но душевная боль не проходила. Он все еще жил вопреки желанию, точнее, существовал. Без царя, без Родины, без дома. Вспомнил о семье. Она, как ему казалось, уже могла обходиться без него: дети подросли, крыша, хоть и на чужбине, у них была. А он все думал о России, о ее бесславном конце... Война закончилась, а он все еще живой, все еще дышит, ходит по земле, обильно политой русской кровью, кровью белых и красных. И эта окровавленная земля жгла ему пятки. Еще в доме священника, прислушиваясь к молитвам хозяина, пришел к мысли, что надо бы помолиться за своих товарищей, погибших за Россию на поле брани. Но немного позже он понял, что в первую голову нужно денно и нощно молиться за безвинно убиенного русского государя и его детей. Может быть, на том свете

их души обретут покой и немного полегчает им в загробной жизни.

«И моя вина есть в том, что все они преждевременно погибли страшной мученической смертью, — вздохнул Белый. — Моя вина в том, что я вовремя не приехал, не сумел их спасти, не успел поднять всех тех людей, кто помог бы им выжить».

Так легло на нас страшное клеймо народа-цареубийцы, страны-цареубийцы.

Глава 10

Когда Белый встал на ноги, первым делом попросил у хозяина топор и пилу и, как одержимый, с утра до вечера начал работать. Сваливал молодые прямоствольные сосны, раскряжевывал их и старательно, переворачивая с одного бока на другой, подходя то с комля, то с вершинки, ошкуривал каждое бревнышко. Теперь они напоминали статуи, но безжизненные. Потом, как бы вдыхая в каждое вечную жизнь, бережно брал на руки и укладывал в один ряд на нетолстую лежку-слегу. Своим дыханием и руками он не спеша оживлял их. Легкий теплый ветерок и яркое весеннее солнце быстро вытягивали из них влагу, облегчая и покрывая, как золотистым загаром, тонким слоем янтарной смолы. Теперь они напоминали сказочных лесных фей, стыдливо загорающих на белягельном бору под сенью золотисто-зеленых сосен.

Поздно вечером он входил в дом, ужинал и сразу забывался беспробудным сном. Утром он быстро завтракал и молча уходил в бор к своим белотелым лесным феям. А когда наступило время белых ночей, он и после ужина стал уходить на свое дело. И, бывало, к концу ночи, ближе к утру, засыпал там, прислонившись к стогу зеленых сучьев.

Стал он сосредоточенным, замкнутым, молчаливым, если не сказать — угрюмым. Во всех его жестах и движениях появилась загадочность, непостижимая таинственность. Даже дети не стали к нему приставать с вопросами.

Как-то Мать Детей все-таки спросила мужа:

— Что он там задумал?

— Хорошее он задумал, — ответил Отец Детей.

— Что же?

- Божий дом возводит.
- Божий дом?!
- Да.
- Русский Божий дом?
- Русский.
- Молиться будет?
- Да.

Хозяева немного помолчали. Потом муж сказал:

- И мы вместе с ним помолимся русскому Богу. После прихода красных я ни разу в Божьем доме не был, - проговорил муж.

- Красные, говорят, все Божьи дома порушили.

- Да все-то не могли порушить, - как бы размышляя вслух, сказал муж. - Может, в термне¹ и сожгли, а вот в Сургуте-городе так быстро не расправятся с Божьим домом. Там он прочный, крепкий, из хорошего камня, хорошего кирпича. Сам бывал там, сам видел...

- Даже если и сохранился, красные все равно туда не пустят.

- Это так, не пустят.

Белый в лесу возводил часовню. Внутри - четыре шага в длину и четыре шага в ширину. В высоту - четыре аршина, или двенадцать лесных фей. Башенка-колокольня с четырьмя квадратными окошечками на четыре стороны света в два аршина в высоту, или восемь фей. И все это над четырехскатной крышей, покрытой берестой и колотым тесом.

Часовню он возводил сам, только класть верхние венцы и крыть крышу взялся помогать ему хозяин, Отец Детей.

Когда строительство было закончено, когда одноглавая часовня прочно встала на землю, над ней поднялся крест. Белый попросил Отца Детей выстрогать семь прямоугольных дощечек, размером чуть меньше столика на одного человека. Потом ему понадобилась краска. И Мать Детей помогла ему отварить краску из коры лиственницы. Именно таким светло-коричневым отваром женщины красили одежду, обувь, упряжные ремни и украшения из ровдуги.

¹ Термнь - так остяки в старину, вплоть до установления власти красных, называли небольшое селение, где имела церковь и жили русские переселенцы. Вернее всего, название произошло от слова «терем».

Получив все необходимое, Белый взялся за новую работу, взялся с опаской, с внутренним трепетом. Иконы он никогда не писал. Но когда-то увлекался живописью. И сейчас понадеялся, что рука после некоторой разминки заработает сама. Он водил указательным пальцем по доске, создавая воображаемый рисунок, потом долго сидел с закрытыми глазами, как бы высматривая что-то невидимое другим. Затем, на мгновение остановив взор на спокойном, непроницаемом, коричневатом от весеннего загара лице хозяина дома, протянул руку за кистью. И, к своему удивлению, довольно легко и быстро начал писать портрет императора Николая Александровича. После создал образы Великих княжон и самой императрицы. В его памяти остались лишь основные черты их лиц и характеров, детали время безжалостно стерло. Теперь он двумя-тремя десятками линий и штрихов оживлял лики царской семьи. Каждый день он делал по одной работе. Работал с раннего утра до позднего вечера.

С утра, проснувшись, он сразу начинал думать о том, кого предстояло написать. Сначала рисовал в воображении, лишь потом, к концу дня, брался за кисть. После каждой завершённой работы он чувствовал необыкновенную легкость. Был почти счастлив от осознания того, что ему удалось оживить черты человека, вдохнуть в них жизнь. И с этой легкостью и ощущением счастья ходил до следующего утра.

Но на седьмой день дела застопорились. Осталось нарисовать портрет цесаревича Алексея. Его Белый хотел изобразить в будущем. Но образ «не шел», «не приходил». Может быть, оттого что смутно представлял себе будущее Российского государства. Он долго сидел с крепко зажмуренными глазами и наконец почти в отчаянии мысленно попросил: «Алексей Николаевич, приди-ите! Откликни-итесь!»

Так он промучился два дня - седьмой и восьмой. На девятый день проснулся рано утром от того, будто кто толкнул его в плечо. Он встал, умылся. И быстро, за один присест, написал цесаревича Алексея. И порадовался тому, что ясно увидел и изобразил будущее России...

Потом он лег на белый ягель и долго лежал на спине. Жмурясь от яркого солнца, он смотрел на высокое голубое небо и ощущал себя одновременно и частью солнечных лучей, и ча-

стью неба, и частью белесых облачков в вышине, и частью зеленой хвои соснового бора. Словом, он был частью всего того, что его окружало.

Хозяева проснулись, встали, разожгли огонь, повесили чайник над костром. После завтрака, попросив с собой икону Божией Матери, Белый удалился в одноглавую часовню. Было видно, как оттуда потянулись струйки легкого и очищающего дыма.

Хотя хозяйка и сама догадывалась, в чем дело, но на всякий случай спросила мужа:

– Что он там делает?

– Сказал, что нужно освятить Божий дом, – ответил Отец Детей.

– То есть вселяет туда святых? – уточнила хозяйка.

– Да, примерно об этом говорил.

– Так я и думала, – сказала женщина.

– Совсем как у ханты: божьи дела с дымом делает...

– Да, совсем как у нас.

Освятив часовню, Белый позвал хозяев:

– Если хотите, посетите Божий дом...

Войдя в часовню, хозяева, как учил когда-то русский поп, перекрестились на иконы. Все они были сотворены руками Белого. И он неторопливо пояснял:

– Это великомученик Николай, наш государь... Достоинно принял мученическую смерть за Россию. Царство ему Небесное!..

Белый перекрестился, и все молча постояли, глядя на икону. Они подошли к каждой из сотворенных им икон. Потом остановились у иконы цесаревича. Белый им объяснил:

– Это святой Алексей великомученик, наследник престола. – И положил перед иконой крест.

– Часовню возводил во имя царских великомучеников, – пояснил Белый. – Возможно, мои потомки когда-нибудь поставят им настоящий храм.

Все помолились, молча постояли и вышли из часовни.

Мать Детей была поражена и встревожена тем, что в иконах, писанных то ли острием ножа, то ли отваром травы, то ли кровью, проступали образы ее милых детей – и дочерей, и сыновей. А в облике государя просматривались черты Отца Детей, а в государыне – некоторые линии ее собственного лица. Что

это такое? Почему так получилось? Неужели и ее семью, ее близких ждет такая же мученическая кончина?! Но потом она постаралась подалеке отогнать эту тревожную мысль. Себе она объяснила это тем, что Белый сотворил иконы по памяти, поэтому в его творениях невольно нашли отражение черты тех людей, среди которых он жил и которых лицезрел каждый день... Но в суждениях Белого она уловила еще одну неувязку: тот сказал, что цесаревич – будущее России. Но ведь юный наследник престола погиб, принял мученическую смерть. Что теперь?! Получается, что у России нет будущего? Или ее ждет, как и этого безвинного мальчика, гибель?! Каково жить в гибнущем государстве?! Нет, такого даже своему врагу нельзя пожелать... Возможно, Белый, как человек знающий и бывалый, так не считает, а просто оговорился, успокаивала себя Мать Детей.

С этими мыслями она вернулась в дом. Все еще находилась под впечатлениями от посещения часовни. «Пусть на том свете их души обретут покой», – сказал Белый. Потом он долго-долго спал, как после тяжелой болезни. А проснулся с таким чувством, будто заново родился. Вышел на улицу, и ноги сами повели его в Божий дом. Теперь он ходил туда по утрам и вечерам. Молился. А днем стал помогать Отцу Детей ловить рыбу, делать заготовки для нарт и мастерить разный промысловый инструмент, пасти оленей. По вечерам он рассказывал о разных странах, где побывал. Говорил об обычаях и традициях разных народов, которых видел в заморских краях. Вспоминал забавные истории из своей жизни. Иногда, задумавшись, надолго замолкал. Бывало, очень редко, как бы забывшись, заговаривал о том, что его мучило, что терзало душу...

Как-то тихим вечером он вспомнил про свой погибший дом. «Я долго и много размышлял о кончине моей страны, – сказал он. – И мне пришла мысль, что в этом вины моей намного больше, чем я полагал. Ведь в разорении моего дома, моего имения есть большая доля и моей вины. Жгли мои книги и картины, грабили мой дом и мои конюшни, мои амбары и сады русские люди, которые не умели читать и писать, не могли понять назначения картин и скульптур, парков и фонтанов. Если бы они могли читать и писать, они не стали бы жечь книги Пушкина и Толстого, не стали бы разрезать холсты Верещагина

и Кипренского, не стали бы отбивать на грузила конечности скульптурам Фальконе и Опекушина, не стали бы насекать капусту на иконах Рублева. Я мог бы обучить их грамоте, позаботиться об их пище, одежде и кровле. Но, однако, я заботился только о своих детях, о своих родных и близких, чтобы они учились, чтобы были сыты и одеты-обуты, а над головой имели крышу. Вот в итоге и захотелось этим несчастным вытащить кусок хлеба изо рта того, кто жил в хорошем доме или дворце. Многие из них при этом были голодны, раздеты и разуты, не имели крыши над головой.

И все мы получили то, что сейчас имеем...

И вот иду я в Европу...

Глава 11

Два ворона летели по-над дорогой. Держались низко к земле. Впереди упряжки. Мать Детей ждала, что они свернут влево или вправо или поднимутся высоко в небо. Но нет, они не сворачивали с дороги и не устремлялись в высоту. Они продолжали свой полет в том же направлении, куда она ехала с детьми.

Матери Детей это очень не понравилось. И она придержала упряжку, замедлила движение. Но и вороны, заметив это, сделали разворот в сторону, снова нагнали нарту и медленнее стали махать крыльями, словно поджидая путников-людей. Тогда женщина стала подгонять оленей, прибавила скорость. Но и вороны побыстрее зашевелили крыльями, не стали отставать.

«Вороны – вещие птицы, что-то хотят сказать, куда-то ведут, – подумала женщина. – Только к хорошему или плохому?»

Тут упряжка вывезла ее с детьми на озеро, где недалеко от берега, посреди дороги, темнело что-то серое. Подъехав ближе, Мать Детей увидела окровавленный снег и распятого посреди дороги человека. Она подняла повыше края нартового полога, в котором сидели дети, невольно зажмурилась и поводком дала команду вожажу обойти преграду справа, по неглубокой целине, и только когда нарта снова выехала на твердую колею, открыла глаза и остановила упряжку. И с построжевшим лицом сказала детям:

– Сидите, не слезайте с нарты.

– Что там? – спрашивали дети. – Кто там? Почему остановились?

– Сидите! – строго сказала мать, завязывая поводок. – Я сейчас. Скоро. Только гляну.

Она медленно слезла с нарты, сначала глянула вперед, оглядела уставших быков, только потом повернулась и пошла назад к тому, что объехала по целине.

Посреди дороги лежал замороженный в колею человек, вернее, то, что осталось от человека. По обычаю, женщина не задержала взгляд на неприкрытом, изуродованном лице покойника, а только боковым зрением скользнула по нему. Чуть в сторонке валялись обломки разбитой нарты и три убитых оленя с пулевыми ранами. Женщина поняла все, что здесь произошло. Она стояла оцепенев. Потом, очнувшись, поспешно вытянула затоптанную в сугроб шкуру-амдер и накрыла ею окровавленный труп, а сверху и с боков придавила обломками изрубленной нарты, чтобы не унесло ветром. Какое-никакое, а все пристанище ушедшему из жизни, подобие могилы. Пусть успокоится его душа, пусть не мечется по белому свету, напрасно тормоза оставшихся в живых.

Мать Детей зажгла спичку, подержала в руке очищающий огонь, затем бросила ее на землю и сказала покойнику: «Оставайся тут, не ходи за нами».

Она вернулась на нарту и тронула упряжку.

– Кто там? – повторили дети свой вопрос.

– Погибший, – ответила Мать.

– Один?

– Там еще погибшие олени, погибшая нарта...

Хотя о нарте надо было сказать «изрубленная», но она думала о ней как о живой. Все, что истребляла война, истребляла красные, ей казалось живым.

Дети печально замолкли.

А Мать ехала, и пред ее глазами встала картина трагедии, что разыгралась на этом озере. Красные солдаты держали парня за ноги, двое за руки, а другие стояли с боков и листовничными дубинами молотили его, начиная с ног и постепенно перенося удары все выше и выше, неминуемо подбираясь к голове. А один красный топтался возле головы пленного, видно, на-

чальник или старший, допрашивал, что-то пытался выведать. Пленный или не хотел отвечать, или не знал того, о чем его спрашивали, или, в конце концов, уже просто не мог пошевелить языком, не мог говорить.

А солдаты, что стояли с боков, то останавливались, то снова начинали бить: на снегу остались ямки, куда они втыкали дубины, когда им старший давал передышку. Тот, видимо, в это время задавал пленному вопросы и ожидал ответа. Потом палачи-дубинщики снова брались за свою кровавую работу. Последними ударами разбили пленному лицо, чтобы невозможно было опознать. Затем красные, не забыв прихватить кисы, малицу и кумыш своей жертвы, укатили дальше воевать, усмирять восставших остяков. Солдаты в своей казенной форме крепко мерзли, поэтому с обреченных на гибель они заранее снимали меховую одежду и обувь.

Мать Детей воочию убедилась, как «работают» листовничные дубины, о которых много говорили в народе. Красные солдаты, передавала молва, избивали ими не только пленных, не только восставших, но и тех, кто им приходился не по нутру. Точнее, не избивали, а забивали, как скот. Ибо никто не помнит ни одного случая, чтобы битый этой дубиной выжил. Нет таких. Кого приговорили к дубине, тот, считай, мертв.

Женщина ехала и никак не могла избавиться от тягостной картины на озере. Где-то в глубине души, еще не выраженное в мысль и слово, шевельнулось ощущение, слабое предчувствие: а не помощь ли это шла к ним, не подмога ли? В эту зиму собиралась приехать к ним старшая дочь Федосья, не так давно вышедшая замуж за нижеаганского парня Егора из рода Тарлиных. Правда, Мать через людей передала им весть-послание, чтобы они не приезжали. Зима выдалась тревожная. Еще с осени стали доходить слухи о листовничных дубинах. Хотя война началась в верховьях Казыма, но у войны, как говорили в старину, нет границ. Она может и до этих мест дойти, как, впрочем, и получилось. Молодые могли и собраться в путь, могли и рискнуть. Мать настолько была ошеломлена увиденным, что не догадалась взглянуть на уши убитых оленей, над которыми уже потрудились вороны: у них были выклеваны глаза и продырявлены верхние бока. По меткам она бы сразу определила, из чье-

го они пастбища. А на покойника с неприкрытым лицом смотреть нельзя, но боковым зрением она заметила, что окровавленные волосы ушедшего черные и густые. Значит, принадлежали молодому человеку. Но разве мало молодых людей с такими волосами в селениях по рекам остяцкой земли?! Будь это зять Егор, ехал бы не один, внушала себе Мать. Они были бы вдвоем, с Федосьей. А та не дала бы вот так погибнуть мужу на голом снегу, сама бы приняла смерть рядом с ним.

Немного успокоив себя такими рассуждениями, Мать Детей стала погонять упряжку, чтобы побыстрее отъехать подальше от места трагедии.

На выезде с озера, на стыке ледяного покрова и берега, Мать соскочила с нарты и побежала рядом с левым полозом, чтобы оленям легче было втащить тяжелую нарту в гору. Немного отъехав, она остановила упряжку, чтобы быки отдышались после довольного долгого подъема. Все слезли с нарты, чтобы размять затекшие ноги-руки. Роман пошел назад, вниз, за горку, оставив женщин у нарты одних.

Мать поправила и получше укрыла люльку спящего Саввы, потом оглядела Марию, поправила ей платок, спросила:

– Мария, тебе не холодно?

– Нет, – ответила девочка.

– Есть хочешь?

– Нет.

– Пить хочешь?

– Нет.

– Вот проедем болото, выедем на бор и там сварим чай, – сказала Мать.

– Почему на бору? – спросила Мария.

– Там ягель хороший. Пока мы чай пьем, олени наши немного отдохнут и поедят.

– Они уже кушать хотят?

– Да.

– Откуда ты знаешь?

– Да вожак Угольный уже зубами поскрипывает, влево-вправо поглядывает, удобную копанницу¹ ищет.

¹ Копаница – яма в снегу, разгребаемая оленем для добычи ягеля.

– А-а, умный.

– Умный-умный. И смиренный.

Между тем олени отдышались.

Из-под горки показалась голова Романа. Возвращаясь, недалеко от нарты, возле колдобины на правой обочине дороги, он выковырнул полузанесенный снегом обрубок ствола дерева почти с сажень длиной. Мальчик остановился, взглянул на Маму и спросил:

– Это что такое?

Мать подошла ближе и, помедлив секунду, сказала:

– Палка. Просто палка. Не трогай ее.

И, подхватив сына за руку, повела к нарте. Вдруг она заторопилась. Усаживая детей на нарты, сказала:

– Поехали, поехали. Олени есть хотят. Их нужно хорошо покормить.

Но перед тем как тронуть упряжку, она ищущим взглядом обвела стоянку, еще раз заглянула в полог нарты и лишь затем, как бы что-то припоминая, дернула поводок. Вожак Угольный послушно двинулся вперед. Ищет погибшую Анну, понял сын Роман, внимательно наблюдавший за Матерью.

Ехала она, погоняя оленей, а перед глазами все стояла преждевременно погибшая доченька Анна. Мать перед отъездом привыкла проверять, все ли на месте. А тут не нашла Анну и не сразу поняла, что старшенькая навсегда оставила их. У нее невольно потекли слезы, и она незаметно для детей смахнула их рукой. Долго ехала молча, размышляя об ушедшей, моля Бога о том, чтобы ей хорошо было в Небесном Царстве.

С уходом Анны у нее все усиливалось ощущение пустоты. Пустоты в сердце. Пустоты в душе. Пустоты вокруг себя. Пустоты на земле.

Потом она вспомнила про лиственничную дубину, которую сын вытащил из-под снега. Видно, красные потеряли ее случайно, на колдобине, когда нарты сильно трянуло. Дубина была вырублена из ствола молодой лиственницы, плохо выгесана, сучья плохо обрублены, кора не снята. Это, видно, для того, чтобы она была суковато-шершавой, чтобы с кровью вырывала из тела наказываемого куски живого мяса... Видно, красные знали, что лиственница – самое прочное дерево на этой земле.

В огне плохо горит, на морозе не ломается, тяжелее железа и камня. Поэтому, видно, красные и решили лиственничными дубинами выколачивать правду из самых стойких и усмирять самых крепких из восставших остяков, рискнувших ослушаться и подняться против них за освобождение своей земли. Красные, когда в сражениях берут верх, посмеиваются, внушают: лиственничные дубины научат вас, как воевать за свободу. Освобождения от красных русских захотели?! Свободы захотели?! Вот вам лиственничные дубины! Понюхайте, чем они пахнут! А пахнут они кровью. Пахнут остяцкой кровью.

Так, первым и скорым инструментом наказания и усмирения стала лиственничная дубина. Затем шли более медленные пытки – жестоким морозом, ледяной водой, многодневным голодом. А если получил пулю – так это за счастье считай.

Теперь Мать преследовали тяжесть, цвет, суковатые шипы и запах дубин. Ей казалось, будто они сами передвигаются по земле, оставляя следы на снегу, сами избивают людей, сами мчатся с одной реки на другую, из одного селения в другое, то есть получалось, ими уже никто не управляет. И они как сумасшедшие до смерти забивали всякого, кто им попадался на пути.

«Побыстрее надо доехать до людей, довести до дома дыхание детей», – думала Мать. И все торопила, торопила уставших быков упряжки.

Глава 12

Хозяева очень внимательно, ни разу не перебив, выслушали гостя. Многие из того, о чем он поведал, они уже хорошо знали. В разгар войны между белыми и красными на Аган частенько заезжали небольшие отряды вооруженных людей: то проводников искали, то олени упряжки, то продовольствие. Конечно, более всего они докучали селениям близ побережья Агана, близ большой Оби и города Сургута. Говорили, что объявился Красный царь и пошел войной на Белого царя. В этой войне остяки больше сочувствовали Белому царю – он был ближе и понятнее. Он много веков уже был царем и остяков. Как выражались ханты, «на Белого царя сидя живем». При его руке нарождались на свет, жили и любили, молились своим Богам, охотились и пасли оленей, ловили рыбу, старились и уходили в Нижний Мир. Его

рукой подписывались указы о поддержке остяков и их промыслов. От его имени управляли краем остяцкие князья и русские воеводы, которых позднее заменили губернаторы. И вот теперь его одолел и уничтожил Красный царь, люди которого обещают много всяких благ на словах. Но словом сыт не будешь.

Словом не укроешься от дождя и снега.

Словом не затопишь чумал в доме.

Слово не запряжешь в нарты...

После долгого молчания Отец Детей поднял глаза, обвел взглядом семью и дом и неторопливо спросил Белого:

– А что теперь будет с нами?..

Белый, немного подумав, сказал:

– Пока русским будет плохо, вам нечего ждать хорошего.

– Нашему народу?

– Да, вашему народу.

– Неутешительная весть.

– С какой стати красные пощадят вас, если своих не пожалели?..

– Да, конечно.

Белый помолчал, потом, успокаивая хозяев, в раздумье проговорил:

– Ну, может быть, красные еще не скоро доберутся до вас.

– Утешение слабое.

Мать Детей, покачивая дремлющего в люльке малыша, внимательно прислушивалась к разговору мужчин. Ее волновала судьба народа, но в первую очередь судьба детей. Детей она в обиду не даст. Ни единой волосинке детей на землю упасть не позволит. Ни единой слезинке детей на землю капнуть не даст. За детей она в живой огонь войдет, в живую воду ступит. Поэтому ей очень важно знать, как им завтра жить. На какого царя им сидеть, на какого Бога молиться. Когда мужчины замолкли, она стала расспрашивать гостя:

– Стало быть, красные и царя остяков уничтожили?

– Конечно. Вы же все были его подданными.

– И семью его уничтожили?

– Да.

– И мать его детей?

– Да.

– Сколько у них детей-то было?
– Пятеро. Четверо девочек и один мальчик.
– Это мы их лики видели в Божьем доме?
– Так, да.
– И всех их... – у Матери Детей язык не повернулся произнести страшное слово, и она словно споткнулась.

– Всех.

– Ох-х-х, То-рым!.. А детей-то за что?!

Белый помолчал, потом сказал:

– За то, что из царской семьи.

– Разве за это можно лишать солнца и луны?!

– Красным все можно...

– Ох, То-рым!.. В какой век мы попали!..

Женщина глубоко вздохнула и подняла влажно заблестевшие глаза на Божию Мать, будто ища у нее одновременно и объяснения, и поддержки, и защиты. Она невольным движением протянула к себе малыша в люльке, а взглядом – остальных детей в доме. Потом подняла очи на мужа, защитника детей, защитника семьи и дома.

И Отец Детей, проведя правой ладонью по лбу и волосам, стал вслух размышлять о русских:

– Русские друг друга не жалеют...

– Да, если уже царя не пожалели.

– Поэтому им плохо.

– Наверное, так.

– А не жалеют друг друга потому, что их много. Сказывают, в ваших городах людей больше, чем деревьев-трав. Правда ли это?

– Верно, в городах людей хватает.

– Поэтому жизнь русского там ничего не стоит. Так ли это?

Белый удивленно поднял брови, остановил свои голубые глаза на невозмутимо-серьезном лице хозяина, немного подумал, а потом согласился:

– Да, получается так.

– Так-так... – неопределенно протянул хозяин. – Выходит, жизнь русского ничего не стоит... А ведь это нехорошо.

– Жизнь любого человека должна быть бесценна.

– Да, мы это понимаем.

– Независимо от того, русский он или остяк.

– Да, правильно.
– Значит, для вас нет разницы, чья жизнь более ценна?
– Для нас-то, остяков, разницы нету, – уверил хозяин.
– А для кого разница?
– Для русских, конечно.
– Понимаю.
– Поэтому, если можем, мы поддерживаем дыхание всякого человека, кто к нам приходит, не спрашивая, кто он и чем занимается. На нашей холодной земле, если человек попадает в беду, не может выжить без помощи другого человека.

– А как вы поняли, что русские менее всего ценят жизнь своих же русских?

– Из лесной жизни, – охотно пояснил Отец Детей. – К примеру, чем меньше оленей в стаде, тем жалче их. Тем они ценнее и для хозяина, и для всех других людей. Это, по-моему, всегда так: чего мало – то более всего и ценится.

Помолчали собеседники, призадумались.

Потом хозяин пояснил, что у остяков каждое время имеет свою окраску. Отсчет времени начинается с какого-либо значительного, эпохального события. Вспоминая прошлое, старики обычно говорили, что наступил или закончился такой-то век. Или Век Удачи и Благополучия. Или Век Горя и Страданий. В жизни народа всякое случалось. Были и светлые полосы, были и темные полосы. И необязательно эти периоды составляли ровно сто лет и зим. Они могли тянуться чуть больше или чуть меньше. Их долгота зависела от воли Верховного Отца. Он мог сократить Век Страданий и удлинить Век Благополучия, Или сделать наоборот. Все было в его власти.

И теперь, как бы ответно притупляя боль Белого, Отец Детей сказал уверенно:

– Век красных тоже имеет предел.
– Дожить бы до этого предела!.. – вздохнул Белый.
– Не мы, так другие доживут.
– И где этот предел находится?
– Если верить нашим старикам, так это не меньше одной человеческой жизни.
– Жизнь одного поколения?
– Да.

– Но потом могут прийти зеленые, коричневые или еще какие-нибудь неведомые нам чудища – опять на целое поколение?

– Да, может такое случиться.
– А за это время что от России останется?
– Большая страна не пропадет.
– А что с народом русским станет?
– Большой народ не погибнет.
– Хотелось бы надеяться, но...
– Белый царь пройдет по небесному кругу и вернется на Землю, – уверил Отец Детей.
– Как?!
– И дети его тоже вернутся на Землю.
– Когда?!
– Вот послушайте...

И Отец Детей неспешно стал рассказывать, куда, по остяцким верованиям, уходит человек. Все земные люди, умирающие своей смертью, попадают в Нижний Мир, мир ушедших. Этот мир располагается прямо под Средним Миром, миром людей, то есть под землей. Этот мир для простых смертных. А воины, погибающие в бою, и люди, преждевременно погибающие не своей смертью, уходят в Верхний Мир, мир богов. Там, в укромном уголке шестого ли Небесного Слая, седьмого ли Небесного Слая, есть священное место, где живут их бессмертные души. Место это называется особым, очень редко употребляемым, почти запретным и непереводаемым словом «Тари». Старцы иногда добавляли к этому таинственному понятию другие слова «Пухол», «Пауль» или «Торум», что в первом случае означает «Селение», во втором «Небо», или, если хотите, «Верховный Бог»... Души, пройдя по шести ли Небесным Слаям, по семи ли Небесным Слаям, снова возвращаются на Землю. Там начинается жизнь после смерти.

И Белый царь, побродив по Небесным Слаям необходимое число лет и зим, вернется на Землю. Душа его нетленна. Душа его бессмертна. И его дочери вернутся на Землю. И его сын вернется на Землю. И его супруга вернется на Землю. И все его люди, у кого преждевременно была отнята жизнь, вернутся на Землю.

И снова Белый царь взойдет на свой трон и начнет править Россией, русским народом и всеми россиянами российской зем-

ли. А если не захочет сам, то уступит свое место на царском троне сыну-наследнику, или дочке-наследнице, или внуку-наследнику, или внучке-наследнице. И возродится царь, ибо человеку он так же необходим, как Бог, как Солнце, как Луна. И жизнь пойдет по следующему кругу. Ведь Земля будет на своем месте, значит, останется и страна, и народ.

— Так продолжится их жизнь на Земле, — закончил свой рассказ Отец Детей.

Долго молчал Белый человек. Потом спросил:

— Вы уверены...

— Если бы не было такого, то и жизнь бы невозможна была на Земле, — уверил хозяин.

Еще дольше молчал Белый. Еще дольше размышлял. Потом тяжело вздохнул, тяжело отвесил слова:

— Россия погибла... И мне не дожить до того дня, когда возродится Россия и русский народ. А возродятся Россия и русский народ лишь в том случае, если вернется русский царь — душа народа, лицо России. А это будет, как вы сами утверждаете, очень не скоро. Все это будет после моей кончины, без меня...

— А ваши дети?

— Никому не ведомо, дождутся ли мои дети.

— Ну, внуки будут.

— А кем будут внуки — тоже никому не ведомо. Они далеко от родины. Не забудут ли родной язык? Вспомнят ли свои корни? Захотят ли вернуться назад? А о правнуках и думать страшно... Русский вдали от родины не может жить. Он либо спивается, стреляется, либо уходит в другой народ.

— Остались же русские в России?

— Пока русский царь вернется, из них большевики весь русский дух вытравят, а где не смогут вытравить — так прикладами выбьют. Это они умеют делать, поверьте мне... Сейчас в народе разбудили самые низменные страсти, чтобы одна половина народа уничтожила другую. В живых останутся те, у кого напрочь искалечена душа. Это уже не люди, а существа страшнее зверя. И может так случиться, что царь вернется и его уничтожат второй раз. Могут уничтожить и в третий раз. Вот и получается: погибает царь — погибает народ, а погибает народ — погибает страна. Не хочется с этим смириться, ибо русский народ — народ

добродушный по природе, незлобивый, добрый. А доброта бесследно не исчезает. Но пришла гибель... Не хочется в такое верить, но это так...

Замолчал Белый человек.

Молчал и хозяин дома, Отец Детей. Тут трудно что возразить. Он всем своим нутром почувствовал, что у дальнестороннего гостя в душе вместе с Белым царем и Его детьми погибли народ и страна Россия. Жаль его. Больно за его искромсанную самими же русскими светлую и добрую душу. И, к сожалению, никто не в состоянии помочь ему.

Разве что русский Бог?

Разве что возведенный им Божий дом?

Разве что Божья Матерь?

А Божья Матерь, казалось, внимательно прислушиваясь к горьким словам людей о судьбе русского царя и его детей, о судьбе русского народа и о судьбе Белого человека, попытавшегося в одиночку предотвратить самое страшное и гнусное преступление двадцатого века на Земле, молча уронила слезу.

И в притихшем доме каждый подумал о своем. Кто о слезинке сердобольной Божьей Матери, кто о прозрачной капельке тающего под весенним солнцем божьего снега на крыше.

Но в конечном итоге все: и то, и другое — от Бога...

Глава 13

Матерь Детей, внимательно слушавшая беседу мужчин, воспользовалась паузой в разговоре и сказала:

— А ведь мы могли бы спасти русского царя.

— Да, спасти могли бы, — подтвердил и хозяин дома.

— Каким образом? — спросил гость.

— Он был на окраине наших земель — сказал хозяин дома.

— Да, недалеко, в Тобольске.

— Так вот, его надо было привезти в наши места, — начал размышлять вслух хозяин. — В глубь наших земель ему нужно было идти. Тут бы он и переждал это время... Как вы его называете?

— Смуту.

— Во-во, переждал бы смутное время. В наших лесах-болотах его бы ни один красный не достал.

— Это, пожалуй, правда.

– Пожил бы до зимы, дождался бы первого снега, а там, если бы захотел, уехал бы на оленях то ли в сторону восхода, то ли в сторону заката. Воля царская...

– Я вот не успел... – русский развел руками. – Впрочем, про этот вариант я тоже размышлял. На самый крайний случай, если бы другого выхода не нашли.

– Это про отъезд на оленях?

– Да. Был случай бегства на оленях.

– Где это было?

– Про город Березово слышали?

– Да, Березово мы знаем.

– Бывали там?

– Нет, но знаем, как народ туда ездит. Надо добраться до вершины Казыма, потом ехать вдоль реки до самого устья, а там переехать через Обь – и будет Березово.

– Так это по карте-бумаге?

– Да, верно. Там сам светлейший князь Меншиков земные дни закончил. Что-нибудь про него слышали?

– В нашем доме вроде бы не было речи о нем.

– А про царя Петра Первого знаете?

– О, про царя Петра много кое-чего рассказывают старые люди. Хорошим словом его вспоминают.

– Сам-то он вроде бы не доезжал до этих мест, а вот князь Меншиков, правая рука Петра Первого, попал на ваши земли – был сослан в Березов. Там побывали многие известные россияне.

– Это, говорят знающие люди, не очень далеко. Ведь верховья наших рек довольно близко сходятся.

– Так вот, один из главарей большевиков, господин Бронштейн¹, бежал из ссылки на оленьей упряжке. Из Березова. Помогали, конечно, остяки и вогулы.

– Не поймали?

– Нет, конечно. Кто ж в снегах его след разыщет.

¹ Речь идет о Л. Д. Троцком, который в 1906 году по пути на место ссылки на оленьей упряжке бежал из Березова, перевалил через Урал и затем уехал за границу.

– Вот мы про то и говорим: и Белый царь мог бы уехать на оленях туда, где красные не смогли бы его достать. Есть же такие места? Есть же такие страны?

– Есть.

– Вот и остался бы жив.

– Да.

– И дети бы его выжили.

– Да. Но не получилось так, – сказал Белый человек. – Это я виноват. Я виноват в их гибели. Не будет мне прощения ни на этом, ни на том свете. Не смог, не успел...

Он опустил седую голову, обхватил ее руками и так, притихнув, долго сидел неподвижно. Может быть, припоминал свою долгую дорогу в Сибирь, на земли остяков. Когда он очнулся и приподнял голову, хозяин, стараясь приободрить гостя, сказал:

– У нас человеку просто так погибнуть не дадут.

– Почему?

– Нас мало. Нас намного меньше, чем деревьев-трав. Поэтому мы особо ценим каждую человеческую жизнь. Человеческое дыхание не имеет цены. И оборвать его никто не решится в мирное время. Особенно дыхание безвинного человека. Особенно дыхание царя. И тем более детей, совсем безвинных пред Верховным Отцом.

– Понимаю, – сказал Белый человек. – Вас мало, поэтому вы, может быть и совсем неосознанно, бережете друг друга. В вас больше доброты и жалости, чем у русских.

– Наверное, так.

Опять все помолчали. Потом снова, взглянув на мужа, первой заговорила Мать Детей:

– А ведь мы могли бы защитить Белого царя. Будь он на нашей земле.

– Да, мы умели воевать, – подтвердил муж. Они помолчали. И затем, дополняя друг друга, начали вспоминать прошлое своего народа. Это был неторопливый диалог людей, понимающих друг друга с полуслова. А возможно, даже и без слов. Муж скажет слово, жена добавляет другое. Первым было слово хозяина:

– Наши предки были храбрыми воинами.

– Да, это всем известно.

– Князья наши были мудрыми военачальниками.

- А богатыри сильными.
- Малым числом завладели большими землями.
- И сохранили эти земли до сегодняшнего дня.
- Земли эти конца и края не имеют.
- Мало кто достигал их окраин.
- На полдень пойдешь – до степи дойдешь.
- В полуночную сторону повернешь – океан с вечными льдами и снегами увидишь.
- На восход пойдешь – широкая, как море, река остановит.
- На закат повернешь – каменные горы увидишь.
- Тут леса и горы, тундра и болота, реки и озера.
- И всюду на этих землях расселился наш остяцкий народ.
- Пришли сюда в древние-задревние времена.
- Может быть, семь-восемь тысячелетий назад...

Белый человек понимал, что беседа-диалог предназначается для его ушей. Поэтому не перебивал их, но, когда хозяева сделали паузу, сказал:

- Тысячу-то лет вы уж точно живете здесь...
- Откуда вы так точно знаете? – немного удивился хозяин.
- Из летописи. Из бумаг.

И он пояснил, что, собираясь сюда, в Сибирь, просмотрел кое-какую литературу об этом крае и его коренных народах.

Почти тысячу лет назад сюда проникли русские – новгородские торговые люди, которые встретили угров. И землю эту называли Угрой или Югрой, а ее жителей угорцами. А теперь они стали называться остяками и вогулами.

– Чудно, – проговорил хозяин. – Значит, все записано на бумагу?

- Да, в летописи.
- Там и время указано?
- Да, конечно. А вы откуда знаете свое прошлое?
- Из преданий, их пересказывают наши старцы.
- Мы их древними сказаниями называем, – добавила хозяйка.
- А откуда пришли?
- С того края, где стоит вечное лето.
- Там вода в океане такая же горячая, как в чайнике, только что снятом с огня, – уточнила женщина.
- А почему такую теплую землю поменяли на холодную?

– Не знаю. Это было очень давно.

– Предания ничего об этом будто бы не говорят...

– А хотелось бы узнать?

– Конечно, каждому народу интересно, откуда он взялся, что было в древнем прошлом.

Все замолчали, задумались каждым о своем. Если не о прошлом, то о будущем. Всякое смутное время наталкивает на размышления о сегодняшнем и завтрашнем дне, о годе прошедшем и будущем.

Затем Матьер Детей снова вернула всех к судьбе царской семьи:

– Если бы Белый царь добрался до селения остяков, то можно было бы призвать ему на помощь и магические силы нашей земли, нашего народа. Мы одели бы его в белые одеяния.

– В какие одеяния? – спросил гость.

– В белые, в божественные.

– В божественные?

– Да, в оберегающие.

И женщина не спеша стала рассказывать, кого одевают в белые одеяния. В белых одеяниях ходят только боги. Белый цвет – это цвет жизни у остяков. А белого не так мало и не так много вокруг. Белый снег. Это божественный снег. Сам Верховный Отец присылает с Неба белый снег. Стало быть, снег божественный. Снег здесь для того, чтобы лучше скользили полозья нартов, чтобы легче было оленям тянуть поклажу. Снег для того, чтобы прикрыть уставшую землю и дать ей передохнуть до весны. Снег для того, чтобы охотник мог выследить зверя и насытить добычей свою семью. Белый снег, запорошив след, при необходимости спасает человека от коварного врага.

Белая зима сменяется зеленым летом. Но взамен белому снегу приходит белая ночь. Наступает время царства белого солнца. Солнце приносило белый день, чтобы люди могли увидеть друг друга и полюбоваться деревьями, травами, водами, землей и небом.

Когда напрочь угасает белая ночь и приходит прохлада бесснежного предзимья, в доме поселяется огонь чувала, освещающий белым светом людей, чтобы они бесследно не растворились в черной осенней мгле.

Потом вступает в свои права белоснежная зима. А ее заменяет ласковая весна с серебристо-белым настом, матово-белой

коркой льда и тальми водами. И земля начинает принимать пополнение. Оленихи приносят оленят. Изредка – белых.

Рождение белого оленя всегда было радостным событием. Наверное, белые олени тоже от Бога. И обычно их вручали Верховному Отцу или его сыновьям и дочерям. Таких оленей, если в стаде достаточно было ездовых, в нарту не запрягали. Они жили, украшая жизнь, дом и пастбище. Бывало, белые олени проживали долгую жизнь. А потом, исполнив священный обряд, вручали души белых оленей их Верховному Хозяину, а белошерстные шубы животных водружали на самой верхушке высокой сосны святого места. Если возникала необходимость, то белыми тканями заменяли белошерстные, а из них создавали белые одежды. И они еще долго оберегали от всяких невзгод человека, который ходил в таком одеянии. Обычно это были князья, богатыри, шаманы, старцы и просто мудрые люди.

И русскому царю, будь он здесь, сотворили бы белые одеяния, которые оберегали бы его от красных, оберегали бы от всех невзгод и напастей смутного времени. Сам Небесный Отец повелел бы ему ходить в божественном одеянии. И его сыну-наследнику Алексею предназначено божественное одеяние, оберегающее от всех напастей смутного времени. И его дочерям-княжнам тоже бы сотворили белые одеяния. В них бы они печали-горя не знали. Так казалось Матери Детей.

Она все размышляла о детях Белого царя. И в мыслях уже сотворила им белые шубки. Теплые, легкие, красивые, богато украшенные орнаментами. Старшей княжне Ольге она подобрала широкий узор «ветка большой березы». Как первенец в семье, как старшая, княжна Ольга имела право на самый сложный и мудрый орнамент в своих одеждах. И Мать Детей заботливой рукой мастерицы мысленно вписывала в узор всю жизнь великой княжны, жизнь прошлую и будущую. «Ветка большой березы» держалась на одной заглавной линии, напоминавшей долгую и древнюю реку, от которой ответвлялось бесконечное множество малых речек, ручьев, стариц и заливчиков с самыми замысловатыми изгибами-извивами, куда иглой мастера заносились все мгновения земных и небесных дней милой девушки. Но при этом каждый штрих и каждый стежок строго соразмерны, подпитывают одно заглавное русло и утверждают одну мысль о

вечном бытии великой княжны в этом мире. Таким образом, «ветка большой березы» для девушки станет надеждой, оберегающей от всех невзгод на жизненном пути.

Княжна Татьяна получила чуть меньший узор под названием просто «ветка березы». Ведь ее земные дни немного короче, чем старшей сестры. Стало быть, и ее жизнеописание потребует меньше места.

Княжне Марии достался орнамент «рог оленя». В белоснежную зиму без оленя никуда. А олень может умчаться и в неведомую даль, и в неведомую высь.

Младшей княжне Анастасии больше всего подходит узор «заячьи ушки». Это и оберег, и игрушка. Дети всегда любят зайца: с ним можно поиграть и порезвиться.

Матери княжон пригодился бы солидный узор «спинка соболя на две стороны», ограждающий от многих земных неприятностей. Мать должна быть не только доброй и ласковой, но и сильной. А силы прибавит ей «спинка соболя на две стороны», прикрывающая ее саму и ее детей справа и слева, отводящая все беды. С этим узором несчастья обойдут ее.

Если бы гость сумел привезти с собой русского царя с семьей, то все это могло бы быть не только в ее воображении, но и в реальности. Тогда бы призвали на помощь всех остяков-сородичей, всех богов и самого Верховного Отца. Разве устояли бы красные пред такой земной и небесной силой? Не только не устояли бы, но и напрочь потеряли бы след государя императора. До тех пор, пока он сам не объявился бы в нужное время в нужном месте.

Между тем Белый человек вернулся к началу разговора о малой численности остяков:

– Вас мало, поэтому вас надо оберегать, чтобы совсем не исчезли с лица земли.

И, вздохнув, добавил, что это понимают не все русские. Особенно красные. Эту истину могут постичь только умные и образованные.

Но их всегда не хватало на Руси. Русь всегда много страдала от дураков... Но хозяин возразил:

– Надо беречь дыхание каждого человека. И пояснил свою мысль:

– Наша земля огромна и хороша тем, что мы здесь бережем жизнь любого человека. И русский, попадая сюда, становится малым народом. Поэтому и его жизнь становится бесценной, и мы его так же оберегаем, как и остяка.

Белый человек молча слушал. Очевидно, нечего было возразить.

Глава 14

Как-то тихим вечером после второго легкого ужина Белый человек стал расспрашивать хозяина об остяках и вогулах, их истории, о том, откуда они пришли на эту землю. Что говорит об этом народ?

– История эта длинная, – начал хозяин. Привычным движением правой ладони он пригладил кучерявый затылок и, вспомнив с участием Матери Детей все предания и рассказы стариков, поведал о заселении этой земли.

В древние-предревные времена остяков и вогулов называли уграми. Долго ли, коротко ли жили угры на берегу Тепловодного Океана, где было вечное лето. Но однажды что-то стряслось. Может, земля провалилась в бездну – ушла под воды Океана, может, мор какой напал на народ, может, какие завоеватели захватили теплое побережье. Об этом народные предания умалчивают. Но двинулся народ на север. Шли медленно, неторопливо, защищаясь от древних воинственных племен. Шли, может быть, несколько столетий, а может, и тысячелетий. Шли в тяготах и лишениях. Чем дальше на север, тем меньше привычной пищи для теплостойкого угра и тем больше нужда в теплой одежде и теплом жилище. Чем дальше, тем труднее прокормиться и укрыться от непогоды большому народу.

И однажды, чтобы выжить, угры разделились на три группы. Одни пошли в сторону заката, держа полуденное солнце на левой половине лица. Дошли до реки Дунай, обосновались там и стали называться мадярами. О них отдельная история... Вторая группа тоже ушла в сторону заката, держа полуденное солнце на левой половине затылка. Они ушли очень далеко, до самого края земли, до Закатностороннего Океана, и обосновались там, на приполярном побережье Атлантики, и стали называться саамами. В этом многотрудном пути они растеряли, оставили на встречных реках-землях много своих соплеменников, из кото-

рых со временем сложились родственные народы, близкие уграм по языку. А наиболее выносливая и хладостойкая часть угров все продолжала двигаться дальше на север, неся полуденное солнце прямо на затылке. Эти стали называться обскими уграми. Сначала они жили в безлесных степях, а потом заняли всю пойму реки Обь.

Угры – это воины-богатыри, не знавшие ни одного поражения в своей древней истории. Это обстоятельство подтверждается тем, что малым числом и за короткое время они заняли и закрепили за собой огромную территорию Западной Сибири. На востоке – до реки Енисея. На западе – до Уральских хребтов. На севере – до самого устья Оби, до вечных, нетающих снегов и льдов, до самого Льдистого Океана. На юге – до степной зоны. А врагов хватало. Со стороны Восходящего солнца на угорские земли делали набеги тунгусы, со стороны Заходящего солнца – зыряне, с Полуденной – татары, а с Полунощной – самоеды, или «шерстяные люди». Так их прозвали потому, что одеты они были в шкуры зверей, что было в диковинку уграм, пришедшим с побережья теплого океана.

Угры умели воевать и могли постоять за себя. Даже самые многочисленные племена татар не рискнули идти дальше на угорские земли и остановились на границе лесов и степей.

Угры понастроили города-крепости и плавильные печи для выплавки железа. Они еще не успели утратить ремесла и традиции, приобретенные в период жизни на побережье теплого океана.

Мудрые князья-предводители думали прежде всего о безопасности народа. Они обучали юношей военному делу, выплавляли железо, ковали мечи и пики, изготавливали боевые шлемы и рубахи-кольчуги. Немного позднее соорудили святилища-капища, обустроили угодья-вотчины и занялись охотой и ловлей рыбы. Южные угры сохранили коней и коров, а северные пересели на олени упряжки и позаимствовали у самоедов глухую «шерстяную одежду» и «шерстяные дома» – кочевые чумы.

Земли оказались бескрайними, что с запада на восток, что с юга на север. Те, кто оказался на окраинных вотчинах, общались друг с другом все меньше и меньше. Так постепенно из при-

уральских угров сложился новый народ вогулы со своим языком, конечно, очень близким к остяцкому.

Между тем вогулы периодически отражали набеги татар и самоедов. Особенно докучали последние, издавна промышлявшие грабежом и разбоем. В открытый бой они не вступали, а нападали на малые селения и на одиночные семьи промысловиков. Перебив стариков и детей, поживившись добром в домах и амбарах, полонив женщин и захватив скот, резво укрывались на тундровом побережье океана. Лучшей добычей у них считались женщины и стада оленей. Женщин они брали в жены. Своих, что ли, не хватало? А оленей в первую очередь использовали в пищу. Через год-другой, когда проедали награбленное, делали новый набег. Бывало, вогулы преследовали их, отнимали добычу и освобождали полоненных женщин, а случалось, те уходили безнаказанно, по-заячьи путая следы, прикрываясь метелью-пургой. Угры не принимали их за серьезных противников: и войска не выставишь — не с кем воевать, и колесить по тундре, по одному истребляя их племя, тоже не дело: гордые богатыри не хотели и не могли стать подлыми убийцами. Правда, после появления русских «шерстяные тундровики» намного присмирели, но их набеги исподтишка продолжались вплоть до прихода красных. С одной стороны, они побаивались русского царя и царских князей-воевод, с другой стороны, когда крепости-города угров оказались разрушенными и те расселились по большим и средним судоходным рекам, удобнее стало нападать и грабить отдельные семьи и малые селения.

Татары же нападали большим войском, и с ними бились до победного конца. В этих битвах угорские богатыри одерживали верх, и остатки войск противника всегда отступали и возвращались в свои степные владения.

Времена были суровые. Выживали только те народы, кто мог защитить себя и свои земли. Но когда границы установились, угры повели себя миролюбиво: чужое не отбирали, но и свое не отдавали. Никто не помнит случая, чтобы они ходили в поход с целью захвата или грабежа чужих земель. Может быть, потому, что всего своего было в достатке: и земель, и рек-озер, и оленьих пастбищ, и лугов-покосов, и зверя-рыбы. Зачем чужое, когда есть свое.

Так прошло много веков. Так жили угры до прихода русских.

Русские побили татар, но не остановились на этом, пошли дальше на север, на обских угров. Но, однако, не смогли одолеть их, не смогли взять их города-крепости. Долго бились, но все тщетно...

До прихода русских никто не одерживал верх над угорскими богатырями, никто не мог их одолеть. Были они стройными, ловкими, рослыми. Грудь спящего богатыря вздымалась до уровня трех нижних венцов деревянного терема города-крепости. При необходимости богатырь мог надолго схорониться под снегом в тайге и под водой и льдом в реке. Попав в засаду, легко перемахивал через конные повозки татарского войска и беспрепятственно перелетал через огненное кольцо многих костров. Стряхивал, разбивая насмерть, одновременно дюжину воинов с левой и с правой руки. В безвыходной ситуации богатырь прибегал к магической шаманской силе — мог обернуться иголкой и затеряться в траве-мураве под ногами иноземного войска. Богатырь заговаривал болезни, останавливал кровь, снимал боль, прикосновением пальцев руки заживлял колотые и резаные раны, мог превратиться в невидимку... Возможно, поэтому еще в древние-задревние времена о них начали складывать легенды и сказания. До сих пор передаются из уст в уста предания о богатыре Мадур Вазе и богатыре-шамане Танье. На протяжении многих веков угорские богатыри были непобедимыми.

Все знали, что непобедимы угорские богатыри. Бесстрашны, как медведи. Проворны и ловки, как горностаи. Быстры, как лоси. Живучи, как семиголовые великаны. Благородны, как угорские боги.

Для богатыря считалось позором обмануть врага и одолеть его в нечестном бою. Только слабый духом и телом может пойти на обман и таким путем завоевать победу. Но таких среди угорских богатырей не водилось.

Может быть, честность и доверчивость в конце концов погубили угорских богатырей.

Долго бились русские, но не могли победить угорский народ. И тогда русские пошли на хитрость. После очередной безуспешной попытки одолеть остяков и вогулов привезли и остави-

ли возле стен города-крепости какие-то бочки, а сами ушли. В них оказалась веселящая вода. Напились этой дурной воды угорские богатыри. Сначала всем стало необыкновенно легко и весело, а потом все потеряли разум, нахлынули слабость и апатия, притупилось чувство опасности, и всех сморил сон. Тут русское войско и ворвалось в город-крепость – перебили князей-военачальников и воинов-богатырей, а женщин и детей взяли в плен.

Так русские захватили первую крепость, первый город.

Потом таким же образом русские захватили и разрушили и другие города-крепости обских угров – остяков и вогулов. Всего же порушили, по одним подсчетам, сорок городов-крепостей, по другим – пятьдесят. А возможно, и все сто...

Князья, оставшиеся живыми после падения городов-крепостей, присягнули на верность русскому царю. С тех пор вот уже триста с лишним лет остяки «сидя на Белого царя живут». Русский царь оказался мудрым: в дела остяков почти не вмешивался и не пытался бездумно поломать привычный уклад их жизни. По его воле остяками продолжали руководить сами же остяки. Остяцкие князья, получив еще и княжеские титулы от русского престола, продолжали управлять делами остяцкого народа уже от имени самого государя императора.

Одним из последних титулованных остяцких княжеских родов был род Тайшиных. 2 февраля 1887 года тобольский губернатор сообщил министру внутренних дел:

«3 февраля истекшего года в с. Обдорском Березовского округа вверенной мне губернии скончался обдорский остяцкий князь Иван Матвеевич Тайшин, имевший высочайшую грамоту, данную в 14 день января 1768 г. отцу покойного князя Матвею Тайшину за собственною подписью ее величества государыни императрицы Екатерины II об утверждении его, Матвея Тайшина, в княжеском достоинстве с предоставлением ему права заведывания остяцким народом и собиранием ясака со сдачею такового в казну.

После смерти Тайшина осталось значительное для остяка имущество и, между прочим, следующие предметы, пожалованные ему высочайшими особами: большая золотая медаль для ношения на шее, пожалованная государем императором Нико-

лаем Павловичем с надписью «За полезное»; большой серебряный кубок, пожалованный покойному государем императором, а также малинового бархата шитый золотом кафтан и парчовый камзол. Кроме того, бронзовая медаль в память войны 1853–1856 гг.

Прямыми наследниками покойного князя являются родные его сыновья старший Иван и младший Марк Тайшины, которым в последнее время перечисленные выше предметы и выданы, кроме объясненной высочайшей грамоты...»¹

Так управлялась угорская земля три столетия.

Остяки и вогулы верой и правдой служили государю императору, пополняя его казну мягкой рухлядью.

Однако как ни мудр был русский царь, как ни заботился об остяках, его правление принесло и горькие плоды. Русские заняли лучшие рыбные угодья на Оби и привезли кроме водки и табака многие неведомые здесь ранее болезни. Измельчал народ, а воины-богатыри почти совсем перевелись. Теперь не часто встретишь молодца с грудью высотой в три толстых венца. Как полагают сами же пришлые, все это от русской водки. С одной стороны, оно и понятно: им хотелось спокойно жить и спать. Совсем ни к чему держать под боком сильных инородческих богатырей. С другой стороны, народ не может позабыть о своей былой силе и мощи...

Теперь остяки с каждым годом все убывают и убывают числом, а земля их, Югра, остается неизменной в границах. Их опустошающиеся земли занимают новопоселенцы, пришельцы из других мест, из городов-селений, где людей больше, чем деревьев-трав. Ничто не вечно под Солнцем и Луной. Очевидно, кончается земная эра обских угров...

Они прошли через многие тысячелетия, одержав верх во многих битвах-сражениях, закалившись в жару у Тепловодного Океана и в холоде у Лыдистого Моря, презрев многие тяготы и лишения, одолев безжалостные моря и болезни, познав любовь земную человеческую и небесную божью.

¹ Тобольский фонд гос. архива Тюм. обл. (ТФ ГАТО). Ф.И. – 152. Оп. 33. Д. 596. Л. 4-4 об. Подлинник. Рукопись.

И если будет суждено им волею Верховного Отца покинуть навсегда свою землю, то последние остяки уйдут с достоинством, присущим угорским богатырям, и с надеждой, что найдут пристанище в священном месте шестого ли Небесного Слая, седьмого ли Небесного Слая, где покоятся души чудобогатырей, князей-предводителей, воинов, мудрых старцев и шаманов, преждевременно погибших женщин и детей, всех тех, кто положил живот свой за остяцкий народ...

Глава 15

Пойду я в Европу, – сказал Белый. – Пойду молиться. Буду молиться за упокой души государя и его детей, за души всех безвинно убиенных, буду отмаливать свои и чужие грехи. Решил идти по снегам, Северным Ледовитым океаном, потому что видеть не могу красных. Смотреть на них не могу. Как увижу красных, так и всплывают в памяти их жертвы: не те, что в бою убиты, а те, что в плену в их застенках замучены, забиты, заживо заморожены, сожжены, растерзаны на части...

В свои сети заманивают лаской, лестью, коварством, подлостью, не щадя ни своих, ни чужих детей, ни родных, ни близких. В этой подлой жестокости никто не в силах их остановить. Только Бог может их образумить. Если, конечно, захочет. Вот я и хочу просить Его об этом. Просить буду до конца дней моих. Может, услышит, может, образумит их, может, захочет помочь, ибо красные без царя в голове и без Бога в душе не знают, что творят. Словом, буду помолиться и за белых, и за красных. Ведь все они русские.

Пойду по снегам, потому что не хочу отдавать свою жизнь красным. Не хочу, чтобы была уничтожена еще одна капля русской крови. И сам я тоже не хочу и не могу более отнимать чужие жизни... Иду по этой земле, зная, что непременно доберусь до своей цели, что не сгину бесследно в белых снегах, ибо Бог сохранит меня, раз не дал погибнуть в гражданской войне, раз не дал растерзать безумной толпе, раз не дал сгинуть бесследно в застенках чекистов.

Вот с такою верою иду на запад. И чем ближе я к цели, тем больше убеждаюсь в своей правоте, ибо в самый трудный час

кто-то всегда приходит мне на помощь. Вот и сейчас Бог послал вас...»

Белый взглянул на Отца Детей и повторил:

– Это Бог послал вас...

– Да, без Него ничего не делается на земле... – согласился хозяин.

– Знаю.

– Когда выпадет снег, я дам тебе упряжку самых смирных и выносливых оленей, и ты уедешь на них, – сказал хозяин.

– Хорошо, дожить бы до снега.

Потом, ловя рыбу, сидя в «мастерской» в кругу стружек, стоя возле дымокура или осматривая стадо, они в деталях обсуждали, как Белый поедет в Европу. Можно было по побережью Ледовитого океана, но эта дорога долгая и трудная, а можно было через Березово, этот путь короче, но опаснее. Для этого надо доехать до верховья Казыма, оттуда вдоль реки до Березово, а затем вдоль Сосьвы до Урала и дальше к Богословскому заводу. Там начинается узкоколейная железная дорога. По ней – до Кушвы. А дальше через Пермь, Вятку, Вологду, Санкт-Петербург прямая дорога на Гельсингфорс – это уже Финляндия, это уже свобода.

У каждого пути были свои преимущества и недостатки.

– Ладно, доживем до осени, – сказал Отец Детей.

– Доживем, там видно будет, – согласился Белый.

Когда выпал снег и встали реки и озера, мужчины собрались в путь на двух упряжках. Договорились, что Отец Детей проводит гостя до Божьего Озера, что в верховье Казыма, где живут его дальние родственники, а там окончательно решат, по какому пути дальше поедет Белый: то ли оттуда повернет прямо на Север, то ли на запад – вдоль реки, к Березово. В любом случае, как это принято у остяков, хозяева тамошнего селения проводят его до следующего селения. Одного не отпустят. А красных особо остерегаться нечего: в меховой одежде, владея языком, мало кто догадается, что он не остяк, а русский.

«Тем более что в нашем роду был русский, – сказал Отец Детей. – Лет сто назад Белый Царь выслал сюда на поселение каких-то бунтарей, которые против него пошли. Так вот, один из них женился на девушке из нашего рода и остался здесь. Звали

его Ай Русь Вунг.¹ Почему так прозвали? Обычно так зовут тех, кто женился на младшей дочери, на младшей сестрице рода. Есть старший зять, есть средний, есть младший. Так вот, всякие забавные истории про младшего русского зятя рассказывают: как он учился ловить рыбу, пасти оленей, выслеживать зверя и птицу. Вначале все делал не так, как нужно. Ну и часто попадал впросак. Но настырный был, работающий, всему научился, и в роду полюбили его. А потом у него свой род пошел. То ли сыновьям его, то ли внукам очень пришлось по душе рыбная ловля. Они занялись рыбным делом, и двое из них переселились к устью Оби, где водится много белой рыбы: осетр, стерлядь, нельма, муксун... Сказывают, до сих пор их потомки там живут, возле Обдорска-города рыбу промышляют. А фамилия у них не остяцкая – Салтыковы. У царицы Екатерины кто-то из их предков служил. Вот от тех Салтыковых и досталась фамилия нашему Малому Русскому Зятю и его потомкам...

– Спросят, скажешь: в роду был русский, – сказал хозяин. Белый кивнул.

– У многих остяков, живущих по берегам Иртыша и Оби, фамилии почему-то пошли чисто русские, – рассказывал хозяин. – Может, смешались давно с пришедшими из России?

Хозяйка накрыла на стол, сели выпить чаю перед дорогой. Хозяин, попивая чай, кивнул в сторону, куда они поедут, и сказал, давая понять Белому, что собрался в путь не только ради него:

– У меня там есть и свои дела...

– Какие?

– Давно там не был, пора поклониться богам тех земель и вод.

Перед отъездом Белый, отдавая Отцу Детей винтовку и револьвер со всеми патронами, сказал:

– В лесу живете, в смутное время. Может, пригодится дом, землю защитить...

– А ты как же?

– Обойдусь.

– Без оружия, без защиты?

– Теперь я с Богом, – улыбнулся Белый и кивнул на часовню.

¹ «Ай Русь Вунг» в переводе на остяцкий означает «Младший Русский Зять».

Отец Детей тоже глянул на Божий дом.

– Захочет – спасет, захочет – погубит, – сказал Белый.

– Так-то оно так.

– И оружие не поможет.

– Так-то оно так, – повторил Отец Детей.

Белый обвел погрустневшим взглядом селение, потом расцеловал детей, а Матери поцеловал руку и на прощание сказал:

– Мир тесен. Может, еще свидимся когда. Может, наши дети свидятся.

– Свидимся... – многозначительно сказал хозяин, глянув на небо.

– Жизнь не имеет предела... – вздохнула Мать Детей.

– Не забывайте Божий дом, – попросил Белый. Помолчал, потом добавил: – Буду молиться за всех вас.

– Удачи и здоровья! – пожелала хозяйка.

– С Богом!..

Упряжки тронулись. Хозяин впереди, а за ним гость, ставший близким и родным за прошедшее лето. Отъехав, он оглянулся. Полукругом неподвижно стояли дети возле Матери. Они молча и грустно смотрели ему вслед. Только неугомонный Ромка, не совсем понимая, что дядя Петя, дядя Здравствуй, покидает их дом навсегда, бодро помахивал правой рукой.

Он уезжал в Европу, к своей семье, и чтобы молиться за безвинно убиенных русских, за свой, как он выражался, неразумный народ, за свою погибающую Россию. Что его ожидало в пути, никто не знал.

Глава 16

Дорога привела Мать с детьми к селению. Первыми почувли приближающееся жилище оленя, Угольный и Молочный. Предчувствуя отдых, быки-братья сами прибавили шаг, заспешили. Увидев чумы, обрадовались и путники.

Наконец-то люди! Наконец-то тепло, пища и уют! Наконец-то оленя!

Мать Детей остановила упряжку, быстро завязала поводок-вожжу и рванула дверь ближайшего чума. И остолбенела. В чуме было полно людей, но все они в странных позах. Все неподвижны.

Голова в платке с бахромой.
Головка в оранжевом платке.
Черная с проседью толстая коса на белом песцовом воротнике ягушки.
Костлявый, бугристый в суставах кулак с крепко зажатой табакеркой из желтой кости мамонта.
Затылок с сорванной вместе с кожей светлой косичкой.
Головка в лисьем капюшоне с ушками.
Руки, скомкавшие окровавленный платок.
Головка в выдровой шапке.
Цветастый платок с бахромой.
Огромный перекошенный рот, захлебнувшийся немим криком.
Голова без капюшона.
Сведенные судорогой челюсти.
Лоб с круглым черным отверстием чуть выше переносицы.
Головка в голубом.
Высокая женская шапка из белого пыжика.
Тугая женская грудь с коричневым соском, вывалившаяся из полы расстегнутой ягушки.
Под грудью расшитый бисером маленький капюшончик малыцы с медными подвесками и бубенчиком.
Перед грудью беленький платочек.
Губки с белым налетом от молока.
Вздохмаченная ягушка.
Пустая глазница.
Единственный глаз покрылся сухой пленкой всепрожигающей ненависти к убийцам.
Перебитая рука.
Перебитая нога.
Полчерепа.
Пол-лица.
Стол посреди чума обрызган сгустками побуревшей крови и облеплен ошметками слегка пожелтевшего головного мозга. Стенки чума в крови. Лежанки в крови. Посуда в крови. Одежда в крови. Весь дом в крови.
Все неподвижны. Все уснули вечным сном. Только младенец с высоты своей люльки, наклонившись вперед, прижав подбородок к груди, красными, как у тетерева, глазенками, кажется, с

удивлением вглядывался в неподвижные лица своих сородичей. Сейчас, когда задела жердину чума, люлька качнулась и медленно закружилась сначала в правую сторону, потом в левую. И, казалось, раскрыв ротик, он еще с большим нетерпением стал высматривать внизу свою молодую и красивую маму. Он надеялся на чудо. Он звал маму. Он ждал маму. Он просил воды, пищи и тепла. Его мучила жажда, ибо слезами выплакал всю воду.

Младенец поседел. Стал белым как снег. От плача он охрип и смолк. Притих. Только подвесной ремень его люльки, вращаясь, жалобно постанывал.

Младенца ни одна пуля не задела. И не потому, что красные пощадили его, просто красные стреляли по сидящим. В упор. Залпами. Через тонкую стенку чума. Поэтому сидевшие слева приняли смерть спиной, а те, кто были на правой лежанке, – грудью. И лишь младенец с высоты своей люльки, как небесный херувим, видел, кто и как принял неминуемую кончину. Только ему было суждено пережить всех сородичей в этом чуме.

Мать Детей быстро захлопнула дверь чума. За ее спиной вырос старшенький Роман, спросил:

– Кто там?

И Мать вдруг стала заикаться:

– Т-т-т-т-т...

Не могла вытолкнуть первое слово:

– Та-та-та...

Наконец, после паузы, ей удалось родить первое слово:

– Там... кровавый пир красных!..

Она хлебнула воздуха. Потом повернула сына лицом в сторону упряжки и, слегка подтолкнув в спину, шепотом сказала:

– Иди к младшим... Этого тебе лучше не видеть...

И мальчик молча поплелся к нарте.

А Мать Детей в нерешительности смотрела на второй чум. Он выглядел более мирным, чем первый. Не видно дыр, вырванных пулями с расстояния в десяток шагов. Вроде бы стены целы. Вдруг там осталась хоть одна живая душа!.. Женщина подошла, осторожно приподняла меховую полость-дверь и заглянула внутрь.

Показалась левая лежанка, сплошь устланная шкурами. На шкурах покоилась совершенно обнаженная молодка, словно изваянная из снега и льда. Мертвенно-холодным блеском отсвечивали ее широкие бедра...

Мать Детей, не чувствуя рук и ног, не ощущая своего тела, с подступившей к горлу тошнотой, пошатываясь, медленно побрела к нарте. И там свалилась на сиденье. Пришла она в себя от легкого прикосновения Романа:

– А там что?

– Там... живых тоже нет... – ответила она. – Дай отдышаться, сейчас поедем...

«Красные не дураки», – подумала она. В своих бумагах-отчетах они напишут, что «ликвидировали очередной очаг сопротивления». Ликвидировали. Никто из них, скажут, не стрелял по безоружным женщинам, детям, старикам. Они расстреляли чум, в котором засели восставшие остяки. И даже если они уничтожат подряд всех взрослых и малых, власть им ничего не скажет и не сделает. Они хорошо усвоили, что им можно все, что ничего запретного для них не существует. Никто и никогда не полезет в эти дебри для того, чтобы посмотреть, какой след там оставило «доблестное» войско красных.

Мать Детей заторопилась в дорогу. Побыстрее отсюда, подалее. Она подняла уставшего жожака Угольного, повернула его голову в сторону дороги. Отъехав немного, остановилась. Оглянувшись, окинула недолгим взглядом мертвое селение, тихо сказала погибшим сородичам:

– Схоронить вас нет сил... Сами это видите... Поэтому плохое в уме на нас не держите...

Затем она чиркнула спичку, бросила горящую палочку на дорогу и через этот всеочищающий огонь, потянув за собой жожака, шагнула прочь от мертвого селения.

Как ей показалось, она бодрым шагом повела старого Угольного в сторону родного дома. Широко открывая рот и раздувая ноздри, она жадно хватала морозный воздух. Ей подумалось, что весенний целебный дух лесов, озер и рек этой земли очистит ее нутро, ее сердце и душу. Сначала и вправду немного полегчало, но потом картина увиденного во всех мельчайших деталях опять всплыла в ее памяти. И она поняла, что от этого видения

нельзя так просто избавиться. Тут либо с ума сойдешь, либо по доброй воле смерти начнешь искать. Маяться, мучая себя и своих близких, не хотелось. Нет, это не дело. Это не для нее. Теперь, особенно со дня гибели дочери Анны, ее постоянно тянуло в мир ушедших. Но умереть надо не просто так. Лучше умереть в борьбе с красными. В схватке с ними. Рвать их руками, ногами, когтями, зубами. Чем угодно, лишь бы уничтожить их. Такой кровавый разбой прощать и оставлять безнаказанным нельзя. Так можно уничтожить один народ, потом другой, а затем жизнь вообще... Вот только оставшихся детей нужно довести до родичей, до живых людей. Ведь они еще совсем не успели пожить, им нельзя так рано уходить из жизни... А своего дыхания ни капельки не жалко. Но сначала спасти детей, отвести их в безопасное место, а потом на войну, на красных. Хоть с ружьем, хоть с топором, хоть просто зубами.

Она понимала, что ее загнали в угол, в тупик. Другого выхода нет. В мертвом чуме могли оказаться ее птенчики, ее дети. И красные с такой же легкостью расстреляли бы их, как и этих несчастных сородичей. Только за то, что остяки дышали и хотели жить на своей земле. Хотели жить по своим обычаям и традициям, со своими радостями и болями, со своими богами и богинями. И, стало быть, если хочешь, чтобы жизнь на этой земле продолжалась и предки спокойно покоились в своем Нижнем Мире, нужно остановить красных, остановить их злодеяния. Остановить даже ценою собственного дыхания. Правда, это очень высокая цена. Ведь человеку только один раз дано пройти по земле. Один раз согреться теплом Солнца. Один раз озариться светом Луны.

Теперь, после мертвого селения, Мать Детей все поняла. Поняла, почему аэроплан сбрасывал на головы ее детей огненные камни. Летчик не ошибался. Он отлично видел, что на дороге стояли не воины-мужчины, а женщина с детьми. Просто красные решили никого живым с Водораздела не выпускать. Особенно в южном и юго-западном направлениях. Там, на Оби, стояли старинные крепости-города Березово, Сургут, Кондинское, Самарово, или, по-новому, Остяко-Вогульск. И красным совсем не хотелось, чтобы весть об их кровавых и бессмысленных зверствах дошла до людей. И поэтому Водораздел они превратили в мерт-

вую зону, в мертвую землю, где надлежало уничтожить всех оставших остяков, успевших скрыться здесь после главного сражения на Божьем Озере. Северное и восточное направления не столь рьяно оберегали. На севере тебе никто не поможет, хоть льдам-торосам жалуйся, хоть на богов своих молись, хоть красных анафеме предавай. А на востоке упрешься в водораздел между Енисеем и Обью, дальше пойдешь – к Енисею придешь, в незаселенные районы Красноярского края попадешь. Там ты тоже не опасен... Поэтому, выходит, коль не оборвали твоё дыхание, не отняли твою жизнь в мертвой зоне, так сиди тихо, смиренно дожидаясь своей кончины.

Нет-нет, Мать Детей с такою участью не смирится. Она до последнего станет спасать уцелевших детей, а потом пойдет войной на красную нелюдь. Другого ей не дано. С такими мыслями она покидала мертвое селение.

Глава 17

И когда в воздухе снова загудел аэроплан, между Матерью и старшеньким Романом завязалась короткая схватка из-за ружья.

- Дай мне, я буду стрелять! – сказала Мать.
- Нет, я! – закричал сын Роман.
- У меня лучше получится!
- Я тоже постараюсь!
- Его нужно крепко наказать! За Анну!
- Я постараюсь! Я очень буду стараться!
- Его нельзя упускать!.. За нашу Анну!..
- Знаю, знаю, Мама!

Каждый из них тянул ружье на себя. Каждому из них хотелось вложить в выстрел по аэроплану всю ярость и боль. Хотелось отомстить за погибших от рук красных дочку и сестру, мужа и отца, сына и брата. Молча взывало о справедливой мести и мертвое селение. Поэтому никак нельзя промахнуться.

Между тем железная птица заметила упряжку и людей и начала описывать полукруг, чтобы по прямой ринуться в атаку. А ружье все еще не могли поделить – кому стрелять.

Мать сказала сыну:

- У меня рука тверже. Я охотилась. Сын на это ответил:
- Я – мужчина! Я – воин!

– Ладно, возьми, – уступила Мать. – Только не спеши.

Они отошли подальше от нарты в надежде, что аэроплан начнет бомбить людей с ружьем, а не упряжку с малышами. И начали выбирать удобную позицию. Но это оказалось непростым делом. Нет поблизости ни толстого дерева, ни бугорка для упора руки или спины. Как и в первую бомбежку, их застали на чистом месте, посреди небольшого озерка. А добежать до берега, где стояло несколько ветвистых сосен, просто не успеть.

Роман лихорадочно перетряхивал подсумок с патронами.

Мать деловито спросила:

- Сколько у тебя пуль?
- Было пять-шесть.
- Потерял, что ли?
- Да нет. Один патрон нашел.
- Заряжай, я остальные найду! –скомандовала Мать.

Она вытряхнула на твердый наст дороги все содержимое подсумка, без труда отобрала еще пять пулевых зарядов и отбросила ставший теперь ненужным подсумок. Один патрон отдала сыну, остальные зажала в левой ладони.

– Если успеешь, сделай два выстрела. Самолет не быстрее птицы летит... Хоть и железный, мерзавец...

– Да-да, постараюсь! – с лихорадочным блеском в глазах отмахнулся сын.

– Только не спеши.

– Знаю, Мама.

Роман быстро зарядил ружье, затем сбросил на дорогу свою малицу и стал на ней поудобнее устраиваться. «С колена будет стрелять», – сообразила Мать Детей. И молча похвалила: молодец, на этом чистом заснеженном льду ничего другого не придумаешь. Хороший охотник из него вырастет. И удачливый, и сообразительный, и скорый на руку и на ногу. Нужда заставит, так преждевременно и неплохим воином станет. Хотя война – это недетское дело. Но тут деваться некуда.

Между тем аэроплан развернулся и по-над нартовой дорогой полетел с северо-востока на юго-запад. Его темная тушка показалась за озером над верхушками сосен. Держал он курс прямо на одинокую упряжку.

Роман, кажется, успел подготовиться к встрече с железным чудовищем. Он уже согнул левое колено и положил на него локоть левой руки. Ружье держал на правой вытянутой ноге, пряча до поры до времени от аэроплана, чтобы тот его не заметил и не свернул в сторону до выстрела. И только когда аэроплан, преодолев полосу озерного берега, на небольшой высоте вышел на прямую линию со стрелком, мальчик поднял ружье, чуть согнул для устойчивости правую ногу, а левой рукой, с плотно прижатым к колену локтем, взялся за цевье. Осталось поймать на мушку чудовище, изрыгающее огненные камни, и спустить курок.

Мать Детей на несколько шагов отошла за спину сына и, невольно сжавшись, стараясь стать как можно меньше, присела на корточки. Она молчала. Знала, что иногда скажешь под руку – так этим скорее повредишь, нежели поможешь делу. Мальчик все-таки держит в руках ружье не первый раз. Правда, до сей поры он охотился только на зверей и птиц, а вот тут впервые... Прости, Господи, не по своей воле дожили до такого дня...

Мать Детей не мигая, заколдованно смотрела на ствол ружья, откуда должно выскочить возмездие за гибель доченьки Анны, за мужа, за сына, за девушку-неньку, за сородичей мертвого селения. От аэроплана уже отделились одна черная точка, вторая, третья. Это огненные камни. Ну, давай же, давай, стреляй! Пора, не то поздно будет!

Ревя, как хищное чудовище, аэроплан несся на Мать и ее детей. И когда он навис почти над головой Романа, Мать увидела обрывок пламени из ружейного ствола. Наконец-то! В следующий миг воздушная волна ударила ее в спину и ничком бросила на шершавый наст зимника. Ах, упреждение, упреждение он не взял, пронеслось в голове Женщины. Надо было сказать ему об этом. Ах, не догадалась, не успела. Гул мотора стал удаляться, начала оседать снежная пыль. Что же со старшеньким?! Мать бросилась к сыну. Роман лежал на спине, прижимая к себе ружье. Видно, волна огненного камня хлестнула его спереди и свалила навзничь.

– Ну, цел-жив?! – выдохнула Мама. – Не задело?! Не стукнуло?!

В глазах сына металась яростные огоньки. Но он не попытался даже пошевелиться и встать на ноги. В правом углу рта

выступила сукровица, почти незаметная. Он чуть шевельнул ружье на груди и с внутренним хрипом, тяжело, но внятно выговорил одними губами:

– Возьми... – и метнул горевшие живым огнем глаза в сторону гудевшего в небе аэроплана.

И Мать без слов поддалась страстному порыву сына: уничтожить огненно-каменное чудовище. Она схватила ружье за ствол и, озираясь на небосвод, выскочила на нартовую колею. Выпрямилась, повернула голову в сторону гудящего аэроплана, замахала руками и, словно тот мог ее услышать, закричала свистящим шепотом надсаженного горла:

– Давай, давай сюда! Вернись!

И пуле прежнего замаха руками. Сейчас она больше всего боялась, что аэроплан безнаказанно улетит. А этого никак нельзя допустить. Есть еще заряды: в левой руке она крепко сжимала четыре патрона с пулями.

– Вернись! – кричала она. – Видишь, мы еще живы!

Аэроплан гудел над кромкой приозерного леса. Его не было видно с озера.

– Вернись, чтобы убить нас! – кричала в небо Женщина. – Посмотри, мы еще не все погибли! Ты не всех убил!

И, словно услышав крики Женщины, аэроплан начал разворачиваться. Он показался на полуденной стороне неба. Он шел прежним курсом, по старому замыслу: на северо-востоке залечь на прямую над оленьим зимником и спикировать к упряжке с людьми.

Увидев серебристый бок разворачивающейся крылатой машины, Мать облегченно вздохнула. Наконец-то представилась возможность расквитаться за преждевременно погубленную жизнь доченьки Анны, всех родственников и близких. Пусть только не испугается, не свернет в сторону эта смертокрылая машина. Она, Мать Детей, слава Торуму, знает, как обращаться с ружьем. Жизнь научила этому. С ружьем она уже прошла два круга жизни.

На первый круг ступила в ранней юности, когда умер отец Савва и она, как старшая в семье, по первоснежью пустилась на охоту на белок и глухарей, чтобы прокормить семью. Второй круг одолела после того, как ее первого мужа русские увезли за

шаманство, а на нее повесили пушной и рыбный план за мужа. Делать было нечего, пожаловаться некому. Два года ей пришлось тянуть эту лямку, пока не сменили председателя колхоза и она не вышла замуж во второй раз, за Отца Детей. Но за это время научилась стрелять не хуже охотника-мужчины. А теперь вот вступает с ружьем в третий, последний круг своей жизни. И сейчас она вынуждена поднять ружье не на зверя-птицу, а – прости, Бог, – на красную крылатую машину, на красную не-людь. По аэроплану, конечно, ей не приходилось стрелять. Но почти за год войны с красными она наслышалась много рассказов, в том числе и о стрельбе по крылатым машинам. Она хорошо представляла себе, где находится сердце чудовища – мотор, где топливный бак, где сидит летчик-рулевой. Если аэроплан пролетит прямо над ней, то ведущего ирода, конечно, пулей не достать. Его можно зацепить на развороте или на взлете, коль вдруг задумает сесть на озере или реке. Не попасть, промахнуться по такой махине, не повредить ее – грех. Это тебе не чирок-свистунок, который за мгновение десять раз метнется влево-вправо или вверх-вниз... А эта крылатая дура хоть и железная, но громоздкая и поэтому вполне уязвимая. Только пугаться ее не следует. Но Мать Детей давно уже утратила всякий страх.

Пока аэроплан разворачивался и ложился на нужный курс, Мать Детей готовилась к стрельбе. К защите своих детей, своей упряжки, своего дома, а точнее, готовилась к защите своей Земли и тех людей, кто жил на ней. Она зарядила ружье и приложила приклад к плечу. Приклад оказался длинноватым – не очень удобно прицеливаться. Тогда она быстро развязала, кое-где обрывая, тесемки ягушки и освободила от одежды правую руку, отпихнув пустой рукав за спину. Теперь приклад ружья пришелся впору. Ведь толщина меховой шубы на плече была больше высоты одной ладони.

Все, ружье готово для стрельбы. Второй пулевой патрон она зажала вместе с цевьем левой рукой.

Теперь она присела посреди дороги на правую согнутую в колене ногу, а левую чуть выставила вперед для опоры стволодержательской руки. Все у нее было рассчитано. Если после первого выстрела огненный камень не упадет на нее, она развернет корпус толчком правого колена, в развороте перезарядит ружье и

выстрелит второй раз вслед железному людоеду. Вторая пуля не будет лишней.

Между выстрелами, если огненный камень упадет поблизости, нужно будет, перезаряжая ружье, плотно прижаться к земле, чтобы взрывной волной не отбросило в рыхлый снег на обочину дороги.

Мать Детей полубоком, выставив вперед левое плечо, с ружьем в руках сидела посреди дороги в ожидании огнеметущей крылатой машины. Женщина была готова к защите. И аэроплан красных был готов к атаке. Он вышел на пикирующую прямую. Женщина отметила машинально, что он держится чуть левее дороги. Это хорошо, подумала она. Слева удобнее взять его на прицел. Но он летел немного выше, чем в первый заход, однако при подлете будет на расстоянии верного выстрела.

Смертоносный аэроплан все ближе и ближе. Женщина взяла его на мушку, но с неженским хладнокровием выжидала. Ей нужно было бить наверняка, ибо другой такой возможности у нее не будет. Женщина замерла в ожидании, как бывало на охоте на подлетающую птицу с учетом скорости ее полета и направления ветра. Наконец она выдохнула:

– Ах, за Анну!

И нажала на курок. Приклад приятно ударил в плечо. Значит, крепкий заряд.

Но как ни старалась, а упустила единственно нужный миг и второй выстрел не успела сделать. Аэроплан даже не шелохнулся. Выбросил свои смертоносные камни и полетел дальше.

Мать Детей в отчаянии повалилась на дорогу. Только теперь она поняла, что стрелять надо было на подлете, когда аэроплан подставляет свой двигатель, а не в момент нависания над головой. Она лежала на утопанном снегу зимника и горько сожалела о том, что упустила свой шанс, не отомстила за Анну, за всех погибших. Вряд ли теперь крылатая машина вернется. Она лежала неподвижно, будто подкошенная. Хотя ее не задело осколком. На сей раз огненные камни упали где-то в стороне.

И вдруг она услышала гул. Подняла голову и увидела, что аэроплан возвращается. То ли его раззадорило это неравное единоборство, то ли он хотел взглянуть на результаты своей работы и убедиться, что в живых никого не осталось. То ли Бог

внял мольбам женщины и решил дать ей еще один шанс, дабы она могла расквитаться с крылатой машиной за гибель дочери.

Мать Детей, лежа, быстро зарядила ружье. Что-то ей подсказало, что раньше времени нельзя подниматься и показывать, что она еще жива. И только когда аэроплан стал подлетать к ней, она вскинулась на колени, подняла ружье и почти беззвучно выдохнула:

– За Анну!

И плавно нажала на курок. Аэроплан дернуло. Припав к земле, она быстро перезарядила ружье и, уже не целясь, навскидку выстрелила вслед уходящей машине.

Аэроплан качнуло влево-вправо, потом повело вниз. Но перед кромкой озерного леса он опять пошел вверх, поднялся над деревьями, и там от него повалил дым. С этим сизым дымным хвостом он и скрылся за лесом.

– Попала! Попала! – закричала она. – Анна, я попала! Попала!

И она захохотала глухим, шипящим, истерическим хохотом. Потом как-то незаметно ее хохот перешел в заунывный вой-плач. Она бросила на дорогу ружье, вытерла глаза уголком платка и медленно, покачиваясь из стороны в сторону, пошла к неподвижно распластанному на своей малице старшенькому Роману.

– Я попала в мерзавца! Слышишь, Роман? – говорила она сыну. – От него дым повалил. До Березово никак не дотянет. И до фактории не дотянет. Посреди какого-нибудь болотца протухнет!..

Они оба знали, что для гибели крылатых машин требуется не очень много. В снег и пургу они не летают. В пасмурную погоду могут потерять ориентир и, израсходовав топливо, шмякаются о землю. В этом случае даже рулевые-огнеметчики не остаются в живых. Если они не погибают при падении, то замерзают в снегах и льдах за сотни верст от человеческого жилья. Похоже, у красного войска каждая крылатая машина на особом учете. Стало быть, сегодня Мать с сыном нанесли карателям ощутимый урон. Правда, красные наверняка спишут эту потерю на счет неуловимого Малого Сеньки-старика, одного из последних остяцких воинов, которого никак не могут взять ни живым, ни мертвым. Впрочем, это не имеет значения. Главное – вот на этом озере они одолели красных, побили их.

– Мы их побили, слышишь, Роман?! – повторила Мать Детей, останавливаясь возле сына. Тот не ответил.

Мать, охваченная азартом охоты на ненавистный аэроплан, не сразу обратила внимание на то, что сын смертельно бледен и неподвижно лежит на малице, крепко сжав грудь и бока скрещенными руками, словно основательно продрог и хотел таким образом согреться. Веки его были опущены и тоже неподвижны. Мать наклонилась над ним, как несколькими днями раньше над умирающей Анной, нежно взяла его обеими ладонями за щеки и тихо позвала:

– Роман!.. Роман, ты слышишь меня?! Сын медленно поднял веки. В его глазах уже не металась яростные живые огоньки. В них стояла смертная тоска, сжавшая материнское сердце до дикой боли.

– Тебе холодно? Давай малицу надень!.. – в отчаянии прошептала Мать.

Она хотела поднять сына, чтобы вытащить из-под него малицу, но по его лицу скользнула такая боль, что она тотчас же опустила его на снег. Сквозь пальцы его правой руки, сжимавшей бок, проступила кровь. «Нужно перевязать и укрыть его!» – мелькнуло в голове Матери, и она уже собралась было бежать к нарте за перевязочным материалом и теплой одеждой, как сын взглядом остановил ее. Он разлепил спекшиеся губы и, с трудом выталкивая слова, тихо спросил:

– Мама, а наш Верхний Отец возьмет меня к себе на Небесное кладбище?

И Мать, почувствовав, что ему нельзя перечить, торопливо, ибо спешила к нарте за теплыми вещами, уверила его:

– Конечно, возьмет. Он забирает туда воинов и всех лучших людей, кто не своей смертью уходит из жизни. Ты ведь знаешь об этом...

– А-а, хорошо... – выдохнул сын.

– Ты тут немного потерпи, – сказала Мать. – Я сейчас, мигом – до нарты и сразу обратно. Перевяжу – и тебе полегчает. Ну, потерпишь немного без меня?!

Лицо сына немного вроде бы посветлело, а глазами он будто сказал «да».

Мать тут же сорвалась с места.

Глянула, а нарта уже возле противоположного берега озера. Вожак Угольный, прихрамывая на переднюю правую ногу, пытался увезти нарту с младшими детьми в прибрежный лес. Видно, осколком огненного камня перебило вожжу, и раненый Угольный поспешил укрыться под соснами бора от назойливой железной птицы, больно бьющей горячим клювом. Но у берега огненный камень сразил правого пристяжного быка, Молочного. И теперь вожак уже не мог тянуть всех – и нарту, и своего подбитого младшего брата. И встал. «Вот умник, вот умник», – машинально отметила Мать.

Она догнала упряжку, завязала обрывок вожжи, быстро собрала тряпки на перевязку, схватила лебяжью ягушку-одеяло и, бегло оглядев младшеньких Савву и спустившуюся с нарты Марию – не задеты ли осколками, не нуждаются ли в помощи, – бросилась обратно к старшенькому Роману. Но опоздала. Пока она ходила – оборвалось его дыхание. Из приоткрытых уголков рта стекала кровь, оставляя две полосы. Его болотно-зеленые глаза, еще не успевшие покрыться сухой пленкой, были устремлены прямо вверх, на весеннее голубое небо, словно там он высматривал свое будущее Небесное пристанище, о котором спрашивал Маму перед самой кончиной.

Вот туда и ушла душа старшенького Романа, пока Мать бегала к нарте.

Мать опустилась на землю у изголовья сына, закрыла ему веки, навечно отняв от его любознательной и озорно-болотной зелени глаз весь мир с последним ярким весенним днем, замотала его лицо и голову своим платком, завязала уголки под его подбородком. Потом надела на него малицу, застегнула ремень с ножнами на правом боку, сложила ему на груди руки, одетые в рукавицы.

Делая все это, Мать глухо рыдала-приговаривала:

– Мой последний кормилец,

Мой последний защитник,

Мой последний воин,

На кого ж ты нас оставил?

На кого ж ты нас покинул?

Куда ж я теперь с твоим неоперившимся братиком?

Куда ж я теперь с твоей неоперившейся сестренкой?

Как мы без тебя дорогу к дому найдем?

Как мы без тебя эту дорогу одолеем?

Кто ж нам рыбу озерную наловит?

Кто ж нам рыбу речную добудет?

Кто ж нам зверя-птицу принесет?

Мой миленький ребеночек!..

Моя миленькая кровинушка!..

С этими рыданиями-причитаниями, все продолжая разговаривать с сыном, Мать закидала комьями снега окровавленный наст дороги. Человеческую «светлую», «яркую», то есть кровь, не должны видеть ни Солнце, ни Луна, ни Небо, не должны клевать-крошить ее вместе со снегом ни глупые птицы, ни неразумные звери.

Потом она осторожно положила тело сына на шкуру и волоком, тяжело потянула ее к берегу озера, в сосны, где она соорудит ему последнее земное пристанище. Она прошла мимо одинокой упряжки с хромым вожакем и убитым пристяжным, которых подбил-таки проклятый аэроплан. После, как в тумане, плохо соображая, но все делая так, как нужно, машинально освободила от упряжи убитого Молочного, при этом отметила, что пристяжной принял на свой бок все осколки от огненного камня. Он прикрыл собою детей на нарте, спас их. Конечно, так вышло в силу обстоятельств, как бы невольно, но все равно она благодарно провела рукой по остывающему «лицу» старого оленя. Затем на одном хромящем быке она притянула нарту под сосны, где начала устраивать привал. Перевязала рану на ноге вожака Угольного, сняла с него ляжку и на поводке привязала за сосенку на целине – пусть копает и достает себе ягель. Развела костер, повесила над ним чайник. Утоптала снег для лежанки, нарубила туда соснового лапника и постелила шкуру. На шкуру поставила люльку с Саввой, а рядом посадила няньку – младшенькую Марию. Сначала нужно накормить детей, а потом надо будет собрать в последний путь погибшего старшенького.

Вечером, когда Мать готовила для детей постель, Мария вдруг сказала:

– А меня железная птица тоже клюнула.

– Как?! Куда?! – изумилась Мать.

– Вот сюда, – и девочка показала на бедро.

– А почему сразу не сказала?!

– Не больно было.

Мать немного успокоилась, когда, осмотрев рану, присыпала ее пеплом и забинтовала. Она оказалась неглубокой, и кровь на ней давно уже запеклась. Но под утро Мать проснулась от стонов Марии.

– Что с тобой? – спросила Мать.

– Мне жарко, Мама.

Мать приложила руку к ее лбу. У девочки был жар.

– Только не вздумай болеть, доченька! – взмолилась Мать.

Она встала и, тяжело ступая, собирая сухие сосновые сучья для костра, сквозь наворачивающиеся слезы все вопрошала:

– Почему огненный камень красных мое тело не заберет?!

Почему огненный камень красных мою душу не заберет?!

Но над ней только безмолвное небо, только безмолвные снега.

Глава 18

Волчица-мать плакала беззвучно и без слез... В тот день аэроплан-лазутчику не повезло: не сбросил огненные камни, никого не прибил, не навел ужас, не напугал до смерти. Это уже был беспорядок. И поэтому летун очень обрадовался, когда увидел внизу на чистине волчью семью.

Волчица-мать лежала на животе, подставив теплым лучам весеннего солнца голову на вытянутых передних лапах. Перед ее прикрытыми холодными глазами проплывали картинки этой зимы. Война хорошо кормила ее семью. То попадутся туши убитых в перестрелках оленей, то остатки всякой еды на местах привалов и ночевок, то брошенные селения, где всегда есть чем поживиться. Красные не трогали волчью семью – им было не до волков.

А с хозяином этих земель волки почти всегда жили в ладу. Правда, Волчица-мать иногда брала оленей из хозяйского стада, но ровно столько, сколько разрешал Верховный, ибо пред тем, как взять оленя, на окраине пастбища она задирала голову к небу и просила добычу у Верховного. И если Тот разрешал, брала, если нет, то уходила ни с чем. Не станешь же ссориться с Верховным из-за одного-двух оленей. Да и Он всегда знал, сколько

полагается Волчице-матери. И она знала меру – лишнего не просила. Но если она начинала брать без разрешения Верховного, то хозяин сначала смотрел сквозь пальцы, терпел сколько-то времени, но потом наказывал ее род. Такими были отношения между хозяином и его четвероногой соседкой.

Сейчас Волчице-матери инстинкт подсказывал, что надо уходить. И уходить на север, подальше от сытных снегов войны. В семье не могли ее понять: почему нужно покидать эти земли, тем более что теперь все можно, все дозволено. Но умная звериная мать смутно ощущала, что в мире существует очень тонкая, почти призрачная связь между двуногими и четвероногими. Если хозяин исчез, если превратился в пустоту, в ничто, то наступает твой черед. И, только уйдя на другие земли, к другому хозяину, можно спастись, потому что нормальной жизни не может быть в хаосе и беспорядке. Надо бы подняться, развернуться всем корпусом и медленно двинуться по протоптанной тропе, которая уводит прямо на север. И ее семья нехотя, с оглядкой на место пиршества, поллетит за ней.

Она услышала гул железной птицы, но не придавала этому особого значения. Не впервые она шумит над снегами-льдами. Эта птица охотится на двуногих, а не на четвероногих. И Волчица-мать все продолжала думать о пути на север. Не обратили внимания на аэроплан и ее детеныши с Волком-отцом, что за ее хвостом «прибирали» впадинку посреди болота, где завалили молодого бычка, который был подранен шальной пулей, и поэтому стал довольно легкой добычей. Точнее, отец учил молодых, каким должно оставаться место пиршества. Верховный с неба все видит: плохо сделаешь – не будет удачи. Правда, теперь война все перепутала и в волчьей жизни: время охоты и время отдыха, ночь и день, утро и вечер.

Гул все нарастал со стороны севера.

И этот гул стал наполнять нутро Волчицы-матери. Нужно было подняться, взглянуть на железную птицу, попытаться понять, что та задумала. Но картинки-видения так захватили ее, что не дали вовремя почувствовать опасность.

А железный гул все набивался в ее нутро и как бы завораживал, сковывал волю, не давал шевельнуться. И наконец, когда все ее нутро переполнилось, гул мгновенно сорвал ее с места и

она четырежды скакнула в сторону южной тропы. Это ее и спасло. На пятом прыжке сзади грохнуло – и земля будто раскололась. Но она все продолжала огромными прыжками нестись на юг. И не могла остановиться. И только когда тень железной птицы перегнала ее, она остановилась, перевела дух и оглянулась.

Волк-отец с сыном неслись по старому следу-тропе на север, в противоположную сторону. А над местом пиришества висело облако снежной пыли. Когда эта пелена, оседая, поредела, она никого там не увидела. Там зияла бездна. Так ей показалось.

Значит, двое ее детенышей канули в бездну.

Ее детеныши превратились в пустоту.

Ее детеныши превратились в ничто.

Они ушли, как и хозяин этих земель.

И Волчица-мать заплакала. По-собачьи села на снег, задрала голову к небу и заплакала-завыла. Она плакала протяжно и тоскливо. На одной плачущей и долгой ноте. Так она оплакивала своих детенышей. Так она жаловалась Верховному на свою потерю, на свою судьбу.

А между тем, сделав разворот, железная птица пошла на новый заход. Со стороны севера она вышла на прямую, на которой находились три уцелевших волка. Два первых неслись навстречу аэроплану, стараясь до его приближения укрыться в небольшом приболотном леске. А Волчица-мать все сидела неподвижно и плакала. Но когда грохнули взрывы по первым двум бегущим и после этого гул особенно сильно стал давить на ее нутро, она медленно поднялась, повернула в свою, южную, сторону и как бы нехотя, как бы по принуждению затрусил к ближнему лесу. Вернее, инстинкт самосохранения заставил ее сделать это. И уже на окраине бора, в мелком сосновом подросте сзади, грохнуло, и ее подтолкнуло снежным вихрем и занесло в глубь леса. Там ее накрыло снежным шквалом и пронесло то ли по Верхнему Миру, то ли по Нижнему. Сколько ее носило по этим мирам, она не представляла. Когда открыла глаза, увидела дорогу. Пошевелила передними лапами. Они были целы. Но вся задняя часть туловища онемела, точнее, помертвела. И невозможно было дотянуться туда, чтобы зализать раны. Все ее тело сверху было присыпано снегом. Она чувствовала тяжесть снежных

комьев. Нужно стряхнуть их с себя, избавиться от них. И чтобы не оказаться в леденеющей от весенних заморозков снежной берлоге, она с трудом выползла на нартовую колею. Дорога сохранила запах человека. Она лежала неподвижно на обледеневшей тверди дорожной спины и, прикрыв глаза, смотрела картинку.

Волк-отец с сыном проваливаются в бездну.

Превращаются в пустоту.

Превращаются в ничто.

Но оплакивать их нет сил.

И нет голоса. Вместо плача она выдавила из себя только жалостливый хрип. Значит, на севере делать нечего. Значит, нужно идти туда, куда повернута голова. В полуденную сторону.

Дорога пахнет человеком. А ей и нужен человек. Она видела призрачную картинку: хозяин, человек. Может быть, хозяйка. Может быть, их сын. Нужен человек с любым оружием: с ружьем, копьем, ножом или с топором. Чутье ей безошибочно подсказывало: это ее последняя картинка в Среднем Мире. И эту картинку надо догонять.

И Волчица-мать поползла по дороге, пахнувшей человеком.

Она ползла, когда зажигалась утренняя заря.

Она ползла, когда светило солнце.

Она ползла, когда угасала вечерняя заря.

Она ползла, когда на небо поднималась луна.

И наконец догнала человека. Быть может, хозяйку. С сыном и собакой. Но женщина странно себя повела. Она не прикоснулась ни к ножу, ни к топору. Вместо этого она заговорила с непрошеной гостьей и затем поделилась едой, которую положила на дорогу. Увидев это, Волчица-мать заплакала. Она ничего не могла понять. Что, все в этом мире перевернулось?.. Кто перевернул? Война? Красные? Белье? Когда же это случилось? Когда?..

Волчица-мать плакала беззвучно и без слез.

Глава 19

И настало утро, когда Матерь Детей не смогла подняться на ноги. Она лежала на спине у костра и смотрела на высокое весеннее небо, на восходящее золотистое солнце, на рыже-зеленые верхушки боровых сосен и не захотела смириться с мыслью, что

пришел конец. Она закрыла глаза, крепко зажмурилась, и перед ее мысленным взором пронеслась череда событий последних дней. Точнее, череда смертей: муж, сын, девушка-ненька, старшенькая Анна, старшенький Роман, мертвое селение, распятый на дороге, младшенькая Мария.

Мария проболела совсем недолго, ушла из жизни ночью, тихо и спокойно, без плача и стонов. Мать проснулась, может быть, одним мгновением позже, будто кто, подтолкнув, спешно разбудил ее. Она открыла глаза, прислушалась к зловещей тишине и поняла, что они с Саввой-несмышленищем остались вдвоем.

Вслед за людьми красная крылатая машина отправила на тот свет беззаботного и веселого рыжего пса Хвост Крючком, быков-братьев Угольного и Молочного. Хозяином быков был старшенький Роман. Как это принято у всех ханты, олени в семье распределялись между всеми членами семьи, на оленью удачу каждого. Еще во младенчестве Отец подарил Роману темношерстную красивую важенку Высокий Рог. Она в первую же весну родила теленка, черненького, резвенького. По цвету шерсти и назвали его Угольным. В следующую весну Высокий Рог принесла второго малыша, со светло-коричневой шерсткой. Он сразу себя проявил тем, что, как только матери-оленихи начинали кормить его сверстников, он пристраивался рядом к свободному соску. Значит, любил молоко. Вот и стал Молочным. Через год их мама, Высокий Рог, после вольного выпаса не вернулась осенью домой. А братьев-быков обучили нарте, и стали они степенными стариками по оленьему возрасту. Если старшему было около восьми-девяти лет, то младшему семь-восемь. И вожак Угольный погиб от голода и раны, полученной при второй бомбежке. Главное, после ранения он не мог самостоятельно прокормить себя, не мог добраться до сладкого ягеля. Раненная передняя нога не работала, не разгребала снег. И нельзя было на нее опираться, чтобы левым копытом доставать корм. Мать, зная, что без оленя станет совсем тяжело, из последних сил боролась за дыхание вожака. Сама разгребала для него снег, но без лопаты это было трудно делать. Потом стала подкармливать Угольного лишайником с деревьев. Но все равно это был не сытный ягель. И в одно утро она обнаружила, что

вожак как лежал в снежной яме на животе, изогнув шею, уткнув морду в левое предплечье, в свою теплую шубу, так и уснул вечным сном. С этого дня Мать Детей, точнее, теперь уже Мать Дитя, бросила нарту и впряглась в волокушу.

Просматривая картинки прошедших дней, она тотчас же начала наполняться яростным злом. До хруста сжав челюсти, она открыла глаза и сказала Небу назло красным:

– Нет, не умру! Не умру!..

Медленно повернулась на бок, потом на живот и, опираясь на локти, подползла к потухшему кострищу. Сдвинула в кучку вчерашние не догоревшие головешки и угольки, собрала в горсть сорванные ветром с деревьев кусочки лишайника и мелкие-мелкие веточки, осторожно, как большую ценность, сунула их в головешки и, выгасив спички из платяного нагрудного кармана под ягушкой, запалила с таким трудом собранную растопку. Влажный лишайник зашипел и лениво зашаял.

Костер нехотя разгорался. Струйки сизого дыма потянулись прямо в небо, обещая устойчивую ясную погоду.

Мать Детей собрала в закопченную кружку кусочки потемневшего под весенним солнцем снега и вскипятила воду, куда бросила три-четыре дольки чаги. Чай уже давно кончился. Выпив кипятка, она немного приободрилась. Чага издавна, если ничего другого не было, заменяла чай. На вкус, правда, напиток горьковатый, но цвет приятный – оранжево-коричневый, здоровый, лесной. После чагового чая она достала из-за пазухи куропачье крылышко с кусочком грудинки с беличьей головку, последнюю добычу Пойтэка, и сварила все в той же закопченной кружке, которая теперь служила и чайником, и котлом. Она откусывала по кусочку от грудинки и, старательно прожевывая, эту мясную жвачку небольшими порциями вкладывала в ротик маленькому Савве. Он глотал жвачку, почти не жуя. Мать давала ему время от времени глотнуть из блюдца бульон от крылышка. Савва сейчас очень смахивал на птенца в гнезде: проглотив пищу, он тотчас же разевал ротик. Ждал следующую порцию. После бульона Мать дала ему несколько глотков чагового чая, чтобы утолить жажду. От такой трапезы Савва вроде бы даже повеселел: заблестели его глубоко впавшие болотно-зеленые глазенки, и он довольно бодро сказал:

– Ням-ням-ням!..

– Ты что – еще хочешь есть? – удивилась Матьерь.

– Ням, – повторил маленький Савва.

– На этот раз все, Савва, нет ням, терпи, – сказала Матьерь. – У нас впереди еще длинный день...

Савва на это среагировал по-своему. Он оглядел кострище, посветлев личиком, улыбнулся Пойтэку, как старому другу, откинулся на высокую спинку люльки и, наклонив головку к правому плечу, вдруг беззаботно запел:

– А-а-а-у-у-а-а-а...

Матьерь лишилась дара речи. Она долго широко раскрытыми глазами смотрела на младшенького сына, потом со слезами осыпала поцелуями своего несмышлениша, говоря радостно:

– Савва, миленький! Ты еще можешь петь?! Значит, мы с тобой не пропадем?! Значит, еще поживем! А про ням-ням ты просто пошутил, да?

– А-а-а... – ответил Савва.

– Ай да Савва! Ай да шутник! Ведь твое сердце уже не клюет голод?

– У-у-у...

– Хорошо. Сегодняшний день как-нибудь проживем. Правда, Савва?

– А-а-а...

– Мы выйдем к людям. Обязательно выйдем, Савва!..

Так, беседуя с сыном, Матьерь распеленала его и заменила мокрые стружки в нижней куженьке-сиденье на сухую оленью шерсть. Теперь она выстригала шерсть со шкуры-волокуши. Сделав это, Матьерь облегченно вздохнула. С Саввой все в порядке на сегодняшний день. Вроде бы насытился, в люльке сухо, настроение у него бодрое. Только побыстрее бы в дорогу собраться.

Запеленав Савву, Матьерь взялась за свои дела. А дела у нее не настолько хороши, как показалось ее неразумному младенцу. Она не спеша обсосала косточки крылышка, вытянула из них самое ценное – тоненький костный мозг и все это запила остатками бульона. В желудке остро покалывало и время от времени урчало.

Подержав двумя ладонями живот, она уняла боль.

Старик Пойтэк, лежа на краю шкуры-волокуши у ног хозяйки, изредка открывая один глаз, внимательно поглядывал на нее. Ждал своей доли. Женщина протянула ему две косточки. Он осторожно взял их одними губами, подержал немного и положил перед собою на снег. Только после этого обнюхал и отправил в пасть, громко хрустнув.

– А ты, Пойтэк, кажется, сытый? – спросила хозяйка.

Услышав свое имя, пес слабо шевельнул хвостом.

– Знаю, ночью ты на охоту ходил, – продолжала женщина. – Что-нибудь добыл?

Пойтэк широко разинул пасть и ответил:

– Ав-вав...

– Знаю, ты охотник удачливый, – говорила хозяйка. – Мышами и прочими мелкими зверюшками-птичками ты, конечно, напился. Напился, но, конечно, не досыта, но все же сердце немного обмягчил. Ты у нас с голоду не пропадешь.

Пойтэк встал и, изобразив на морде собачью улыбку, подошел к хозяйке и попытался лизнуть ее в лицо.

– Ах ты проказник, остальные косточки выпрашиваешь, – со смешком удивилась хозяйка. – Нет, тебе достаточно. А эта пища для Ползущей, для Высоконогой. У нее тоже сердце есть. Она тоже голодная. Совсем без куса ее нельзя оставлять, Пойтэк.

С этими словами женщина завязала оставшиеся косточки в уголок платка, искоса глянув в обратную сторону дороги, где, прикрыв глаза, лежала раненая Волчица, за ночь ползком догнавшая людей с собакой на этой стоянке. Она приползла рано поутру, когда только начало светать. У Пойтэка на холке вздыбилась шерсть, и он грозным лаем разбудил хозяйку. Женщина приподнялась на лежанке, внимательно посмотрела на незваную гостью. Она остановилась на границе, разделяющую животный мир от человеческого. Главное, не перешла эту невидимую линию, не нарушила ее. Стало быть, Высоконогая в своем разуме. Понимает, что можно, а чего нельзя. А хозяйка погладила старого Пойтэка по шее и, успокаивая его, унимая его злобно-азартную дрожь, сказала:

– Пойтэк, не трогай ее. У нее дела намного хуже, чем у нас!..

С этими словами Матьерь опустила на лежанку и задремала. Пойтэк перестал лаять. Но, сев на задние лапы, до самого вос-

хода солнца недоверчиво поглядывал в сторону Волчицы. Он не мог понять, почему хозяйка с таким сочувствием отнеслась к этой незваной гостье.

Сейчас, после разговора с Пойтэком, Матьер занялась своими ногами. Все прошедшие дни пронеслись, как в кошмарном сне. Она билась только за одно – за жизнь детей, за дыхание детей. Как бы их защитить, как бы их спасти! О себе она напрочь позабыла: что ест, что пьет, во что одета, спит ли по ночам, бодрствует ли, оберегая сон детей. И вот теперь обнаружила, что шершаво-острый, как нож, весенний наст давно протер ее подошвы, а утренние и вечерние заморозки обморозили ее пятки. Пятки отекли и посинели. И теперь ступить на них невозможно. Они не держат ее хрупкое, высохшее тело. Но умирать она не собиралась. Вернее, она была готова принять смерть, но не сейчас, а немного позже, когда сделает еще несколько неотложных земных дел. И поэтому она принялась лечить свои пятки. Из дорожной мужской игольницы она вытащила самую толстую иглку и толстую нитку. Водя ниткой по бокам закопченной кружки-чайника, со всех сторон покрыла сажей. Иглу тоже смазала сажей. Потом, стиснув зубы, без единого оха и вздоха, прошила большими стежками сажевой ниткой левую обмороженную пятку. После, сменив нитку на новую, со свежей сажей, то же самое проделала с правой пяткой. По нитяным отверстиям стала сочиться кроваво-гнойная жидкость. Сейчас, должно быть, немного полегчает.

Так когда-то в древности лечили обмороженные места.

Обе нитки, которыми она прошила пятки, свернув, отдала огню. Затем из шкуры-волокуши вырезала два куска и приспособила их вместо подошв, примотав к ногам матерчатыми завязками. Осторожно, опираясь на посошок, она встала. Выдержав несколько мгновений, опустилась на землю. Она поняла, что kloкочущим в груди гневом убивая боль в пятках, может идти небольшими шажками в сторону дома. Но одно дело нести себя, и совсем другое – тянуть волокушу с Саввой. Так далеко не уйдешь, но и сидеть на месте нельзя. Неоткуда ждать помощи. Все, кто мог бы помочь, покинули Средний Мир.

Она поставила на шкуру-волокушу люльку с Саввой и сложила все остальные вещи: маленький топорик, ружье, дорожный

мешок с посудой, какое-то тряпье и легкую лебяжью ягушку с верхом из тонкого зеленого сукна. Все это перевязала веревками, пропущенными через дырочки по краям шкуры. Потом надела через плечо лямку волокуши, предварительно чуть удлинив ремень-тяж, и с обочины дороги, где было кострище и место ночлега, выползла на коленях на нартовую колею и осторожно вытянула туда шкуру. Остановилась, отдышалась, внимательным оком окинула стоянку – не позабыла ли тут чего нужного. Затем окликнула собаку.

Старик Пойтэк еще не вышел на дорогу. Он стоял у кострища и смотрел на хозяйку.

– Пойтэк, иди, – сказала хозяйка. – Впереди иди.

Пойтэк вильнул хвостом, подтвердив этим, что понял хозяйку, и не спеша, как бы нехотя, вышел на зимник, прошел вперед и встал.

Хозяйка махнула рукой вперед и повторила:

– Пойтэк, впереди иди, зверя ищи!..

Пойтэк снова слабо махнул хвостом и двинулся по дороге. Пройдя немного, он оглянулся и, увидев, что хозяйка еще не строилась с места, вновь остановился, ожидая ее.

Женщина, глянув в обратную сторону, развязала уголок платка и положила на обочину оставшиеся косточки от куропачьего крылышка. Немного подумав, она достала нож и от края шкуры-волокуши срезала две неширокие полоски, которые прибавила к косточкам. Это была шкура довольно упитанного бычка, забитого уже в весеннюю половину зимы. На мездре кое-где оставались кусочки жира. Поэтому шкура была вполне съедобна для голодного.

Женщина повернулась к Ползущей. Она лежала посреди дороги на расстоянии полутора-двух арканов и, подставив солнцу белесую морду, приоткрыв желтеющие щелки глаз, настороженно наблюдала за человеком.

Женщина сказала:

– Вот, Ползущая, свое сердце немного обмягчи. Больше этого дать не можем... Мы сами тоже почти ничего не едим...

Помолчав, добавила:

– Ну, мы пошли домой...

Однако женщина и после этих слов не сдвинулась с места. Что-то удерживало ее. Поразмыслив, она сказала Волчице еще несколько слов:

– Я не знаю, куда сейчас пойдешь, куда тебя наш Верховный Отец направит... Но ты сама знаешь, что не мы тебя до такого состояния довели!

И женщина, поправив на плече ляжку, не оглядываясь, поползла на четвереньках в сторону родного дома, потянув шкуру-волокушу с последним ребенком.

Пойтэк, ревниво наблюдавший за хозяйкой, повернулся и затрусил вперед по зимнику.

Глава 20

Пойтэк был не просто умным, а мудрым стариком. Когда не осталось ни крошки еды, он принес в зубах куропатку. Где и как он добыл птицу – осталось тайной. Но сейчас главное для Матери Детей – заполучить его добычу. Еще издали заметив старого пса-охотника, хозяйка ласково позвала его:

– Пойтэк, кац-кац-кац!.. Он шел медленно, часто останавливаясь. Как бы нехотя, как бы раздумывая, стоит ли поделиться с людьми своей добычей. Понимала это и Мать Детей. Она знала, что Пойтэк не настолько голоден, чтобы в лесу, на месте поимки, сразу разодрать и съесть куропатку. Но и не настолько сыт, чтобы вот так просто отдать свою пищу. И она еще более ласковым голосом продолжала подзывать его:

– Пойтэк-Пойтэк! Кац-кац-кац!

Но Пойтэк не был простаком. Он понимал, для чего так настойчиво его подзывают. Он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Навострил короткие округлые ушки и слабо вильнул белым пушистым хвостом, сказав этим, что слышит хозяйку. А та пустилась на хитрость, прикинулась, будто ничего не знает и интересуется только удачной охотой Пойтэка:

– Покажи нам, кого ты там добыл? Покажи, какую птицу поймал?

Пойтэк повернул голову назад, показывая, где он охотился. Потом прилег на дорогу и, опустив тушку птицы на снег, принялся слизывать льдинки с подушечек передних лап. Делал он это с таким видом, будто ничего более важного для него на све-

те не существует. Никого не слышит и не видит. Ведь лапы носят и кормят его и поэтому требуют особого ухода. Сегодня не почистишь их, ранки не залижешь – завтра не встанешь, на охоту не пойдешь, значит, останешься голодным, а голод – это смерть. Стало быть, здоровые лапы – это жизнь. И Пойтэк отлично это понимал.

Мать Детей пошла на новую хитрость. Она отвернулась от Пойтэка, наклонила голову, приспустила платок на лоб и сделала вид, будто напрочь забыла про удачливого пса-охотника, будто его нет и не было с куропаткой в зубах. Это должно было задеть самолюбие Старика. Как же так?! Неужели Хозяйка позабыла о нем?! Быть того не может! Конечно же, Хозяйка думала только о старом псе. Она знала, что коль уж он принес свою добычу, то вряд ли слопают у хозяев на глазах или убежит с ней обратно в лес. Хотя кто предугадает, какими тропами собачий ум ходит, куда он может повернуть. Поэтому лучше его пока не трогать. Пусть привыкает к мысли, что нужно поделиться с Хозяйкой и Маленьким Хозяином.

И ум женщины помчался в обратную сторону, в глубь прожитых лет. Вспомнился тот год, когда родился Пойтэк. А родился он в год жестокой зимы, в самые сильные срединнозимние морозы. В помете было пять или шесть щенков. Все они замерзли, кроме одного.

В тот вечер, покормив собак, Хозяйка задержалась у конуры Пойтэковой матери, оленегонной лайки Соснэ. Та, дрожа от холода, жадно глотала пищу. Хозяйка поняла, что собака обрадовалась не столько ужину, сколько теплу. В холода всегда хорошо нагревали «собачий котел». Под ногами матери на травяной подстилке копошился и едва слышно попискивал беленький комочек, последний щенок. Мать Детей постояла в раздумье: не взять ли щенка в дом? Выживет ли в такой мороз?.. Вообще-то для собак были свои правила. С самого рождения собаки должны жить собачьей жизнью. В человеческом доме их никогда не держали и к теплу не приучали. Если начинаешь держать в людском доме, значит, как бы очеловечиваешь их. Стало быть, они должны тогда жить по человеческим правилам. А так не годится. У них свой дом, своя пища, своя тропа. Сам Верховный определил им такую жизнь. У каждой из них своя судьба. У всех

разная. И наверное, их судьбы могут быть не менее счастливыми, чем у людей. Кому что предначертано свыше. И жизнь этого белого комочка, как и всякой живности, тоже в руках самого Верхнего. Как Он решит, так тому и быть...

С такими мыслями в тот лунный морозный вечер Матерь Детей вернулась в дом. И, надеясь на советы домашних, рассказала о последнем щенке. Потом, как бы ни к кому не обращаясь, проговорила в раздумье: «Может, в дом его взять...» Хозяин, Отец Детей, молча выслушал ее и ничего не сказал. Это значило: решай сама, как считаешь нужным, так и делай. И Матерь Детей взялась за шитье, отвлеклась от мыслей о белом комочке, как бы забылась на время. Жизнь в доме текла своим чередом. Вечерний чай, колыбельная песенка для доченьки Анны, снова шитье. И вдруг будто кто-то слегка подтолкнул Матерь. Она вздрогнула от неожиданности. Остановила иголку, посидела мгновение неподвижно, затем не спеша отложила шитье и вышла на улицу. Вдохнув колочий воздух, остановилась у сенных дверей.

От луны было светло как днем. Мороз гулко протыкал «пузыри» деревьев. Изредка с хрустом отваливались ветви сосен. Со звоном оседали на снег лунные куржинки.

Мать щенка, собака Соснэ, звякнув цепью, негромко затыкала, словно подзывала Хозяйку. Подойди, посмотри, что тут с нами происходит! Матерь Детей подошла к конуре. Новорожденный щенок, белый комочек, едва различимый на подлунном снегу, повизгивая, пробирался по тропинке в сторону дома. Не то шагом, не то ползком. Он еще совсем неуверенно держался на дрожащих ножках. Делал несколько шажков, на неровностях тропы спотыкался и плюхался на брюхо. Тоненько поскуливая, царапая утопанный наст еще не отвердевшими коготками, чуть проползал вперед на животе и потом с трудом поднимался и начинал семенить к дому. Падая. Барахтался на месте. Если переворачивался на бок или спинку, то сучил лапками, как человеческое дитя. Довольно шустро пытался вскочить. Наконец вновь поднимался. Бежал. Неуклюже. Почти на одном месте. Но настойчиво, целеустремленно. При этом радостно повизгивал. Опять же, как ребенок. Он был почти невидимкой на снегу под призрачным лунным светом. И только ме-

чущаяся туда-сюда черная пуговичка кончика носа и тоненький голосок выдавали живое существо.

Женщина остановилась возле собачьего дома. Соснэ, потянувшись вслед за своим дитем и брякнув цепью, опять взлаяла, как бы пожаловалась Хозяйке:

– Смотри, убегает мой сынок!

– А куда ты глядела? – укоризненно спросила хозяйка.

Соснэ потупила умные глаза, опустила взор к снегу, потом виновато ответила:

– Да вот... не усмотрела!

– Упустила?

– Да... вот!

– Ну, так я заберу беглеца в дом?

– Да... так!

– В тепле будет...

– Да... ав-вав!

– Не пропадет...

– Авв-ваав!.. – протяжно, вильнув хвостом, ответила Соснэ.

– Как только потеплеет, он вернется, – сказала хозяйка.

– Авв...

– В твой дом.

– Авв-ваав! – согласилась собака. Разговаривали, конечно, на разных языках.

Женщина – на человеческом, собака – на собачьем. Но Матерь Детей все слова переводила на родной язык, понимала все, что «говорила» собеседница. Да и как не понять ее, если с рождения изо дня в день кормила и поила Соснэ?

Между тем щенок, падая, кувыркаясь, настойчиво полз в сторону людского дома.

– Ну, мы пошли... – сказала женщина.

С этими словами она подняла щенка и направилась в дом. Чудеса, да и только, воображала она, плывя по лунной дорожке, ведущей к сеним. Чудеса! Кто направил неразумного щенка к человеческому жилищу?! Кто оторвал его от теплого материнского бока?! Неужели инстинкт самосохранения подтолкнул малыша на поиски человеческого тепла? Но это невероятно. Он еще слишком мало пожил на земле, чтобы так четко мог сформироваться инстинкт выживания... А могло быть и совсем по-

другому. Умная и все понимающая Соснэ сама, взяв зубами сыночка за шкурку, поставила его на тропинку и подтолкнула носом в сторону хозяйского дома, чтобы спасти последнего дитяти. Мол, иди, ползи к спасительному теплу, цепляйся еще неокрепшими коготками за белый свет, за земную жизнь. Но в это тоже поверить трудно. Собака все же не человек, чтобы думать о будущем...

Так и осталось это загадкой для Матери Детей. Так она этого и не узнала, вплоть до сегодняшнего дня.

Женщина шла к дому с теплым пушистым комочком в руках и не только спиной, а всем телом ощущала на себе глаза собаки. Она пристально, не отрываясь смотрела вслед человеку. И когда Хозяйка уже подходила к сням, взлаяла так протяжно, так жалобно, будто со стоном заплакала: «У-у-ув-вув-вув-ву-у-у!..»

У женщины дрогнуло сердце, она поняла: «Может, оставишь мне сыночка...».

Она остановилась и, унимая застучавшее сердце, глубоко вздохнула, потом, медленно повернувшись, посмотрела на собаку. И негромким, но твердым голосом приказала:

– Кэча, Соснэ!.. Кэча!.. – И, помолчав, тихо спросила: – Это... что с тобой случилось? – Опять помолчала, потом добавила: – Он же вернется к тебе... Соснэ слабо махнула хвостом, брякнула цепью, присела на задние лапы и, впившись немигающими глазами в хозяйку с ее сыночком в руках, наострив чуткие острые уши, под призрачным лунным светом застыла белым истуканом. Ее материнскую душу одолевали недобрые предчувствия и терзала черная тоска.

Женщина быстро открыла промерзшие двери.

Так Пойтэк впервые попал в человеческий дом. Сначала у него не было имени. Звали его просто Парнишка, Сыночек Соснэ, Собаки Дитя. Он оказался весь белым, ни одной черной шерстинки. Поэтому и получил имя Пойтэк, что значит «куропатка». Был он, как всякий ребенок, очень забавным и любопытным. Отогревшись и окрепнув, он по-хозяйски обошел всю нижнюю, окоярдверную, часть дома, проверил и обнюхал оба нижних угла. Желая поближе познакомиться, подходил к людам, терся о ноги, иногда ненавязчиво взвизгивал, просил внимания. А может быть, просился на руки. Всем домочадцам он

понравился. Но когда холода пошли на убыль, его отвели на улицу, в собачий домик. Ибо в семье придерживались веками сложившегося правила: человеку – человечье, собаке – собачье. Так в первый и в последний раз Пойтэк пожил в человеческом доме.

Со временем он стал степенным оленегонным псом. Делал свое дело обстоятельно, без суеты, не по-собачьи разумно. Понимал хозяина без слов: по едва уловимому движению руки, кончика носа, глаз. Не говоря уже об интонации голоса. И конечно, никого, кроме хозяина, не признавал и не слушался. Тот платил тем же: многое прощалось Пойтэку, особенно в последние годы. Разозлившись, он мог наказать убегающего от стада оленя, укусив его за ляжки. А весной и в начале лета, когда отелившиеся важенки становились непослушными, Пойтэк, бывало, опять же в ярости от бесконечной беготни за ними и усталости, хватал олененка за горло и мигом валил на землю. Обычно за такие грехи псы бывали биты, но Пойтэку все сходило с рук. Точнее, с лап. Он знал себе цену. За хорошую оленегонную лайку могли отдать не одного оленя. А Пойтэк, если того требовали обстоятельства, за стадо стоял насмерть пред крылатой ли птицей, пред четвероногим ли зверем, пред двуногим ли существом.

С возрастом Пойтэк становился все менее резвым. У него стали побаливать суставы. Полдня он еще мог топтаться возле стада, а потом потихоньку удалялся в укромное местечко, под грузовую ли нарту, на кем-то брошенный ли кумыш, и, лежа на животе, подремывая, наблюдал, как молодые и шумливые собратья сбивали оленей в стадо. Все понимали, что он уже отработал свое, что с него уже ничего больше не возьмешь. Но все настолько к нему привыкли, что не представляли жизнь селения без него.

Уже в первый год жизни он на удивление быстро освоил многие житейские истины. Конечно же, после хозяина главным человеком в доме была Мать Детей, кормилица и поилица. Услышав ее шаги, он выходил из конуры и, потягиваясь и помахая хвостом, с «улыбкой на лице» ластился к хозяйке. Разве можно не слушаться того, кто с рождения, изо дня в день, из года в год, кормил и поил тебя?!

Сейчас, облизав лапы, полечив ранки на них, Пойтэк встал и наконец отошел от тушки куропатки. Мать Дитя тотчас же подобрала птицу, оттеребила, разделала и поделила на четыре порции. Затем в кружке поставила варить на огонь четвертинку куропатки. Делая все это, она бодро говорила своему малышу:

– Савва, с таким удачливым охотником Пойтэком мы с тобой не пропадем!..

– Ням-ням, – сказал мальчик.

– Потерпи, сейчас будет тебе ням-ням, – ответила Мать. – Вместо белой водицы ты сегодня получишь сытный бульон.

Она помолчала, потом продолжила:

– С мудрым Пойтэком мы не пропадем. А Пойтэк неподвижным пнем уселся у костра и, втягивая в себя запах кипящей в кружке куропатины, как всякий охотник, вернувшийся с добычей, ожидал своей доли.

Глава 22

Мать все ползла. Ползла днем и ночью. И пришло время, когда Савва стал плакать безутешно.

Мать сменила ему мокрое сиденье из остриженной шерсти в люльке. Вместо мягких березовых стружек, которые давно уже кончились, она настригла в «нижнюю подкуженьку» люльки теплую оленью шерсть со своей ягушки. Теперь она напоминала весеннюю утицу, которая со своей грудки срывает пух и им устилает свое гнездо, чтобы кладка не вымерзла в заморозки, чтобы благополучно вылупились и выжили все ее птенцы. Раньше настригала подстилку со шкуры-амдера, но теперь та стала влажной от тающего снега. А для дитя нужно сухое сиденье.

Но Савва все равно продолжал хныкать. Может быть, он хочет пить? Мать набрала в рот снега, шевеля языком, растопила его и изо рта в рот попыталась напоить сыночка теплой водицей. Но он сделал всего несколько глотков и затем отказался пить. Значит, его мучает не жажда. Водой нельзя заменить пищу. Мать знала, что он хочет есть. А есть нечего. Молоко в ее грудях давно пропало. То ли после гибели старшенькой Анны, то ли после второй бомбежки и гибели сына Романа, то ли после смерти доченьки Марии. А может, после распятого на дороге или мертвого чума.

Чем накормить Савву? Как поддержать его дыхание? Жвачкой из шкуры его не накормишь. Развести костер и сварить бульон из той же шкуры просто не хватит сил. Надо дрова собрать, чтобы хороший огонь получился. Савве нужна теплая и питательная еда. Есть, правда, еще Пойтэк... Но на него рука не поднимется, да с ним и не справиться ей, ослабевшей женщине, Матери Дитя. Что же делать? Что делать? Выход должен быть, иначе плач малыша разорвет сердце Матери.

Она лежала лицом вниз и слушала жалобный и тихий плач Саввы. Потом подняла голову, сняла рукавицы, ибо голыми руками легче цепляться за бугорки и кочечки на дороге, и снова поползла вперед, яростно цепляясь за все, за что можно ухватиться. Ползла вперед, помогая себе и ногами, и руками. Она понимала, что чем раньше придет к людям, тем больше шансов спасти Савву. И она все ползла и ползла. На обледеневшей кочке она больно оцарапнула ребро правой ладони и невольно, унимая боль, приложила рану ко рту. И почувствовала теплый и солоноватый привкус крови. В ней еще осталась теплая кровь, подумала она о себе в третьем лице. Кровь? Теплая?..

Она закрыла глаза. Кровь напомнила ей сказку про большую птицу Каре, которая в древние времена жила на этой земле. Человек Сказки, так его зовут, или герой сказки, как-то уговорил птицу Каре, чтобы та его куда-то быстро и далеко отвезла. Каре согласился, но с одним условием: в полете его нужно постоянно подкармливать мясом, иначе он не выдержит человеческую тяжесть – и они рухнут на землю. Человек Сказки набрал мяса, сел на птицу и полетел. Летят высоко, под облаками. Как только Каре попросит мяса, седок даст ему кусок. Летели-летели, и наконец мясо закончилось. А тут Каре снова просит пищу. Человек туда-сюда, а еда вся закончилась. Что делать? Не падать же на землю! Не разбиваться же вдребезги!.. И тут Человек схватил нож, отрезал от своей ноги сначала одну икру, потом вторую – подал птице. Прилетели на место, приземлились. Тут Каре и спрашивает Человека: «Два последних куска были со странным привкусом. Что за мясо ты мне дал?» Человек отвечает: «Это было мое мясо. Когда все запасы кончились, я отрезал свои икры». Каре посмотрел на своего седока и выплюнул два посл-

ледних куска. Человек приложил их к своим ногам, и они сразу же приросли на свои места. Так Человек спас себя и птицу.

Мать Дитя оторвала руку ото рта, взглянула на рану. Кровь почти перестала сочиться. Не отрывая взгляда, она все смотрела на ссадину на ребре ладони. Через несколько мгновений там выступили красные капельки.

Теперь она знала, что делать...

Она села, подтянула волокушу с Саввой. Личико его осунулось и покрылось тоненькими, как ниточки, едва заметными морщинками, хотя на весеннем солнце слегка загорело и обветрилось. Теперь он напоминал маленького сморщенного старичка с древним, потемневшим от дымных и смутных времен лицом. Притянув малыша, она развязала тесемки ягушки от шеи до пояса, медленно вытащила правую грудь, из берестяных ножен на правом боку вытянула поясной нож и, посидев мгновение неподвижно, как бы в оцепенении, острием лезвия надрезала грудь. И когда засочилась кровь, притянула сыночка и дала ему кровоточащую грудь.

С неба кротко смотрело на нее печальное Солнце. Савва перестал хныкать. Посопел носиком, а потом задремал. Мать подобрала с обочины дороги пожухлый коричневый листок березы, смочила его во рту и заклеила ранку на груди. Затем завязала тесемки ягушки, пожевала кусочек от шкуры и вновь, опустившись на четвереньки, поползла в сторону дома. Теперь она знала, что, пока в ее жилах течет кровь, Савва будет жить. А это самое главное. Это придало ей новые силы.

Ползла она днем и ночью. Не очень разбирая и понимая, сколько же времени прошло, когда день сменяется ночью, а ночь днем. Лишь о Савве ни на мгновение не забывала. Как только он подавал голос, она сменяла ему подстилку и начинала кормить. И он впадал то ли в дрему, то ли в сон. Словом, перестав плакать.

Она ползла и с благодарностью вспоминала про птицу Каре, которая надоумила, как спасти малыша. По словам стариков, Каре смахивал на орла. Только он намного крупнее и сильнее. И долго жил на земле остяков. Возможно, Каре и сейчас жил бы здесь, да в глубокой древности однажды с ним приключилось несчастье. Рассказывают, летел он и увидел бегущих оленей.

И напал на них, хотел закогтить добычу. А это была упряжка, на которой ехал человек. Увидев, что на его оленей нацелилась огромная птица, путник поднял хорей толстым концом вверх, на котором был укреплен кованый тяжелый наконечник. И когда птица спустилась совсем низко, человек железным наконечником перебил ей крыло. Шуганул упряжку и уехал. Говорят, человек-то был не простой. Это значило: он обладал шаманской силой. А Каре остался на дороге с перебитым крылом. Ходит, взлететь не может... Некоторое время спустя по этой дороге ехал другой человек. Смотрит, огромная птица на дороге – ни объехать, ни обойти. Человек, озадаченный видом птицы, остановил свою упряжку. Размышляет, что делать. Назад, что ли, повернуть? Тут человек видит, что Карс на свое перебитое крыло показывает. Мол, подъезжай, помоги мне. Делать нечего, человек подъехал к нему. Осмотрев перелом, человек с двух сторон приложил дощечки и перевязал крыло. Каре разбежался и взлетел. Дело было на чистине. То ли на озере, то ли на чистом болоте или сору. Человек поехал дальше по своим делам. Потом к себе домой вернулся. Дома, конечно, он рассказал о том, что с ним приключилось в пути. Прошло времени что-то около года. Однажды видит человек, что к его селению подлетает птица Каре. С добычей. В когтях одной лапы держит медведя, в когтях другой – лося. Опустил их на землю возле дома. Значит, так отблагодарил хозяина селения, своего спасителя. Потом Каре улетел насовсем в другие края, в другие страны. Так навсегда покинул он наши земли. После этого его здесь никто больше не видел, не встречал. Такую историю передают про птицу Каре.

Мать Дитя вспоминала про Каре, как только малыш Савва подавал голос.

Она все упорно ползла. В полдень яркое мартовское солнце стояло почти над головой и животворными лучами тянуло ее к себе. Ей казалось, что при полуденном солнце она ползла быстрее, что волокуша с дитем становилась легче. И это вселяло в нее надежду, что обязательно доберется до людей, что ее последний ребенок выживет.

Солнце помогало.

Солнце прибавляло силы.

Солнце притягивало к себе.

И она ползла и молилась Солнышку-Матушке. Ведь Солнце было Матушкой всех земных людей. Солнце было красавицей-женщиной. Солнце было богиней. А богине можно молиться. С богиней можно поговорить.

Когда Солнце скрывалось за горизонтом, она молилась и другим богиням. Часто она разговаривала и просила силы у покровительницы родной реки, у покровительницы Агана. Ведь Она совсем близка. Ее земной дом и ее священные земли и воды расположились почти по соседству с родным селением Матери Дитя.

Ночью она призывала на помощь Месяца-Старика. Он тоже был богом. Во всех молитвах его связывали с Солнцем, подразумевая, что они муж и жена, семейная пара. Обращались к ним, говоря: «Месяц-с-Солнцем (или Солнце-с-Месяцем), взор свой на землю, на нас обратите». Сейчас Мать послала мысль-молитву: «Месяц-Старик, со своей высоты на меня взгляни, силы мне дай и дух мой укрепи, до человеческого жилья добраться помоги!» Месяц, то открывая из-за тучек, то закрывая половину своего лица, размышлял. Но женщина чувствовала, что он не оставит ее в беде.

Савва просыпался, начинал плакать. Мать садилась, притягивала его к себе, развязывала тесемки ягушки. И, смочив слюной, отклеивала березовый лист на ранке на груди. После этого мальш переставал хныкать. То ли засыпал, то ли впадал в забытье.

Когда на обочинах зимника появились старые, занесенные снегом копанцы, Мать поняла, что жилье должно быть где-то не очень далеко. Вдруг силы покинут ее на подступах к живому дому? Обидно будет... Теперь, наверное, нужно доверить судьбу малыша Саввы старому Пойтэку. Один он не уйдет, не бросит хозяев. А вот с Маленьким Хозяином старик пес пойдет и намного быстрее доберется до человеческого очага. Единственное, что требуется, так это хорошо закрепить люльку с мальчиком на шкуре-волокуше, чтобы она не выпала в пути, не потерялась.

Мать, поразмыслив, села посреди дороги, притянула к себе волокушу с ребенком, потом позвала старика Пойтэка.

Пойтэк подошел и, словно почувствовав всю значимость и важность возлагаемого на него поручения, взмахнул хвостом и радостно сказал:

– Ав-вав!

– Все-то ты понимаешь! – удивилась хозяйка.

И она молча погладила его по «улыбающемуся лицу». Савва уже не плакал. Он впал в дрему.

Глава 22

Пленница, казалось, равнодушно дожидалась своей участи. И когда пришел скособоченный помощник главаря красных, открыл ее каморку в какой-то отдельной пристройке фабрики и крикнул «Безымянная, на выход», она продолжала сидеть, безучастно уставившись в одну точку на стене. Ушлый Мингал молча оцупал ее замороженно-холодными глазками – цела ли, выдержал паузу, потом повторил: «Выходи, к командиру пойдешь». И тронул ее за плечо. Она невидящим взором, словно вернувшись из другого мира, взглянула на него, еще несколько мгновений сидела неподвижно, потом медленно поднялась.

Командир в жарко натопленном доме сидел за столом в исподнем. Увидел вошедшую пленницу, и его широкое мясистое лицо расплылось в улыбке, он ласково, насколько позволял его грубый голос, сказал:

– А, Безымянная, садись! Сейчас чайку попьем да поговорим! Может, что интересное вспомнишь!..

Он сделал знак помощнику, и тот, шаркнув ногой, вышел.

Вместо чая он налил в кружку спирта, но на сей раз разбавил его водой и пододвинул девушке.

– Пей, – сказал он. – Согрейся. Поди, не в таких теплых хоромах тебя держат.

И обвел взглядом свое жарко натопленное жилище.

Сам себе он тоже в кружку побулькал из солдатской фляжки и, не разбавляя, выпил залпом. Потом он двумя руками взял большой мясистый мослак с блюда на столе и, отрывая зубами, начал смачно жевать и глотать куски. Сейчас он горой возвышался над столом и поэтому напомнил девушке исполинского Мэнква из остяцких сказок и преданий. Это были полулюди, звероподобные существа, жившие в древние времена в лесах.

У них было много голов – от одной до семи, но при этом сообщали туговато. По словам сказителей, их даже дети довольно легко могли перехитрить в житейских делах. Они отличались злобным нравом и в ярости все сокрушали на своем пути. Попадая же в нужду, а то и просто из потехи часто становились людоедами. Словом, более страшного существа в народных сказаниях не попадалось.

Отложив мослак, командир хозяйским жестом показал на стол, заставленный блюдами с мясной и рыбной пищей, и сказал:

– Выпей и поешь. Поди, не такой пищей тебя там потчуют.

Девушка молчала. Хотя она была голодна, но к еде не пригнулась. Огонь ненависти был сильнее голода.

Подняв глаза на девушку, он спросил:

– Теперь-то, поди, без ножа пришла? Передумала меня убивать?

Помолчал, потом сказал:

– Глупая девчонка... Меня белогвардейская шрапнель не скосила. Казацкая сабля не зарубила. Колчаковская контрразведка не сломала. Бандитская пуля не взяла... А ты меня каким-то паршивым ножичком хотела загубить!.. Хо-хо!..

И он коротко хохотнул. Но тут же оборвал смех и, построжив лицом, поставил свой главный вопрос:

– Где полковник? Отдай мне полковника.

Девушка не ответила.

А полковник знал свое дело. По поступающим донесениям, вокруг большого села Полноват, что стоит на правом берегу Малой Оби возле устья Казыма, в урманах формируются отряды обских остяков, готовые выступить по первому сигналу от казымских мятежников. Чухновский понимал, что если они пойдут на помощь повстанцам со стороны низовья реки, ему придется туго. Придется воевать на два фронта. А на это нет ни боеприпасов, ни людских ресурсов, ни возможности маневрировать. Тогда уж не только одним месяцем, как он вначале предполагал, но и одним сезоном не обойтись, если не разобьют наголову. И аэропланы не помогут, ибо они не транспортные и не грузовые. Они летают лишь на разведку и при надобности бомбят связками гранат. Больше ни на что не годятся. Поэтому как

можно скорее нужно взять полковника, пока он не успел дернуть за ниточку, не успел поднять отряды полноватцев.

Вести поступали тревожные. В самом конце 1933 года в Ларьякском районе, на восточной границе округа, поднял мятеж-восстание князь Шатин, фактический хозяин села Толька, до которого шестьсот километров от райцентра. События там развивались в таком же порядке, как и на Казыме. Первый отряд, сформированный в районе против восставших, потерпел неудачу в самом начале похода. Руководитель отряда, начальник райотдела милиции Перевалов, был убит из боевой винтовки-трехлинейки. Стало быть, мятежники хорошо вооружены. Против них снарядили второй объединенный отряд из сотрудников ГПУ и милиции из окружного и районного центров.

Второй поход тоже не принес желаемых для властей результатов. Князь Шатин с ближайшим окружением скрылся в красноярской тайге, остальных участников восстания рассеяли по Толькинской тундре. Отряд вернулся с тремя плененными, включая брата князя Шатина, которых сразу же судили и всех троих приговорили к высшей мере наказания – расстрелу.

На Ваховских землях было беспокойно. Активно велась антисоветская пропаганда. Возможно, и там приложил руку неуловимый полковник. Хоть и далековато отсюда, от Казыма. Но кто знает, на что он способен. Чухновский понимал, что, если поднимется большая река Вах, его войско надолго застрянет здесь, в таежно-тундровых дебрях Остяко-Вогульского края. И сейчас все нажимал на девушку-пленницу:

– Отдашь полковника – на все четыре стороны отпущу. Сразу. И упряжку дам. Улетишь – куда захочешь. Клянись!..

Он замолк на мгновение. Потом, видно, вспомнил, что остяки обычно клянутся самым дорогим. Поэтому брякнул:

– Отпущу. Товарищем Сталиным клянись!

Но, услышав неожиданно вылетевшее имя вождя, командир вздрогнул, замолк и встревоженным взглядом обвел дом. Было тихо. За окном темная ночь. А в избе, кроме пленницы, никого. Он быстро налил себе спирта, выпил, деловито крякнул и, кажется, только после этого немного успокоился. Конечно, сам понимал, что перегнул. Клятвы на войне ничего не стоят. Вот и председателя Казымского туземного Совета Прокопия Спири-

донова убедил в том, чтобы тот приложил все свои силы и влияние, использовал свой авторитет и не дал выступить полноватским отрядам обских остяков, пообещав от имени красного командира Чухновского, что в этом случае с их головы ни один волос не упадет. Он, Чухновский, пока еще не ведал, что, разбив восставших казымцев, частью рассеяв их по Надымской тундре и Водоразделу, на обратном пути в Березово завернет в Полноват, произведет аресты среди так и не выступивших остяков и вывезет их на суд в Остяко-Вогульск как мятежников и врагов Советской власти. А Прокопия Спиридонова обвинят в пособничестве восставшим и, приговоренного к смертной казни, вместе с сыновьями забьют в камере предварительного заключения сразу после окончания суда. Он же, красный командир, будет оправдывать себя тем, что изменилась ситуация. В гражданскую войну, когда приходилось особенно трудно, обстоятельства заставляли всячески выворачиваться, и понятия чести и совести напрочь притупились, пропали куда-то, исчезли, растворились в крови и грязи страшной бойни по всей огромной России. Чухновский знал, что и здесь, на Севере, гражданская завершалась клятвоотступничеством победителей. В верховье Сосьвы, в селе Саранпауль, поверив клятвенным обещаниям, что всем сохранят жизнь, сдался отряд последнего белого офицера Туркова. Но как только побежденные сложили оружие, всех их расстреляли там же, на том же месте, в том же селе. Победителей не судят, ибо они сами становятся судьями.

Наконец, совсем успокоившись после неожиданно вылетевшего имени любимого вождя, командир-главарь обрел голос и снова заговорил:

– Полковник ведь не ваш. Он из русских. Чего его жалеть? Все равно от вас уйдет когда-нибудь. Не будет же тут вечно сидеть, смутьян. Это он взбаламутил народ. Без него жили бы спокойно. Видишь, сколько он бед вам принес. Восстание устроил. Войну открыл... Думаю, народ любит красных, любит Советскую власть...

Он помолчал, потом продолжил свою мысль, добавил философски:

– А козь не любит – так полюбит. Ведь жить-то надо!..

После паузы он сказал:

– Отдашь полковника – мы тоже уйдем ко всем чертям. Уйдет войско. – В сердцах, как бы для себя, выдал: – Все осточертело!

Девушка молча слушала.

– Хоть себя пожалей, – продолжал он увещевать. – Укажи дорогу к этому проклятому полковнику. А не то я ведь могу и озлиться. Могу отдать тебя солдатам. У меня мужики звереют от походной жизни. Даже бить не будут, одними ласками замучают тебя.

Он пристально, как бы завораживая, откровенно, как мужчина, рассматривал ее через стол. Она сидела пред ним каменным изваянием, как языческая богиня – прямо и неподвижно. Только глаза опущены вниз.

– Такая красивая девушка – и можешь пропасть ни за что, – с сожалением проговорил он в неожиданном для себя самого, в каком-то лирическом затмении. – Пожалей себя.

Он протянул руку через стол, приложил ладонь к ее щеке и большим пальцем провел по ее плотно сжатым губам. Словно таким образом одновременно пытался распечатать ей рот и войти в ее плоть.

Она не шелохнулась.

Когда он отнял руку, она, обхватив двумя ладонями, подняла кружку, медленно поднесла ко рту и смочила нижнюю губу, будто выпила. Хотя спирт был разведен водой, все равно запах был неприятным, а губу слегка ожгло.

Потом поставила кружку на столешницу, встала, одернула платье, поправила легким прикосновением волосы и не спеша пошла к широкой деревянной кровати, стоявшей возле окна в переднем углу, во второй половине пятитенки. Мгновение постояв над этим ложем, неторопливыми движениями скомкала серое солдатское одеяло, прикрывавшее постель, и, сунув его в изголовье, легла на спину поперек кровати, оставив согнутые в коленях ноги на полу.

Командир-главарь самодовольно крякнул, тяжело поднялся из-за стола и, потирая руки, подошел к ней. Широко расставив ноги, чуть покачиваясь от выпитого, он остановился над девушкой. Она лежала сощурившись, почти с закрытыми глазами. Но

он видел только четко прорисовавшиеся под тонким платьем упругие девичьи бедра и трепетно вздымающуюся грудь.

Все это было похоже на начало разговора. На начало пути к полковнику. И он, довольный собой, сказал чуть охрипшим басом:

– Вот это дело!..

И в то же мгновение у него потемнело в глазах. Он двумя руками схватился за свое мужское достоинство, согнулся в поясе пополам и, не выдержав, в таком положении осел на пол. Тоненько, по-пороссячи простонал:

– Уссс, ссука!..

Девушка саданула его в промежность и, накинув на себя одеяло, сиганула в окно, а там – в дежурную упряжку.

Только звон стекол ударил ему в уши. Он, корчась на полу, постанывая, терпел, сколько мог. Но боль, как ему показалось, не убывала, а усиливалась. Наконец он взревел, вместе с криком выплескивая из себя эту боль. На его рев влетел Мингал и заметался по избе. Сначала бросился к командиру, потом рванулся к разбитому окну, затем – к двери. Но с порога вернулся к командиру, хотел поднять его и положить на кровать, но как только прикоснулся к нему, ушибленный злобно прохрипел:

– Не трожь!

И Мингал затоптался перед корчившимся на полу командиром, не зная, что делать. Наконец он догадался напомнить о себе, к нему вернулся дар речи, и он закричал:

– Товарищ командир!..

Командир поймал его краем глаза – будто только теперь узнал своего помощника. А узнав, рывкнул:

– Взять!

Мингал бросился к окну – туда, что ли, хотел вылететь вслед за беглянкой. Но потом опомнился и выскочил в двери.

А командир все лежал на полу. Потом, когда боль немного отпустила, он сел, прислонившись спиной к стене. Из разбитого окна тянуло холодом, но почему-то никто не спешил забить или занавесить дыру. Он еще не знал, что в эту ночь почему-то дежурила одна упряжка. Второй не было. Поэтому на фактории поднялась суматоха: надо было срочно найти упряжки для погони.

Когда боль почти совсем прошла и к нему вернулась сила голоса, он, продолжая сидеть на полу, закричал в сторону дверей:

– Кто там есть?

Дверь приоткрылась. И он, опережая, не давая солдату войти, крикнул в дверную щель:

– Машку давай! Срочно!

И пока дверь не успела закрыться, подал вторую команду:

– Окно забить! С улицы!

И устало прикрыл налившиеся кровью глаза.

Глава 23

Там, в Европе, Белый еще не однажды вспомнит, как после мокрой снежной пурги он впервые очнулся в теплом человеческом доме.

В туманных наплывах, как из потустороннего мира, он уловил тихий говор. Связь с этим миром была еще настолько слабой, что он не мог вникнуть в смысл слов. Различал только голоса: мужской и женский. Звонкие голоса девочек и голос мальчика. И показалось ему, что он, дежурный флигель-адъютант, сидит за обеденным столом с августейшей семьей в Царскосельском дворце в ноябре 1916 года. Сидел он за большим овальным столом по левую руку от государя-императора. Слева от него – наследник престола Алексей, недавно назначенный шефом его Первого энского казачьего полка. Напротив, по правую руку от государя, – великая княжна Ольга, рядом с ней великая княжна Татьяна. На другом конце стола государыня Александра Федоровна, по левую руку которой сидела великая княжна Анастасия, а по правую – великая княжна Мария. Сестры были настолько же милы, насколько красивы. Они шутили и весело смеялись. Особенно грациозна была старшая, Ольга. Он знал, что к ней уже сватались из европейских императорских домов. В частности, в кругах высшего света шли разговоры о румынском принце, которого она якобы отвергла. С другой стороны, это объясняли тем, что царствующая семья, члены которой были очень привязаны друг к другу и дружны, не хотела и не спешила расставаться со старшей великой княжной. А он, глядя на веселые, оживленные лица девушек, думал о том, что их всех ожидает в будущем. По сложившимся веками традициям, каждой из них нужно выйти замуж только за принца из какого-либо императорского дома. А каким будет этот принц?

Любимым или нелюбимым? Любящим или нелюбящим? Но, главное, как военный, он предчувствовал приближение грозы, время больших потрясений.

Что ждет впереди этих милых и жизнерадостных девушек? Конечно, хотелось бы, чтобы счастливая и безоблачная жизнь.

Наследник престола Алексей расспрашивал о полке, шефом которого стал после августа месяца. Какие в полку кавалеристы? Откуда они? Какие лошади? Какая форма?

Государь же интересовался общим положением дел на фронте. Впрочем, не оставлял без внимания и частные эпизоды войны. Подробно, в деталях выслушал о блестящей атаке Первого энского полка в Лесистых Карпатах.

Он отвечал на вопросы и в душе был рад тому, что его здесь принимали за своего. За обедом семья вела себя так, как будто не было посторонних, то есть его, прибывшего с фронта офицера, поставленного на один день дежурить при государе. Он смотрел на государя и думал, что более деликатного, доброго и умного человека вряд ли встречал в жизни. Было приятно осознавать, что символом православной веры, символом России и русского народа, символом Отечества является такой человек.

Только императрица, Александра Федоровна, выглядела болезненной и встревоженной и не особо активно принимала участие в общей беседе. Хотя, надо заметить, с блеском исполняла обязанности матери семейства и хозяйки дома.

Это была его последняя встреча с государем императором и его семьей. И сейчас, находясь в полуобморочном состоянии, как бы между двумя мирами, настоящим и потусторонним, он вслушивался в говор за семейным столом и радовался: царь жив, и семья его жива. Он слышит их голоса. Значит, будет жива и Россия. И с этой мыслью, с верою, что царская семья жива, что она спасена, он опять впал в забытие, потерял сознание.

Уже много позже, очнувшись и обретя дар речи, он первым делом слабым голосом спросил:

— Где государь Николай Александрович? Где его семья?

В ответ тишина. И долгое-долгое молчание. Наконец женский голос ответил:

— Мы не знаем. Мы не ведаем...

Он не поверил этому. И впервые за много дней беспамятства с трудом разлепил веки. И прямо над головой увидел скорбный лик Божией Матери. Будто бы это она отвечала на его вопросы.

...Там, в Европе, когда он почувствовал, что подступило его последнее мгновение и впереди его уже ничего не ждет, он облачился в старенький мундир, в котором субботним днем в середине ноября 1916 года в Царском Селе, будучи дежурным флигель-адъютантом, обедал с семьей государя-императора Николая Александровича. Надев мундир и взяв трость, он пошел к православному храму, опустился на холодный мрамор садовой скамьи, откинулся на спинку, высоко поднял седую голову в военном кепи с двуглавым золотым орлом и устремил взгляд все еще ясных очей на восток, в сторону России, словно силился увидеть давным-давно покинутое Отечество. Потом медленно скрестил руки на трости, прикрыл глаза и, затаив дыхание, замер на своем месте, затих. Лишь легкое движение осеннего воздуха слегка пошевеливало прядь его белых волос на затылке, да низкое осеннее небо осторожно давило на него сверху. За деревьями сада тихо постанывал океан. Пусто, глухо, уныло. Пронзительно-осенний воздух, низкое небо, стон океана. Он постоянно чувствовал его. Время остановилось и не отпускало. Господи, возьми меня, мысленно взмолился он. Но Господь не спешил его брать к себе. Почему? Возможно, потому, что при его попустительстве некогда великая страна стала разбойником на большой дороге. Это случилось после того, как без суда и следствия уничтожили государя-императора и его семью. Пролиты безвинную кровь. И Россия обезумела. Стало все дозволенным, все возможным. И произошло это при его попустительстве. Теперь, на пороге в другую жизнь, он снова вынужден все пережить заново. Конечно, не он один виновен в падении государства Российского, но каждый отвечает за себя. А ведь была сила, была опора у государства, была опора у России — русская армия.

И в русской армии он был не последним русским офицером. Ведь через его руки прошли лучшие русские воины и воинские формирования. В первую мировую командовал Первым энским казачьим наследника цесаревича полком. В августе 1916 года в Лесистых Карпатах полк провел блистательную атаку, за что

был отмечен особой наградой — шефом полка был назначен наследник цесаревич Алексей. Потом он получил дивизию, затем, в гражданскую, — армию. Но настал миг — и в одночасье развалили, растоптали русскую армию.

Теперь земные дни его прошли, и не дожидаться ему возрождения России. А оно не за горами. Он знает, чувствует это. Остатки, эти дети природы, даровавшие ему вторую жизнь, пророчески чувствительны к колебаниям времени. Они сказали ему там, за заснеженным Уралом: красные будут править один век, один отрезок времени. Потом жизнь полегчает. Да, он знает это. Придет следующий, новый русский царь, который объединит всю бескрайнюю Великую Россию. Без него невозможно возрождение России. Вернее, она все равно возродится, встанет на ноги, но этого не произойдет до тех пор, пока не появится новый русский царь. Только Бог в критическую минуту спасет мир. Стало быть, спасет и Россию, не оставит ее без царя. Государя Николая Александровича нельзя считать последним русским царем. Нет, он не последний русский царь.

А ведь история могла пойти по-иному. Можно было сохранить и русскую армию, и царя, и русский народ. И главное, прирастить мощь российскую. Тогда высок и крепок был патристический дух. Простые русские люди почитали за честь умереть за веру, царя и Отечество. Все можно было уберечь и сохранить. А не получилось. Не вышло. Не удалось. Обидно, тяжело, горько на душе. И тут он почувствовал, как впервые после отроческих лет скупые слезы невольно выкатились из прикрытых глаз и, как бы рассекая лицо на части, прорыли к подбородку глубокие траншеи. Припомнилась ему истина, что у Господа надо просить не легкой жизни, а легкой смерти. Но и жизнь его не была легка, и легкой смерти он не хотел. Не подobaет русскому офицеру заканчивать свой жизненный путь пулей в виске. Он до конца пронесет свой крест, каким бы тяжким он ни был, какие бы муки ни пришлось ему испытать.

Небо все ниже опускалось над ним. Океан постанывал все глуше и глуше. Ветер уже перестал прикасаться к седой пряди волос на затылке. Но он еще чувствовал, как на его лице углубляются ходы-траншеи, по которым пришлось ему ходить в первую мировую.

Незрячими очами, с высоко поднятым подбородком, он все пытался одним взглядом охватить огромную, покинутую много лет назад родину, свою Россию... Ему хотелось уловить миг, когда его душа отделится от тела и медленно станет подниматься к небу, к Господу Богу. Но Господь не торопится, видно, все размышляет: принять ли его душу. И он знает, почему Тот сомневается. Сколько раз в семнадцатом и в восемнадцатом он зывал к Нему: «Господи, спаси и сохрани царя! Господи, спаси и сохрани Россию!» А Господь то ли не услышал его молитвы, то ли просто не устоял перед красными. От этого в нем всегда оставался горький осадок. Он считал, что подвергать кровавым испытаниям огромную страну и целый народ было немилосердно, неразумно и слишком жестоко. Так складывались у него отношения с Господом Богом. Но Бог милостив... Пред последним земным мгновением он ощутил необыкновенный прилив сил и увидел себя молодым, блестящим командиром, гарцующим на белом коне перед Первым энским казачьим наследника цесаревича полком. Наступил наивысший миг напряжения перед атакой. Сейчас его полк сорвется с места и конная лава сметет врагов России. И он спиной, точнее, всем телом почувствовал, что в этой атаке каждый его воин-кавалерист готов сложить свою голову за веру, царя и Отечество. И принял бы как высокую честь.

Он набрал воздуха, чтобы скомандовать атаку полку, — и на этом дыхание его замедлилось. Но он и без слов сумел выдохнуть: «За веру, царя и Отечество...» И его белый конь взвился к небесам...

Глава 24

Скрылись за поворотом Савва с Пойтэком. Мать Детей лежала на подтаивающей колее и, прислушиваясь к утихающему шороху шкуры-волокуши о комья снега, провела руками по лицу, пытаясь осушить мокрые щеки. Неразумный малыш уехал в неведомую даль. Оторвалась от нее последняя родимая кровиночка. Вернее, она сама отправила его. Сама оторвала его от себя. И он отправился в путь то ли навстречу жизни, то ли навстречу... гибели. Гибели? Нет, нет! Только не гибели!.. Но мысль о гибели вдруг резанула ее по сердцу так больно — она закричала на все заснеженное пространство, встала на колени и

попыталась побежать за сыночком, чтобы остановить, вернуть его. Но тут же упала.

Тогда она развернулась поперек дороги и, переворачиваясь с боку на бок, словно бревнышко, покатила, царапая лицо и руки об острые комья обледеневшего снега, вслед за мальчиком с собакой. Катилась до тех пор, пока могла шевелиться. Но дорога была пуста. И она поняла – не догнать, не вернуть. С протяжным стоном она зарыдала. Зарыдала, более не сдерживая себя. Ее заколотило в рыданиях. Она билась о ледяную корку, но боли не чувствовала. Наконец, обессиленная, она затихла и, словно помертвевшая, распласталась посреди зимника.

Она лежала неподвижно. Ей казалось, что ее слезы прожигают снег и медленно растекаются по плечам Сидящей Матери, по плечам Земли-Матушки. И богиня Земля чувствует их и слышит мольбы человеческой женщины, матери неразумного младенца. А молила она за своего сыночка Савву: пусть Сидящая держит его на краешке глаза, чтобы его люлька не свалилась на обочине дороги, не опрокинулась на крутых спусках и подъемах, на горках и впадинах, на буграх и колдобинах. Пусть Сидящая доведет его до людей, до человеческого жилья. Ведь всемогущая Богиня все видит и слышит, все знает и понимает. Если Савва спасется – значит, и народ спасется. Разве может позволить Сидящая Мать, чтобы бесследно исчез целый народ?! Нет, конечно же Она этого не допустит! Ни за что не допустит! На то и определен ей этот пятачок Вселенной, где живут люди, чтобы она сохранила каждый народ, который поклоняется ей, чтобы вняла мольбам каждого человека, кто помнит о ней.

Теперь, когда ушли Савва с Пойтэком и прошел прилив отчаяния, Мать Детей стала размышлять и искать новую опору. Хотя рядом нет сыночка, последней кровиночки, но она не должна чувствовать себя одинокой. Одной будет плохо. Кто же ближе всех? Конечно же, Сидящая. Вот она, с нижней стороны, совсем близко. И женщина обратилась к ней с главным вопросом. То ли вслух, то ли мысленно спросила:

– Как быть?

И замерла, прислушиваясь к звукам и мыслям, идущим с нижней стороны. Ждала. Долго ли, коротко ли? Она не знала. И наконец, то ли в дреме, то ли наяву, дождалась ответа:

– Живым быть.

Это значило – нужно двигаться вперед. Она подняла голову, оперлась на локти, оглядела пустынную дорогу. Пошевелилась и, собрав остатки сил в локтях и коленях, поползла в сторону людского жилья. Ползла до тех пор, пока поднимались руки. Потом остановилась передохнуть. Перевернулась на спину и долго лежала неподвижно с закрытыми глазами. Когда открыла глаза, увидела высокое ясное небо. Там, на Седьмом Слое, живет Верховный Отец, Бог Торум. Вот Он, с верхней стороны, совсем близко. И она опять поставила свой вопрос:

– Как быть?

Верховный Отец не заставил себя долго ждать. Как ей показалось, ответ пришел довольно быстро:

– Живи.

Это значило – ее земные дни еще не закончились. Стало быть, надо выжить. А выжить можно, только двигаясь вперед. И она, перевернувшись на живот, снова поползла в сторону полуденного солнца. Выбившись из последних сил, останавливалась, отдыхала, лежа неподвижно, потом опять ползла. Вперед, только вперед.

Время от времени она разговаривала. Ведь она была не одна. Их было трое. Небесно-земная троица. С нижней стороны – Земля-Матушка. С верхней стороны – Верховный Отец, Торум. Они стали ее неразлучными попутчиками. Они помогали ей двигаться вперед. Они вдыхали в ее истощенное тело новые силы. Они поддерживали и укрепляли ниточку ее разума, чтобы она не сошла с ума, не потеряла голову. И она разговаривала, вела с ними беседу, спрашивала о том, что не знала и не понимала, в чем сомневалась. Или же проверяла свои мысли-думы: в правильном ли направлении идет.

Потом из глубин ее сознания всплыла Божья Мать. Истекающая кровью, с красной пулей в груди. Она приняла пулю, которая предназначалась для Матери Детей. Тем самым спасла от преждевременной гибели хозяйку дома. И теперь женщина, вспомнив своих бабушек по материнской линии, спросила Божью Мать:

– Как быть? Ответ был кратким:

– Жить.

Стало быть, надо шевелиться. Вперед, домой, к людям. Сейчас движение для нее – жизнь. Нужно двигаться, ползти. По-немножку, чуть-чуть, через силу. Ответ также значил и то, что Божья Матерь до сих пор, несмотря на рану, сохранила магическую энергию. Она была добра и сильна. Недаром защищала и охраняла столько поколений человеческого рода.

И женщина снова поползла. Она ползла и ползла. Потом остановилась, перевела дух, перевернулась на спину. Из-за пазухи вытащила кусок шкуры от амдера, отрывая зубами небольшие клочки от края, пожевала. Впрочем, о голоде она почти не думала. Горький огонь потерь, сжимавший сердце, давно притупил ее чувства, но она знала: чтобы сохранить силы, надо что-нибудь есть. Это для ребенка трудно найти пищу в такой ситуации, а для взрослого всегда найдется корм. Закончится кусок шкуры-амдера, можно есть кору деревьев, березовые и тальниковые почки. В крайнем случае, как глухарь, пожуешь хвою молодых сосенок. Но до хвои дело не дойдет. Ведь у нее еще есть шубка-сах и кисы с чижами. Все это из оленьих шкур и оленьих лап. Значит, кожа съедобная. Лучше, конечно, старую кожу отваривать, если нужда заставит есть ее. Пока же остались еще запасы свежей шкуры, которая сохранила запах мяса. На ней даже попадаются небольшие кусочки сала и мясные волокна. Олень не даст погибнуть, если в тебе не иссякла сила духа.

Женщина перевернулась на живот, подползла к обочине и из оленьего копытца выпила немного талой воды. Она могла разжечь костерок и в кружке вскипятить чай, то есть белую водицу, но не стала. Это отняло бы немало времени и сил. А она спешила, торопилась вслед за сыном и собакой. Вдруг какая преграда возникнет на их пути? Вдруг им потребуется помощь?! Медлить нельзя.

И она двинулась вперед. Как ей самой показалось, бодро, споро. Когда дыхание совсем укоротилось, она остановилась на короткий передых. Положила голову на согнутую руку, закрыла глаза и направила мысль-вопрос Божьей Матери:

- Как мой Савва?!
- Жив, – ответила Богоматерь.
- Где он?
- У людей.

– Это хорошо!.. – вздохнула женщина. Она закрыла глаза увидела картину. Вот Пойтэк подбежал к дверям дома и остановился. Хозяйские собаки подняли невообразимый лай на чужака, посмеявшегося прийти без видимого путника-гостя, со странной волокушей. Из дома вышли люди. Удивились. Мгновение стояли неподвижно. Потом опомнились, отвязали люльку и с малышом вернулись в дом. Пойтэк постоял еще немного, оглянулся на пустую волокушу и затем сделал несколько шагов в сторону. Он знал, что от него требуется: он должен вернуться к хозяйке, туда, где оставил ее. Сразу, немедленно. Но он стоял головой в сторону собачьих конур, а оттуда тянуло сладким запахом теплой пищи. Он пошевелил ноздрями. Его собратьям недавно дали разваренных чебаков в наваристой ухе. Такого лакомства он давно не едал. В последнее время сам себе добывал корм, а тут готовая еда. На тебе, подойди, поешь.

Собаки продолжали лаять. И Пойтэк не выдержал. Уверенной, но внешне ленивой трусцой по ровненькой прямой побегал к конурам и остановился в десяти шагах от них. За свою долгую жизнь старик Пойтэк хорошо освоил все собачьи правила. Он вздыбил шерсть на загривке, а потом показал клыки, чтобы все видели, что они на месте. И лишь после этого не спеша, шагом, как бы вразвалку подошел к корыту молодого пса и начал есть. Молодой раза два твякнул обиженно и забился в конуру.

Все собаки разом, как по команде, перестали лаять. И теперь они с любопытством разглядывали нахального чужака. А Пойтэк, поев, облизнулся, обвел глазом все конуры, постоял как бы в раздумье и с достоинством отошел в сторону. Только после этого с пустой волокушей ровной трусцой поспешил обратно к своей хозяйке. Когда он уже уходил, собаки, как бы опомнившись, залаяли ему вслед.

А люди в доме вскоре хватились: где же белый пес, который привез малыша? Убежал обратно? Значит, там есть живой человек. И люди засобирались в дорогу, вслед за Пойтэком.

Женщина так четко увидела эту картину, что, пошевелив левой рукой, не открывая глаз, спросила:

– Пойтэк, ты вернулся?

Но ответа не последовало. А она продолжала спрашивать:

– Пойтэк, ты здесь? Тишина.

— Пойтэк, ты где? Ты чего молчишь?

Опять нет ответа.

Левая рука женщины все ощупывала дорогу. Но пес не отвечал. И она открыла глаза. Оказалось, ее рука наткнулась на ком снега, который она приняла за собаку. Но эта ошибка не огорчила ее, она сказала себе:

— А-а, Пойтэк еще не вернулся...

В том, что Пойтэк вернется и ляжет рядом с ней возле левого бока, с солнечной стороны, она нисколько не сомневалась. Не сомневалась потому, что у него была хорошая родословная. Дедущка Детей погиб в самый разгар войны между белыми и красными. Его взяли проводником-каюром, и в бою между двумя отрядами то ли шальная, то ли прицельная пуля лишила его жизни. Поскольку это случилось недалеко от селения, тело его привезли домой и похоронили на родовом кладбище. Родичи оплакали его, исполнили все обряды по погибшему. Только его собака не могла успокоиться: перестала есть и все выла и выла. Когда она своим воем всем измотала нервы, ее отвязали и отпустили. Она убежала на кладбище, легла обочь верхней домины-надгробия хозяина и там околела. Вот из этой породы и был Пойтэк. Поэтому он не бросит хозяйку, не оставит ее одну, обязательно вернется.

Теперь Мать Детей знала, что сделает и сколько земных дней осталось в ее жизни. В доме людей она отлежится, залечит раны, потом отвезет Савву к бабушке Дарье, а сама достанет винтовку и пойдет на войну. И станет — прости, Господи, — отстреливать красных, преследуя их повсюду. Где на оленях, где на лыжах, где по тонкому насту. Ведь там, где проваливаются красные, наст легко выдерживает вес ее хрупкого тела. Вот и пригодится опыт охоты, что она приобрела в юности и в зрелые годы. И станет она таким же неуловимым и бесстрашным воином, как и Малый Сеня-старик. Красные еще долго ничего не будут знать о ней. Все свои потери они спишут на Сенио-старика, который в конце концов останется один на один с красным войском. Закончится война, и красное войско уйдет, а поимкой Сени-воина займутся энкэвэдэшники. Еще многие годы он будет уходить из их широко расставленных сетей, из любых засад целым и невредимым.

Мать Детей увидела и свой последний день жизни на Земле. Наступала весна, наступала распутица. И остатки красного войска через Божье озеро, через верховье реки Казым заспешили в Березово, на свою базу. Летом они не могли воевать в этих местах. Не могли передвигаться по болотам, по тундре, по рекам и озерам. Заканчивался сезон войны. И они очень торопились. До ледохода нужно выбраться в город по рыхлеющим зимникам... Женщина обстреляла красных с вершины крутой горы-сопки. Они остановились внизу, на открытом месте, на льду реки, где проходила дорога, и по крутояру открыли огонь. Но стреляли беспорядочно, как-то вяло, неохотно. Не то что в начале войны. Тогда они палили шустро, залпами, по команде. А, иссякает порох, с удовлетворением отметила женщина. И мороз, видно, немного укоротил вам лапы... Когда кончились патроны, она встала, неторопливо стряхнула с белой ягушки налипшие комочки снега, не спеша повернулась по солнцу, охватив взглядом всю округу, и вышла на открытую залысину-полянку на макушке горы. Стрельба смолкла. На нее с удивлением смотрели и враги, и пленные остяки. Пленных перевозили странным способом. Их посадили попарно в нарты, спиной друг к другу, и крепко связали им руки, притянув туловище к туловищу. В таком положении никто не сможет бежать. Сейчас все их головы были повернуты в ее сторону. Она не видела выражения их глаз, все-таки далековато. Но в напряженном развороте головы каждого пленника она уловила один немой вопрос: отчего ты, свободная, не стреляешь?.. Она постояла еще немного, потом подняла винтовку. И тогда снова загремели выстрелы красных. Но их пули со свистом пролетали мимо. И все мимо, мимо. Как будто она была заколдована, заговорена от смерти, от красных пуль. Она слышала: пули то вверх уходили, то куда-то левее. Все левее и левее ложились пули. Когда ожидание стало томительным, она сделала шаг влево. И приняла пулю в грудь. Приложила ладонь к ране и медленно шагнула в молодой кедровый подрост. Хотя она знала, что красные не полезут на крутояр, но ей не хотелось, чтобы они видели, как она упадет. В кедраче она присела, застыв на мгновение в неподвижности, и лишь потом повалилась на землю. Пуля прошла навывлет. И она еще чувствовала и осознавала, как ее Светлая сочтется на плечи Сидящей,

а через пулевое отверстие на спине ее тепло и дух уходят вверх, в небо, к Верховному Отцу, туда, в заповедный уголок неба. Она еще раз напомнила себе, что туда забирают тех, кто погибает на войне, и всех тех, кто умирает не своей смертью. Туда поднялись души погибших дочерей и сыночек женщины вместе с Отцом Детей. И вот теперь она по своей доброй воле уходит к ним, к своему семейству, к своему выводку. Ее ждет небесная жизнь в кругу семьи. Там все начнется сначала. Там всех ждет иная, более счастливая судьба. А конец ее земной жизни первой оплачет Сидящая, затем Верховный Отец, а после этого, возможно, много времени спустя, сыночек-несмышлениш Савва. Его вырастит бабушка. Сама она, Мать Детей, все равно не смогла бы прожить на земле с таким тяжким грузом потерь, с таким черным грузом зла и ненависти в душе. Сидящая перестала бы удерживать ее на своих плечах. И преждевременно ушедшие дети все зовут ее, зовут. Хотя и на небе, но им плохо без мамы, плохо. А Савву жалко, но он один, а ушедших много. Они все перетягивают, они все тянут. И в меркнувшем сознании она еще долго удерживала мысль-послание своим ушедшим детям: я иду к вам...

Так закончится ее земная жизнь в яркий, солнечный весенний день с высоким небом. Так завершится третий круг ее жизни с ружьем в руках...

Женщина очнулась, и картина ее последнего дня исчезла. Ощупала, не открывая глаз, нартовую колею возле себя. Было пусто. Но все равно спросила:

– Пойтэк, ты еще не пришел? Ответа нет.

– Что-то долго ты ходишь, старый... – вздохнула женщина.

Теперь ее беспокоило, как бы дожить до своего последнего земного дня. Скоро наступит время наста. Тогда она уже должна стоять на ногах. А ее все клонит ко сну, не хочется двигать ни руками, ни ногами. Она понимала: если перестанет шевелиться, то раньше времени может уснуть вечным сном. Кого же позвать на помощь? Сидящая рядом, но она не сможет оставить свой главный пост. Верховный Отец тоже ни на мгновение не должен останавливать миродвижение и отлучаться куда-либо по другим делам. А вот Божья Мать могла бы прийти на подмогу. И женщина обратилась к ней, позвала ее:

– Божья Мама, приди, помоги мне добраться до человеческого жилья...

Потом, вспомнив, что Богоматерь ранена, женщина стала подсказывать, как быть. Она посылала в сторону оставленного чума мысли-послания. Божья Мама, ступи со своей высоты на лежанку дома, попросила женщина. В изголовье постели найди мешочек с листовым табаком. Возьми два листа. Один приложи к ране спереди, а другой со спины. Так закроешь рану. Так тебе полегчает. Надень мою ягушку и мои кисы с чижками. Дитя свое одень в одежды моих детей. Там все найдется для него. И иди по нашему следу – придешь ко мне... Женщина остановила поток мыслей-посланий, передохнула немного. После подумала: ведь это Божья Мама, она может идти по-над дорогой, не прикасаясь к снегу, и ей совсем не будет холодно.

Вскоре пришел ответ Богоматери:

– Приду.

Женщина облегченно вздохнула. В следующее мгновение в туманных наплывах увидела, как Божья Мать с иконы сходит на землю. Стало быть, помощь идет и с обратного конца дороги. Это прибавит сил и уверенности. И путница опять впала в сон-забытье. Очнувшись, спросила:

– Божья Мама, ты идешь?

Тишина, звенящая в ушах.

– Где же ты?

Снова вопрос остался безответным.

– Что с тобой?

И этот вопрос канул в пустоту.

Женщина поняла: что-то случилось. На военных путях-дорогах много неожиданностей и преград. Может, у Божьей Матери рана открылась. Может, с красными столкнулась. Может, как раз в это время аэроплан забрасывает ее огненными камнями. Все может быть. Сколько женщина ни звала ее, не откликнулась она, не отвечала на мысли-послания.

Устав от бесплодных взываний к Богоматери, женщина забылась тяжким сном. Очнулась она от прикосновения к щеке чего-то липкого и шершавого. Она открыла глаза и увидела над собой белое лицо Пойтэка. Он всю улыбался и радостно помахивал хвостом. Это он лизнул свою хозяйку в щеку.

– А-а, вернулся, старый! – обрадовалась женщина. – Ты хороший старик! Хороший человек!..

Она погладила собаку слабеющей рукой. Пойтэк взвизгнул и тявкнул два раза:

– Ав-вав!

– Теперь вдвоем не пропадем! – сказала хозяйка. – Дождемся кого-нибудь!

Она перебралась на шкуру-волокушу – все снизу теплее. И, к ее удивлению, Пойтэк сам, без команды, попытался потянуть ношу в сторону человеческого жилья. Но сдвинуть с места не смог – не хватило сил, изрядно отощал за последние дни. Тогда хозяйка наполовину сползла со шкуры-амдера и, отталкиваясь ногами, стала помогать собаке. Так, вдвоем, подсобляя друг другу, они медленно двигались вперед. Когда женщина впадала в сон-забытье и надолго затихала, Пойтэк подходил к ней и, лизнув ее в лицо, начинал покусывать. Хозяйка открывала глаза и говорила ему:

– Дай отдохнуть. Сейчас пойдем-поедем вперед.

Она знала: Пойтэк понимает все. Точнее, чувствует все. Они рано или поздно доберутся до жилья. Если бы исход предвещал быть другим, то старик пес просто лег бы рядом с ней и, подобно своему предку на могиле Дедушки Детей, окошел бы возле хозяйки. Но они все шли-ползли вперед.

В небольшую лошину скатились легко, а вот на взгорок по обледеневшей дороге взбирались долго и мучительно. На взгорке женщина сказала Пойтэку:

– Давай отдохнем.

Старик пес посреди зимника сел на задние лапы, наострил уши и замер неподвижным пнем, повернув голову в полуденную сторону. А женщина, глянув вперед, увидела по обочинам нартовой колеи совсем свежие копанцы – здесь паслись олени. Верный признак, что человеческое жилье недалеко.

Яркий снег слепил глаза. Она зажмурилась. И тут снова явилась к ней картина ее последнего земного дня. И показалось ей, что лежит она не посреди оленьего зимника, а в кедровом подросе на вершине сопки-крутояра с простреленной грудью. И, рассыпаясь на мельчайшие песчинки-пылинки, одновременно уходит вниз к Сидящей и вверх к Верховному Отцу – в его Бо-

жий Мир, Небесный Мир. У нее как бы не стало тела, душа отделилась от плоти, и все земные беды, горе, потери, ненависть, зло и злоба остались позади. Ей стало легко и хорошо. Начинается новая, небесная жизнь. И впереди радостная встреча с любимыми детьми и мужем. Как хорошо-то, хорошо... Но к реальности ее вернули земные звуки, пока еще неясные, невнятные, далекие, но они жили в снегах, усиливаясь и медленно приближаясь. Она уловила легкую поступь идущих к ней на помощь. То ли людей, то ли Божьей Матери...

Эпилог

Улов Чухновского оказался большим. Около сотни пленных и арестованных он доставил для суда в столицу округа Остяково-Вогульск. Одиннадцать руководителей восстания были приговорены к смертной казни. Потом смертную казнь гуманный советский суд заменил им тюремным заключением.

Шестьдесят участников восстания, как указано в протоколе заседания, суд оправдал, остальных приговорили к различным срокам заключения. Освобожденных из-под стражи выпустили на улицу. Без крова, без пищи, без транспорта. На окраине города, под сопкой, близ берега Иртыша, они соорудили шалаши и стали дожидаться лета. Наступала весна, но река была еще подо льдом, земля была еще покрыта снегом. До дома не добраться, пока не откроется вода. Еды нет. Теплой одежды нет.

Русские старожилы-горожане вспоминают, что в ту пору каждое утро на дороге в пригородную деревушку ОМК, на тропе на Иртышский берег и на окраинных улицах подбирали одного-двух умерших остяков. Кто замерзал на ходу от холода и голода, кто умирал от болезней и ран, кого линчевали под покровом ночи. Возможно, поэтому через десяток лет уже трудно было найти живого участника восстания 1934 года.

На свободе остался только неуловимый Сеня Малый. Так звали его в народе. Он продолжал воевать с красными на Водоразделе. Имя его обрастало легендами. Люди каждой реки считали его своим. Казымские уверяли, что он из рода Молдановых, ляминские и пимские – из рода Хоровых, тромаганские – из рода Медведя, аганские – из рода Бобра. Словом, он был из

народа... На него охотились, заезжая в верховья по правым притокам Средней Оби уже малыми силами, без екатеринбургских войск.

Царского полковника тоже не взяли. И след его канул в Лету.

Как только закончился суд, на последней странице протокола появилась запись, которая гласила: все одиннадцать руководителей восстания, смертную казнь которым заменили на тюремное заключение, умерли «от сердечной недостаточности». На самом деле их просто забили в камерах. Власть объяснила это по-своему правдиво: «Остяки совершенно не переносят жизнь в неволе». Суд закончился, справедливость по-советски восторжествовала.

Такова истинная цена воли... Для остяков.

1996–1999. Москва – Нижневартовск – Ханты-Мансийск

Вопросы и задания

1. Назовите основную тему романа Е. Д. Айпина «Божья Мать в кровавых снегах».
2. О каких событиях истории рассказывает Е. Д. Айпин в романе «Божья Мать в кровавых снегах»? Что помогает автору воссоздать события истории.
3. Перескажите историю рода Матери Детей? Составьте характеристику Матери Детей.
4. Можно ли утверждать, что дорога, которой шла героиня к людям, стала ее дорогой смерти? Поясните свой ответ.
5. Какую роль в романе сыграл образ Богоматери? Аргументируйте свой ответ.
6. Можно ли утверждать, что в романе «Божья Мать в кровавых снегах» Е. Д. Айпин представил концепцию Богочеловека? Обоснуйте свой ответ.
7. Составьте сравнительную характеристику Белого и Чухновского.
8. Можно ли утверждать, что в романе «Божья Мать в кровавых снегах» Е. Д. Айпин обращается к традициям анималистической прозы? Иллюстрируйте свой ответ цитатами из текста.

9. О каких народных традициях, верованиях, обрядах рассказывает Е. Д. Айпин в романе «Божья Мать в кровавых снегах»?

10. Подумайте, с какой целью Е. Д. Айпин ввел в роман «Божья Мать в кровавых снегах» историю волчицы?

11. Согласны ли вы с мнением автора, высказанным на страницах романа «Божья Мать в кровавых снегах», что «В конечном итоге все от Бога»? Поясните свой ответ.

12. Согласны ли вы с мнением Белого в романе Е. Д. Айпина «Божья Мать в кровавых снегах», что «Русские без Бога в душе и без царя в голове, не ведают что творят»? Обоснуйте свое мнение.

13. Рассмотрите сюжет и композицию романа Е. Д. Айпина «Божья Мать в кровавых снегах».

14. Напишите сочинение на одну из следующих тем:

- Казымское восстание в памяти народной.
- Судьба женщины в романе Е. Д. Айпина «Божья Мать в кровавых снегах».
- Трагедия семьи, народа, страны в романе Е. Д. Айпина «Божья Мать в кровавых снегах».

ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА ЛОНГОРТОВА

ПЛОХАЯ МАТЬ. АТАМ АНКИ

(Сказка, рассказанная моей бабушкой)

На хантыйской земле, много нарушений несущей земле, эта сказка вершилась. В лесном краю, в водном краю, там, где звери лесные только по им видимым тропам бродят, где птицы крылатые песни любви в небесах поют, далеко от людей жила одинокая девушка. Мать с отцом давно умерли, и еще девочкой осталась она одна. Сама пищу добывала, сама ловушки делала. На рыбной реке ставила плетеные из ивовых веток гимки¹. На песчаных, далеко выступающих мысах возле речки добывала глухарей. Ходила в осеннюю пору в тайгу, чтобы добыть белку да соболя. Из беличьих да соболиных шкур шила себе шубы-сах². Долго ли она жила так, коротко ли, кто знает.

Однажды осенью ушла она белковать да соболевать³. Удача в тот раз улыбалась ей. Красный зверь идет в ее ловушки, черный зверь идет в ее ловушки. Вечером, возвращаясь из тайги, пояс по семь раз зверем оборачивала, по семь раз соболем оборачивала. Долго ли так охотилась, кто знает. Возвратившись домой с охоты, услышала она на улице голос. Вышла посмотреть, кто пришел в ее охотничью избушку, и увидела страшного, сказочного гостя. Заблудился он в чужой тайге и никак не мог найти свои земли.

Позвала девушка гостя в избу. В чувал⁴ дров подбросила, котел чугунный с глухариним мясом над огнем повесила. Долго ли котел булькал, коротко ли, взяла девушка лый⁵, поварешку, и

¹ Гимка – орудие промысла в виде кузова, сплетенного из прутьев в форме цилиндра.

² Сах – орнаментированная шуба из неблоя.

³ Белковать, соболевать – ходить на охоту.

⁴ Чувал – род каминна с деревянным остовом, обмазанным с внутренней и наружной стороны глиной.

⁵ Лый – длинная деревянная ложка.

выложила мясо в юхи ан¹, длинную деревянную чашу. Поставила чашу на низенький столик и придвинула его в почетный угол, где сидел неожиданный, неизвестный гость.

Гость пригласил к столу и девушку. Ели с одного стола, из одной посуды, только косточки в разные стороны складывали. Когда ели, пили, гость нашел в глухарином зубу маленький цветной камушек и подложил его незаметно девушке. Девушка вместе с мясом проглотила камушек, даже и не заметила, что съела. Поели-попили, девушка стол убрала, гостю постель приготовила.

Наутро незнакомый гость ушел в свои воды, в свои земли. Осталась девушка одна. Долго ли она так жила, коротко ли, никто не знает. Только однажды родился у нее сын. Светлоглазый, белозубый. Улыбнется маме, зубки сверкнут, острые, как охотничий нож. Смастерила она мальчику берестяную люльку. Качает его, укачивает. Рада дитю, а сама все думает: «Вот придут люди, увидят меня, одинокую, незамужнюю с ребенком, стыдно какой! Что они скажут? Ийлап! Аслап²! Что же мне делать?» И сама на себя от стыда не может глаза поднять.

Наступила весна. Возле ее дома протекала маленькая речка. От талой воды и солнечных лучей лед на реке треснул и поплыл по воде. Глядя на льдины, девушка, как замороженная, приколола в ушко сына маленькую бисерную сережку. Покормила в последний раз ребенка грудью, завернула потеплее в заячьи шкурки, зашнуровала как следует берестяную колыбель и поставила ее на уже последнюю большую льдину.

На краю неба в это время показалась Хатл Най³, солнце, в упряжке из семи белобоких оленей, ее длинные косы в серебряных наконечниках с золотыми украшениями не вмещались в нарту, плавно развиваясь за спиной. Увидела она мать, сажающую ребенка на лед, и отвернулась от нее, прикрыв лицо облачком-платочком. Плышет на весенней льдине колыбелька, а ребенок матери улыбается, в ушке сережка с бусинкой поблескивает. Не выдержала девушка и побежала за льдиной. Но не успела она –

¹ Юхи ан – деревянное блюдо.

² Ийлап, аслап – выражение отчаяния.

³ Хатл Най – солнце.

за поворотом течение ускорило, и ребенка унесло толкающимися льдинами на другой берег реки. Маленький молчаливый мальчик сидел в берестяной колыбельке, улыбался матери, и только сережка его на ушке поблескивала от водяных бликов.

Поздно опомнилась мать... Сколько ни бежала она за ребенком, так и не догнала: далеко за поворотом реки скрылся мальчик в колыбельке за тенью глаз, и больше она его уже не видела. Вернулась девушка в пустую избу и стала жить одна.

А внизу, по течению этой же реки, жили старик со старухой. Долго жили они и все молились Тураму, чтобы послал он им ребеночка. Но у Бога Турама, видимо, других забот, других хлопот не впрокорот, не до стариков ему было.

Тем весенним днем Хатл Най почему-то прятала свое лицо за облачком-платочком, но далеко за полдень старуха увидела, как она вдруг оттолкнула облачко и весело заиграла с кем-то на реке среди плывущих льдин. Ее косы в золотых наконечниках с серебряными украшениями прикасались к чему-то на плывущей льдине. Старики увидели колыбель. Ребенок, разбуженный весенней светлой девушкой Хатл Най, которая щекотала его за ушком, развлекаясь яркой бусинкой на сережке, громко заплакал. Старик, осторожно перепрыгивая через льдины, добрался до колыбельки и, счастливый, взял на руки долгожданного сына.

Рады были старик со старухой появлению маленького сына. Самые вкусные куски ему дают, сварят налима – жирной печенью кормят ребенка, сами рыбу съедают. Наварят чугуна беличьего мяса – желудочек с лесными орешками поджарят на огне для сыночка.

Для сказки рожденному ребенку долго ли расти? За неделю вырастает до месячного, месяц растет – будто год прошел. Вырос сын стариков красивым да видным. Теперь он стариков кормит. До рыбной реки дойдет – рыбу выловит, из зверем богатого леса вернется – добычу принесет. Старики только радуются своему сыну. С одной стороны старик подает сыну мягкую печенку, с другой стороны старуха – икраные лепешки.

Долго ли так жили, радовались, коротко ли так жили, счастье делили, только однажды решили старики женить своего сына.

Думали они, думали, где невесту искать, и вспомнили, что выше по течению богатой всякой рыбой реки, за многими пово-

ротах рыбной реки, живет одинокая девушка. Вспомнили и решили ехать к ней свататься. Долго ли поднимались по быстрому течению реки, коротко ли, наконец, приехали домой. Привезли сыну жену, себе невестку. Стали молодые жить вместе.

Однажды попросил муж жену посмотреть голову и положил голову ей на колени. С одного боку она посмотрела, с другого и вдруг увидела сережку с маленькой бусинкой. Вскочила она на ноги и побежала к старикам. Говорит она им: «Свекор со свекровью, расскажите мне, как появился у вас ребенок, а теперь мой муж». Рассказали старики обо всем: как Великий Турам услышал их просьбы и подарил им на старости лет сына, как среди весенних льдов нашли они его. Женщина, не дослушав, бросилась к маленькой колданке¹, на которой привезли ее старики. Краем платка вытирая набегающие слезы, быстро гребла она веслами. Вдруг за поворотом, на самом краю неба, увидела она Хатл Най, которая мчалась домой на белобоких, быстроногих оленях. Глянула Хатл Най на женщину и узнала ее. С досады, что встретила с непутевой матерью, подняла она свои серебряные наконечники с медными украшениями и, отвернувшись, умчалась за горизонт.

На третий день женщина добралась до своей старой избушки. Поднимаясь на берег, сквозь слезы увидела она у дома красивого мужчину. «Здравствуй, моя жена, здравствуй, моя нареченная. Заколдовала меня когда-то лесная Мишиз². Теперь же снова я стал самим собой. Но не сумела ты меня дождаться, не сумела ты моего ребенка вырастить. За это ты наказана небесными богами, земными, водными духами. Не смогла достойно прожить богами посланной судьбой, теперь живи одна. Боялась людских пересудов, людских сплетен, бросила ребенка, так живи же ты до конца своей жизни с тем грехом, что на себя взяла».

¹ Колданка – легкая двух-, трехметровая лодка.

² Мишиз – лесная женщина в образе человека-зверя.

ВЕДЬМА И СКАЗОЧНИЦА

Порнэ па Мосьнэ¹

Живут в одном чуме две женщины. В одной половине остроконечного берестяного жилища висит полог из ткани, привязанный уголками к жердям чума, сотканный из крапивного волокна доброй женщиной Мощнэ. Живет она с дочерью и маленьким сыном. Во второй половине чума, в пологе, кое-как склеенном из плохо выделанной рыбьей кожи, живет Порнэ со своими многочисленными детьми. Ее дети вечно грязные, лохматые и непричесанные. Никогда не слушаются мать, ведьму Порнэ, и даже по ночам громко кричат. Дети Мощнэ, маленький сыночек и дочка, прилежные, всегда причесанные и чистенькие. Дочь Мощнэ старательно вышивает узоры для одежды.

Порнэ – злая, завистливая женщина. Все мечтает извести молчаливую, трудолюбивую Мощнэ, которая мастерит нарядные и красивые вещи для своих детей. То шубку сошьет для дочери, то обувь для сына. Только косы с медными да серебряными украшениями слегка позванивали в такт трудолюбивым рукам мастерицы. Часто и детям сварливой соседки перепалили теплые вещи от доброй женщины. Сама же Порнэ ничего не умела делать, даже циновку из травы и то вкривь и вкось плела.

Однажды, так и не причесавшись с утра, лохматая, вся в страшных, рваных одеждах, Порнэ позвала Мощнэ на луг, к берегу реки, чтобы нарвать осоки для новой циновки². Соседке было некогда: занималась домашними делами. Но Порнэ страшно рассердилась:

– Ах! Какая ты лентяйка! А траву для циновки я одна должна заготовить на зиму?

Чтобы не злить Порнэ, Мощнэ молча собралась, поцеловала дочку с сыночком – недоброе чуяло ее сердце – и пошла с соседкой за осокой.

Долго ждали дети свою маму, да так и не дождалось. Выглядывают из чума, ждут. К вечеру, глядят, Порнэ пришла к чуму.

¹ Порнэ па Мосьнэ – Ведьма и Сказочница (ханты делятся на две социальные группы – мощ и пор).

² Циновка – плетеный из осоки коврик.

Несет большую охапку осоки, крепко перетянутую толстой веревкой, наспех сплетенной из луговой травы. Из пучка осоки косы Мощнэ с серебряными да медными украшениями до самой земли свешиваются. Убила Порнэ их безотказную, молчаливую маму, поняли дети. Спрятались в пологе и слышат, как дети Порнэ кричат:

– Мне, мне дай глаза!

– А мне уши!

– Нет, – говорит Порнэ. – Не дам я вам старые глаза, не дам я вам старые уши, сама их съем. А вы завтра поедите. Вон в соседнем пологе мягкие ушки, вкусные глазки.

Испугалась дочь Мощнэ, решила сбежать с братиком. Тихонько выскользнула из полога с задней стороны чума, поймала двух птиц, привязала их друг к другу крыльями и запустила в полог. Птицы от испуга громко щебечут. Порнэ прикрикивает:

– Чего расшумелись! Смотрите у меня! Завтра я вам покажу, как щебетать. Щебечите, щебечите там.

Девочка собрала братика, одела, обула в дальнюю дорогу и посадила в большой заплочный туесок, с наружной стороны которого посередине был нарисован мамой оберег – образ хозяина леса. Прихватила девочка с собой мамино точило, огниво и костяной гребешок, накинула большой туесок с братиком за плечи и убежала от Порнэ.

Долго ли, коротко ли бежала, кто знает. Где вместе бегут, где на спине несет в туеске брата. Тяжело девочке, нелегкая ноша тянет кожаными ремнями за плечики, но не жалуется она, хочет до бабушки добежать. Немного осталось до бабушкиного стойбища, вдруг слышит, бежит сзади ведьма Порнэ, нагоняет детей. Вот-вот догонит их, так и хочет схватить своими кривыми, скрюченными пальцами маленького братика.

– Бегите-бегите! – кричит ведьма. – Далеко не уйдете! Все равно догоню, все равно вас съем, все равно выпью вашу кровь.

Достала девочка из-за пазухи точило и бросила его через плечо назад со словами:

– Если нашей песне продолжаться, нашей сказке продолжаться, пусть вырастет такая высокая гора, что ни птице через нее не перелететь, ни зверю не пройти.

Огромная каменная гора выросла за спинами бегущих детей. Осталась Порнэ за каменной грядой. Пока ведьма через гору перебиралась, убежали от нее дети. Но недалеко они ушли, вновь нагоняет их взлохмаченная, с ободранными ногтями и руками Порнэ. Вот-вот их схватит, вот-вот их достанет.

Бросила дочь Мощнэ гребешок через плечо и крикнула:

– Если нашей песне продолжаться, нашей сказке продолжаться, пусть вырастет такой густой лес, что ни носу, ни глазу туда не проникнуть.

Вырос за их спиной густой темный лес. Дальше бегут они с братиком. Где за ручку его ведет, где на спине несет. Совсем немного осталось до бабушкиного дома. Но тут опять показалась Порнэ. Исцарапала она лицо свое в кровь колючими ветками, в клочья ободрала старую свою ягушку, одни лохмотья на ней остались. Снова нагоняет детей. Вот-вот схватит скрюченными пальцами детей. Оглянулась девочка, увидела страшную Порнэ и бросила через плечо мамино огниво со словами:

– Если нашей песне продолжаться, нашей сказке продолжаться, пусть вспыхнет такой большой огонь, что жар воду высушит, дым горизонт скроет.

Вспыхнул огонь, пропала Порнэ, не видать ее. Совсем немного осталось до бабушки, до маминой мамы. Уж она-то пожалеет детей, уж она-то пригреет внуков.

Впереди показалась речка. А на том берегу речки бабушкин чум стоит, покрытый берестяными покрывками.

– Бабушка, бабушка, помоги нам, переправь нам лодку, перевези нас быстрее через речку! Порнэ нас догоняет, хочет нас съесть! – кричат дети.

Бабушка быстренько столкнула в воду свою маленькую лодочку-колданку и переправила детей на свой берег.

Ничто не может остановить Порнэ, даже сквозь огонь прошла, хоть и подпалил он ее косматые волосы. Вскоре показалась ведьма на берегу. На расстоянии от реки пахло ее паленой одеждой: старая ягушка вся сморщилась от жара огня, а она все живая.

– Бабка! И меня переправь на ту сторону.

Бабушка выпустила на берег детей, вытянула на сухое место колданочку и говорит:

– Хорошо, сейчас переправлю. Садись мне на спину.

– Как я сяду на твою спину, вдруг промокну!

– Не промокнешь, я тебя аккуратно переправлю.

Пришлось Порнэ сесть на бабушкины плечи, уж очень хотелось ей съесть детей. Бабушка доплыла до середины реки и перевернулась на спину. Ведьма с бульканьем и шумом ушла под воду, а бабушка добралась до своего берега. Накормила, напоила внуков, и стали они жить втроем.

Вырастила бабушка внуков. Дочь Мощнэ превратилась в красивую, стройную девушку. Бабушка для внучки справила ягушку, для внука парку¹ из шкур цветного олененка.

Однажды бабушка говорит:

– Вашей песне, вашей сказке дальше продолжаться. Вырастила я вас, к самостоятельной жизни оперились, окрылились. Приготовила я вам в дорогу одежду теплую. А вот тебе еще волшебный мешочек, твой тучан². Не смотри, что он маленький: все, что понадобится в пути, в нем найдешь. Привяжу его к завязкам твоей ягушки. Внушенька, в дороге вам разные препятствия встретятся. Главное, братика убереги. Три священных места вы должны пройти. Сначала вы встретите святилище мужское, стороной его пройдите. Присматривай за братиком, чтобы он мужские подколенные подвязки для обуви не тронул. Все-то ему интересно. Коснется их – ты его в последний раз увидишь, он тебя в последний раз увидит. Потом встретится вам святилище, там висят на деревьях ножны для ножей. Смотри, держи братика за руку, не отпускай его. Нельзя дотрагиваться до священных предметов. В третий раз увидите святилище, где поклоняются предкам нашим, богам нашим. На деревьях висят связки священных лисьих шкур, дарованных духам, богам нашим. Не давай брату прикасаться к ним – увидишь его в последний раз, он тебя в последний раз увидит.

Собрались дочь Мощнэ с братом и пошли счастья искать, удачи искать.

Долго ли шли, кто знает. Сказке дальше идти, песне дальше звучать, вот и идут по свету.

¹ Парка – меховая одежда, сшитая мехом наружу.

² Тучан – женский орнаментированный мешочек с мелочами для рукоделия.

Идут девушка с братом и видят мужское святилище, кругом мужские подвязки для кисов висят. Взяла девушка братика за руку, стороной обошли места, где поклоняются лесным духам, лесным богам мужчины. Дальше идут. Брат впереди бежит, не слушается. Глядит дочь Мощнэ – опять святилище. Кругом ножны мужские висят. Так и хочет братик ножны схватить. Успела девушка отвести брата от святилища, где земным духам, земным богам поклоняются люди. Дальше идут дочь Мощнэ с братиком. Устали они. Уже и сил нет дальше двигаться, есть хочется. Смотрят, на болотце морошка поспела, уже в желтый платочек нарядилась, сама просится в рот. Едят они сладкую морошку, оторваться не могут от лакомства. Не заметила дочь Мощнэ святилище недалеко, кругом связки лисьих шкур висят на березах. Не уследила за братом девушка. Пока ела морошку, оторвал он четыре зеленых листочка с белоствольной молоденькой березки, где висели связки из лисьих шкур, на том месте небесным духам, небесным богам поклонялись люди.

Оглянулась только тогда, когда услышала голос братика.

– Опи¹, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Рука моя вот-вот оторвется, оторвется. Опи, опи, опие!

Не успела Мощнэ – брат без одной руки стоит.

– Братик мой, зачем ты оторвал листочки с березы? Дерево живое и ему тоже больно, как и тебе сейчас. Пойдем быстрее отсюда!

Только отошли чуть-чуть, мальчик опять кричит:

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Вторая рука моя осталась, тоже осталась. Опи, опи, опие!

Во второй раз обернувшись, увидела Мощнэ своего братика без обеих рук. Убежали они со страшного места. Только вновь братик кричит сестре:

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Нога моя вот-вот оторвется, оторвется! Опи, опи, опие!

Посмотрела Мощнэ назад, а братик на одной ноге стоит. Взяла она брата на руки и побежала, да мальчик опять плачет:

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Вторая нога моя оторвалась, оторвалась. Опи, опи, опие!

¹ Опи – сестра.

В четвертый раз глянув на брата, увидела его без обеих ног и рук.

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Оставь меня на этом месте. Опи, опи, опие!

– Братик, братик, мой братик! Посажу тебя под сосной.

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Не оставляй меня под сосной, не оставляй.

– Братик, братик, мой братик! Посажу тебя под осинкой.

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Не оставляй меня под осинкой, не оставляй.

– Братик, братик, мой братик! Посажу тебя под березкой.

– Опи, опи, опие! Сестра, сестра, сестричка! Под березой мне будет хорошо, хорошо.

Только посадила Мощнэ брата под березку, возле берлоги медвежьей, как исчез мальчик куда-то, то ли под землю провалился, то ли еще куда делся, неизвестно.

Плачет дочь Мощнэ, печалится, но делать нечего, не уберегла родного брата. Осталась на белом свете одна-одинешенька. Пошла дальше – глаза слезы застилают, ничего не видит. Остановилась она на опушке, чтобы слезы вытереть, грусть унять, прислонилась плечом к гнилому березовому пеньку, а пенек возьми да и развалился. И вдруг выпрыгнула из-под пенька живая и невредимая Порнэ, а за ней ее чумазые ребяташки, и давай кричать:

– Ты зачем дымоход моего чувала поломала?

– Да разве я знала, что это твой дом! Смотрю, березовый пенек, вот и прислонилась. Остановилась отдохнуть, свою печаль, свое горе оплакиваю. Братик у меня умер, вот и горюю.

– Куда идешь?

– Куда иду, сама не знаю...

– Я с тобой пойду, чего тебе одной ходить.

И пошла, напросившись, с дочерью Мощнэ, оставив в жилище под корнями березы своих детей.

Идут они счастья искать, идут свою долю искать. Долго ли, коротко ли шли, кто их знает. Видно, дальше песне звучать, дальше сказке сказываться, вот и идут они по земле.

Однажды подошли они к речке. Порнэ и говорит дочери Мощнэ:

– Давай искупаемся.

– Нет, не хочу купаться, – отвечает девушка. Боится она Порнэ, знает, что та может ее обидеть.

– Давай раздевайся! Будем купаться, – стала настаивать Порнэ.

Пришлось дочери Мощнэ раздеться и идти в воду. Порнэ же быстренько окунулась в воду и обратно на берег выпрыгнула. Схватила красивую одежду дочери Мощнэ и нарядилась в ее платье, в ее обувь. Вышла из воды девушка, заплакала.

– Как же я дальше пойду, раздетая, разутая?

– Чего реवेशь! – кричит Порнэ. – Вот моя одежда, одевайся.

Пришлось дочери Мощнэ натягивать на себя лохмотья ведьмы, склеенные из коры деревьев. Тут девушка вспомнила о волшебном мешочке, подаренном бабушкой.

– Порнэ, соседка моя, отдай мне маленький мешочек из оленьих шкур, что привязан к тесемкам ягушки. Тебе он не нужен, а мне это память о моей бабушке.

Отвязала ведьма мешочек и бросила его на землю:

– Бери свою безделушку, нужна она мне! Ты посмотри только на меня, какая я нарядная, какая я красивая! – крутилась Порнэ перед дочерью Мощнэ в нарядном платье, вглядывалась в свое отражение в речке и все не могла налюбоваться на себя.

Дочь Мощнэ стала смотреть содержимое тучана и достала из него новое платье, шелковый платок, новую нарядную обувь, украшения. Оделась, обулась, краше прежнего стала. Порнэ выхватила мешочек из рук Мощнэ, порылась в нем, но ничего не нашла и с досады выкинула его подальше. Девушка молча подобрала свой мешочек и спрятала его у себя на груди в потайном карманчике.

Пошли дальше. Вот уже и осень прошла, пошел снег, зима наступила. А они все идут и идут. Девушка из мешочка еду достает, одежду, и с Порнэ делится.

Однажды пришли они к стойбищу оленеводов. Люди чумы недавно сняли и перекаслали¹ на другое стойбище. Пока через пустое чумовище² переходили, нашла дочь Мощнэ лопатку для выбивания снега с обуви. Порнэ подскочила к ней:

¹ Каслать – оленеводы постоянно движутся вслед за своими оленями, каслают.

² Чумовище – место, оставшееся после того, как чум увезен.

– Что нашла, что? Отдай мне! – и вырвала из рук девушки лопатку. – Зачем она тебе? А мне пригодится.

Понурившись, пошла дочь Мощнэ дальше и увидела тынзян¹. Оглянулась, не смотрит ли Порнэ, и быстренько спрятала его за пазуху под ягушкой.

Глядят – впереди снег за клубился, едет кто-то на оленьей упряжке. Первым подъехал Сонтан Ики, мужчина в белой парке. Три белых быка, три оленя запряжены в нарты, белой шкурой нарта покрыта. Обрадовалась Порнэ и сама к нему в нарты прыгнула. За Сонтан Ики едет Тонтон Ики, одет в пеструю оленью парку, олени у него пестрые-пятнистые. Остановился возле дочери Мощнэ и спрашивает:

– Не находила ли ты чего на чумовище?

– Находила. Сначала нашла лопатку для выбивания снега, да спутница моя отобрала ее.

– Ничего, – говорит Тонтон Ики. – Это друга моего выбивалка. А больше ничего не нашла?

– Нашла тынзян, – достает она из-под ягушки собранный, смотанный в кружок, искусно сплетенный тынзян.

– Это мой тынзян, хорошо, что нашла, он мне очень нужен. Садись, девушка, на мои нарты, – сказал он дочери Мощнэ. – Будешь женой любимой, хозяйкой в моем доме.

Отказывается девушка, неудобно, стыдно в чужую нарту садиться. Все же уговорил юноша девушку. Села она в нарты, и поехали к нему домой.

Вскоре подъехали к деревне – два дома рядышком стоят. В одном жил Вошан Куртан Ики Пох, Тонтон, в другом – Сонтан Ики Пох. Пришлось опять жить по соседству с Порнэ. Дочь Мощнэ и Вошан Куртан Пох дружно жили, любили друг друга. Долго ли, коротко ли жили, кто знает, да сказке дальше сказываться, да песне дальше петься.

Вот однажды говорит дочь Мощнэ мужу:

– По дороге, когда шла, искала судьбу свою, долю свою, братик мой умер. Положила его под белой березкой, возле берлоги медведя. Хочу проведать, помянуть братика.

А Порнэ услышала эти слова и тоже заторопилась.

¹ Тынзян – аркан для ловли оленей.

– И я с тобой поеду, детей надо проведать.

Делать нечего, поехали вместе. Тонтон Ики для жены три пятнистых быка в нарты запряг. Для Порнэ муж тоже три быка запряг, только белоснежных.

Едут они, едут. У обломленного гнилого березового пенька Порнэ осталась, чтобы проведать своих детей. Дочь Мощнэ поехала дальше – к белой березке возле медвежьей берлоги. На том месте березки не оказалось, а там, где была берлога, стоит в пять углов семистенный дом. Солнцем отражались его стены, месяцем сверкали углы дома.

«Чей это такой красивый дом?» – думает девушка.

У двери собака большая привязана. Слышит Мощнэ голос хозяйки:

– Если нужный человек пришел, если хороший человек пришел, руки оближи да домой втолкни. Если ненужный человек пришел, если нехороший человек пришел, разорви да выкинь подальше.

Собака подошла к девушке, облизала да домой втокнула. В доме хозяйка сидит, словно солнце ее лицо. Сидит за шитьем, вышивает узоры древние, а на руке четырех пальцев не хватает. Лицо ее белое, брови черные – совсем как березка, у которой брат четыре листочка оторвал. Подняла она голову и говорит Мощнэ:

– Скоро брат твой вернется с охоты, будет входить в дом – не смотри на него. Молча сиди, прикрой лицо платком. Скоро дорога его закончится, да путь назад начнется.

Села девушка в углу и думает: «Как же так, ведь умер мой брат без рук, без ног, сама и положила его рядом с берлогой. Кто же должен вернуться с охоты? Кто же живет в этом красивом светлом доме?»

Вскоре послушался шум на улице. Кто-то лыжи снимает с ног и громко рычит. Натянула Мощнэ платок на лицо и сидит, ждет, не шелохнется. Входит мужчина в дом, злой, не подступиться к такому. Прошел к священному месту, снял медвежью шубу, разделся, разулся, стал потихоньку успокаиваться.

Девушка чуть сдвинула платок с лица и узнала братика. Красивым юношей он стал, как месяц светится его лицо. Обнялись, поцеловались. Обрадовался братишка ей. Рассказал, что стала

белая березка его женой. А он долго был медведем за то, что лишил ее четырех пальцев. Березка когда-то была девушкой, но злой Куль превратил ее на святилище в дерево. Брат сказал, что раньше чем через семь дней не отпустит сестру домой.

– А за это время подготовлю для тебя оленью упряжку, да не одну, а несколько нарт. Приданого мужу увезешь с собой.

Узнала тут Мощнэ, что у брата стадо оленей несметное. И белые, и цветные, черно-белые олени у Мощ Ху.

Гостила она семь дней, семь ночей у брата. Да песне дальше звучать, сказке дальше продолжаться нужно. Стала она собираться домой, брат снарядил аргиш¹. Приданого приготовил сестре – и одежду, и шубы, все, с чем девушка замуж выходит. И белых, и цветных оленей запряг. На шее у каждого оленя серебряные колокольчики звенят.

– Дорога твоя нелегка, – говорит брат. – Тронешься в дорогу – не оглядывайся назад. А будешь проезжать мимо норы Порнэ, завяжи колокольчики. Надо тебе успеть вперед Порнэ уехать. Если услышит она, что ты подъезжаешь, выскочит и заберет всех твоих оленей, твои упряжки, все приданое, убьет тебя и оленей съест. Если Порнэ позади тебя поедет, ничего она тебе не сможет сделать. Потом и колокольчики развяжешь, пусть они звенят, а дорога радует тебя.

Поехала девушка в обратную сторону. Тронула аргиш, едет. Любопытно ей, почему брат запретил оглядываться. «Что случится, если оглянусь?» – думает. И оглянулась. Оглянулась и увидела, большое стадо оленей за аргишем тянется. И насколько девушка окинула взглядом стадо, настолько оторвалась лента бегущих оленей, и помчались они назад в свои пастбища.

– Так вот, оказывается, какое приданое мне брат приготовил! А я ослушалась родного брата. Уж теперь точно буду помнить каждое его слово.

Приближаясь к тому месту, где оставила Порнэ, завязала язычки колокольчиков, чтобы не звенели. Постаралась тихонечко объехать гнилой пенек, только Порнэ все равно слышала. Запрягла она в нарты трех карасей, трех озерных рыб, кричит:

– Жди меня! Жди меня! Не бойся меня!

¹ Аргиш – караван из оленьих упряжек.

Не стала ждать Мощнэ ведьму. Уж она-то очень хорошо знала, как умеет та лгать. Порнэ подгоняет своих рыб, хочет догнать дочь Мощнэ:

– Пир, пир, мои кельщи¹, двигайтесь быстрее!

Но рыбы не могут бежать по земле, как олени. Ведьма с досады то рядом с рыбами бежит, то вновь на нарты запрыгивает. Далеко отстала она от девушки, не досталось ей приданого, о котором она мечтала.

Подъезжают дочь Мощнэ и Порнэ к стойбищу. Вышли из чумов встречать женщин Сонтан Ики и Тонтон Ики. Тонтон Ики встретил Мощнэ, распряг оленей и на пастбище отпустил. Сонтан Ики, увидев Порнэ на рыбьей упряжке, вошел обратно в чум, со стыда прикрыв за собой полог входа в чум. Но не тут-то было, Порнэ на все стойбище подняла крик:

– Ты куда спрятался, муженек? Распрягай мою упряжку, устали мои рыбки! Смущенный муж вышел, отвязал рыб и спрашивает:

– Где же олени? Я для тебя самых лучших запряг в дорогу!

– Съели их мои дети!

Карасей занесли домой, и они попрыгали к кострищу, где была вырыта ямка для воды.

Долго ли, коротко ли жили, кто их знает, только однажды приходит Сонтан Ики Пох к Мощнэ с мужем и говорит:

– Не могу больше терпеть, замучила меня ведьма. Чуть что бросается на меня, царапает своими длинными когтями, хочет меня убить. Нет мочи терпеть ее издевательства. Как же остановить ее?

Долго думали. Говорит Мощнэ:

– Завтра пусть люди всем стойбищем нанесут сухих дров, да побольше. Будем костры жечь да угощение ставить духам нашим, земным и небесным, богам нашим, земным и небесным, пусть они помогут нам избавиться от такой нечисти.

Назавтра собрались все жители стойбища, набрали сухого хвороста, зажгли костры, поставили богатую пищу земным и небесным духам, поставили пищу земным и небесным богам.

¹ «Пир, пир, мои кельщи!» – «Быстрее, быстрее, мои караси!»

А как занялся огонь жаром, ярким пламенем, говорит дочь Мощнэ:

– Смотрите, кто там в огне пляшет, какая красивая женщина в алом платье! Порнэ растолкала всех людей, оттолкнула дочь Мощнэ и кричит:

– Кто, кто пляшет в огне, покажите мне! – и сама лезет в самое пламя.

Люди подхватили ее и в самую середину костра закинули. Сгорела она, только пепел черный летел во все стороны. Мощнэ говорит:

– Бейте пепел, что летит в небо, к земле, а что по земле стелется, кверху бейте. Иначе вновь оживет ведьма.

Бьют люди пепел и вниз, и вверх, только сквозь пальцы пролетевший пепел в комаров превратился. Оставшийся пепел мелкой мошкаркой туманом стелется по земле, больно кусая и жая людей. Сама Порнэ больше не ожила, погибла в огне, только ее злость так и летает по земле. А дочь Мощнэ до сих пор живет, радуя своей добротой людей. Все.

С НЕБА СПУСТИВШАЯСЯ ДЕВУШКА

Турам элты охдам из

В некоторых водах, в некоторых землях, вдали от людских поселений жили муж и жена. В сказочные времена это было, в песенные времена это было, когда боги на землю к людям спустились, а люди в гости к богам на небо поднимались, когда боги с простыми людьми роднились.

Сколько там жили муж с женой, никто не знает. Послал однажды им Великий Турам радость великую, радость несказанную – родился у них сын, долгожданный и желанный. Муж с женой сына растят, не нарадуются. Мальчик растет, силой наливаются. Как зима пролетела, как лето промелькнуло, не заметили; вскоре на ножки свои встал малыш, сам начал бегать. Отец обучает сына делу мужскому, делу нужному. Весной они гимки плетут, чтобы рыбу летом ловить, осенью ловушки в борах ставят, чтобы зверя, птицу добывать, зимой в тайге зверя промышляют. Время летит, что птица крыльями машет. Вырос сын,

стал как отец, охотником удачливым, охотником сметливым. В гимки его рыба сама заходит, в ловушки его зверь сам идет.

Состарились отец с матерью. Однажды отец сказал сыну:

– Сколько можно тебе одному жить? Зверь живет – подругу имеет, рыба и та не одна плавает в воде. И человек не может жить один. Мир так устроен, все живут парами. Надо тебе жену найти. Мы с матерью твоей давно не были среди людей. Съездим в селение, поищем себе невестку, тебе жену.

На отцовские слова сын ответил:

– Не нужна мне в жены девушка, которую вы найдете. Нужна мне только та, что я полюблю, что меня полюбит. Неужели не найдется такая девушка?! Если полюбит – сама меня найдет.

Всплеснула руками мать юноши, закрыла лицо платком и со слезами вскрикнула:

– Ийлап, аслап! Да разве может девушка сама к мужчине прийти!? Ем антом! Не грех ли это! Мужчина, подпоясавшийся мужским поясом, сам должен искать подругу для жизненной тропы. А иначе счастье мимо тебя пройдет, и не догнать его.

– Нет, – ответил сын родителям, – не поеду в селение. Придет время – я сам найду себе подругу, или она меня разыщет.

Мать с отцом расстроились, но попросили сына запрячь для них упряжку оленей. В упряжку впрягли трех выносливых важенков. Путь долгий, не скоро вернутся домой.

– Съездим в селение, с людьми повидаемся, а ты, сынок, – сказал отец, – до моего приезда очисти от коры черемуховые прутья, настрогой их, приеду – сплетем новую гимку.

И уехали мать с отцом.

Юноша, оставшись в пустом стойбище, старательно исполнял просьбу отца, строгал длинные, ровные прутья для гимги. Но вдруг сильно захотел он спать. Зашел в дом, поел, попил, а перед сном решил выйти на улицу.

Было уже поздно, время вечернее, но летнее солнце все еще стояло на горизонте.

Оглянулся юноша и обомлел. В лучах заходящего солнца пятистенный дом сверху светится, семистенный дом изнутри светится. Светом озарен так, что глазам больно глядеть.

– Хей, – думает парень, – вчера там точно не было дома. Чей это дом? Так и светится, так и сверкает. Что за чудеса?!

Сходил в сторону леса, назад возвратился. Не удержался, опять за угол дома глянул. Видит – стоит девушка.

Если с солнцем сравнить – солнцу подобна, если с луной сравнить – луне подобна. Так прекрасна, что сердце парня из груди готово было выскочить.

– Если мысли твои ко мне лежат, если мысли твои с моими на одной тропке сошлись, если сердце твое с моим сердцем одной струной нарасьюха звенит, одним гулом стучит, войди в мой дом. Поешь, попей. Посидим, поговорим. На тебя глядя, я себя потеряла, тобой любуюсь, уже ни на что не гожусь. Если нужна тебе, если полюбишь меня, к тебе в жены проситься сама пришла я.

«Как же так, – думает парень, – еще сегодня утром мать сказала, что девушка сама не может к мужчине прийти. А девушка все же сама ко мне пришла. Чудеса, и только!»

Вошли юноша с девушкой в дом. В ее доме словно солнце светит – все светится, переливается. Поели, попили. Откуда еда берется, не видно, откуда питье появляется, непонятно. Кто-то стол накрывает, потом убирает.

Накормила, напоила девушка парня и говорит:

– Скоро мать с отцом твои приедут, невесту тебе не они нашли. Ты же ничего не говори обо мне, дом мой для них невидим, а ты в любой момент, когда пожелаешь, можешь прийти. Если мысли твои будут со мною, если сердце твое будет со мною, если ты желаешь, буду я тебе женой, буду тебе подругой.

– Мои мысли уже с тобой, мое сердце уже с тобой. Но захочешь ли ты с простым человеком жить, с хантыйским мужчиной жизнь делить?

– Прodelала бы я этот путь, не полюбив тебя? Мое сердце иссохло, мои мысли уже заблудились.

Сколько времени прошло, никто не знает, вернулись домой мать с отцом в расстроенных чувствах. Невестку себе не нашли, жену сыну не засватали.

Не видят они за углом пятистенного, семистенного дома, не замечают счастья сына. Вне глаз находится девушка, за тенью глаз живет молодая. Как только солнце спрячется за горизонтом, мать с отцом уснут, так их сын к жене уходит.

Сколько времени молодые так живут, никто не знает, никто не видит их любовь.

Рано утром, до восхода солнца, жена будит мужа и отправляет к отцу, к матери. Целый день в мучениях и в ожидании встречи с любимой живет их сын. Пойдет за угол, посмотрит – дом жены на месте. Успокоится. Займется ежедневными делами, поймает рыбу, добудет дичь. Долго ли так жили, коротко ли так жили... Сколько времени прошло, неизвестно. Однажды жена его, подобная солнцу, подобная луне, говорит мужу:

– Скоро – долго ли будем жить, коротко ли будем жить – родится у нас ребенок, появится у нас сын. Колыбельку с сыном твоим я в священном углу дома на серебряной цепочке подвешу. В самом дальнем углу ты своего сына найдешь. В люльке детской он будет висеть, покачиваться. Будет плакать, ты качай его за веревочку, что привязана в ногах колыбели, и говори такие слова:

– Сонная веревка, турщ, турщ, Колыбельная веревка, турщ, турщ, Веревка колыбели, турщ, турщ.

Если забудешь эти слова, сына в последний раз увидишь, меня в последний раз видел.

Однажды вышел он за угол дома и видит: нет его жены, нет его любимой, только в самом дальнем углу висит колыбелька на серебряной цепочке.

А в колыбели той ребенок лежит и плачет. Колыбелька его золотом отсвечивает, серебром поблескивает. Сын плачет и плачет, мать зовет. Взялся отец за веревочку и покачал ребенка.

– Сонная веревка, турщ, турщ, Колыбельная веревка, турщ, турщ, Веревка колыбели, турщ, турщ.

Мать твоя такие слова тебе петь весела.

С этими словами малыш уснул. Так и растили они своего ребенка – муж приходит, качает, а жена когда приходит – неизвестно. Так шло время. Родители юноши состарились, пока ждали, когда сын женится.

– Сыночек, – говорят мать с отцом, – совсем уже мы стары стали. Без сил в спине остались, без сил в плечах остались. Не знаем, когда ты женишься.

– Что вы, родители, нет сил – и не надо ничего делать! В лес пойду, зверя добуду, к реке пойду, рыбу поймаю. Проживем.

Пища, что рыба, что мясо, в доме не переводится. Отдыхайте да жизни радуйтесь. Разве голодаете вы, разве мерзнете вы? Все у нас есть.

А сам только и думает: «Только вчера я еще счастливым был, только вчера еще жена у меня была. Где она теперь, куда ушла?» Зайдет после заката в дом любимой, а там только колыбель в самом дальнем углу висит. Плачет, заливаясь ребенок, успокоиться не может. Качает колыбельку отец и говорит:

– Что ты плачешь, почему успокоиться не можешь? От хантыйского мужчины рожденный сын, хантыйская кровь в тебе течет! До какой поры я буду тебя качать? Ты скажи мне, где же мать твоя, где моя жена?

И только начал так говорить, ребенок зашелся от плача:

– Папа, что ты говоришь, не понимаю я тебя!..

Испугался отец, не знает, за что братья – то ли сына успокаивать, то ли жену искать. Пока метался между двумя домами, и сына потерял.

Увидела Богиня с небес, что внук горько плачет, слезами заливается, и подняла его по тонкой серебряной веревочке на небеса. Отдала его успокоить матери, дочери своей старшей; только успокоила мать ребенка, Богиня опять его вниз опустила. Человеческое это дитя, на земле он должен жить. Только боги на небесах живут.

В доме ее, кроме старшей дочери послушавшейся, связавшей жизнь с человеком, жили еще две младшие дочери.

– Доченьки, – сказала она им однажды, – проснется ваша старшая сестричка, захочет волосы расчесать. Гребень ее лежит в священном углу за сундучком. Сестре вашей нельзя туда подходить, так вы подайте ей ее серебряный гребешок. А я рано утром уйду осматривать землю. На сыновей деревни, дочерей деревни посмотрю, погляжу, что на земле творится, чем люди заняты. Домой поздно вернусь, не обижайте сестру, у нее и так тяжело на душе. По сыну скучает, не может она больше на землю спускаться – послушался ее муж, не выполнил ее наказа.

И улетела Богиня на белоснежных оленях на землю.

Вскоре проснулась старшая дочь, просит у младших сестер гребешок, чтобы расчесать свои густые золотистые волосы:

– Там, в священном углу, лежит мой серебряный гребешок, принесите его!

– А вчера разве мы тебе гребешок приносили? Сходи до священного угла да сама и возьми гребень!

– Мне мама наша запретила подходить к священному углу, не могу я нарушить ее запрет!

Села она на свое место и заплакала. Слезы до самой земли капают. Муж ее на улице сидит, что-то строгают.

– Хей! Что это за соленая вода мне на ладони капает, что это за соленая вода мне на руки капает? Вроде нет туч на небе.

Понюхал, попробовал слезы на вкус и говорит:

– Да это моей кровинушки слезы, да это моего сердечка слезы! Где-то живет она и плачет, а слезы ее в мои ладони капают.

А сыночек его уже вырос, сам на своих ножках бегаёт. Долго ли сказке сказываться. Бегаёт вокруг отца трехлетний Мось Ху, хватает отцовские вещи да играет ими. А мать, глядя на них сверху, слезы льет.

Вскоре вернулась Богиня. Сыновей деревни обошла, дочерей деревни обошла. Все кругом спокойно, везде благополучно. Увидела дочь старшую в слезах и говорит младшим:

– Сестра ваша днем гребешок просила, почему не дали? Весь день плакала, от слез глаза опухли, и слезы закончились. Завтра, пока сыновей деревни, дочерей деревни обходить буду, сестра попросит у вас лоханку для мытья головы, так вы принесите ей лоханку. Она лежит в дальнем углу, а ей туда теперь нельзя ходить – ей теперь только в своей части дома можно ходить.

Наутро Богиня вновь ушла обходить землю. Вскоре проснулась ее старшая дочь и попросила лоханку у сестричек:

– Сестрички, принесите мне с дальнего угла лоханку для воды. Хочу волосы помыть.

– Вчера мы, что ли, тебе лоханку приносили? Сама сходи да возьми лоханку! – и занялись своими делами.

Опять заплакала их сестра. Плачет, а сама вниз на землю смотрит, как там ее сыночек да муж? Сердце ее от горя разрывается, по сыну да по любимому скучает.

На земле муж ее сидит, что-то строгают, сын возле него бегаёт. Берет у отца то прутья, то веревки, играет с ними. Плачет мать, а слезы ее на ладони мужа капают.

– Сыночек, – говорит отец, – опять где-то мать твоя плачет, опять слезы ее на ладони мои капают! Такие соленые они, некоторые слезинки пополам с кровью перемешаны. Чем ей помочь, что же делать?

Вечером приходит домой Богиня и ругает дочерей:

– Разве не говорила я вам: принесите сестре лоханку из дальнего угла, нельзя ей в священный угол ходить, не положено теперь! Накажу я вас, дождетесь у меня! Не обижайте ее завтра. Пока я хожу, ей шапку соболем нужно обшить. А иглы, нити в священном углу лежат. Отдайте иглы сестричке.

В третий раз уходит Богиня делать обход в своих владениях. Сыновей деревни, дочерей деревни обходит, за порядком смотрит.

Утром просыпается старшая дочь и просит сестер принести иглы да нити для шитья:

– Сестрички милые, прошу вас, принесите мне иглы, нити для шитья. Соболиная шкурка лежит в священном углу. Шапку хочу соболем обшить!

– Вчера разве мы приносили тебе швейные принадлежности? Сходи до священного угла да возьми свои иглы, нити. Ийлап, аслап! Сколько нас можно мучить! Мы на улице хотим играть, а тут иглы ей неси! – и убежали играть на улицу.

Опять заплакала старшая сестра. От плача без сил осталась, ни в груди силенок, ни в спине силенок. Плачет и смотрит вниз, что же делают на земле ее сыночек и муж.

Муж ее возле дома сидит, для сына стрелы строгают да лук мастерит. Мальчик здесь и там бегаёт, то в птиц стреляет, то в бабочек метит.

Поднес отец ладони к лицу и слизнул слезинки:

– Где-то моя кровинушка плачет, где-то мое сердечко слезы льет. Твоя мать опять где-то плачет, сынок. Только слез у нее уже нет, одни кровавые капли.

Пришла Богиня небесная домой и говорит младшим дочерям:

– Придется вас наказать, послушались вы меня, ничем не помогли сестре!

– Доченька моя, – говорит она старшей дочери, – что же мне делать? Если так сильно хочешь, спущу я тебя вниз, на землю. Только обратной дороги в небеса у тебя уже никогда не будет.

– Как же, мама, я не спущусь на землю, как же не сойду вниз? Мне с моим мужем, с моим сердечком хочется жить. Как же останусь я без сыночка? Спущусь я на землю, что бы там ни было, ни о чем не буду жалеть. Сыночек наш уже вырос, сам ножками бегаёт, скоро охотником будет.

Пожалела Богиня свою дочку и спустила ее на землю – человеческой жизнью жить, с хантыйским мужчиной жизнь делить.

Спустилась дочь Богини на землю, сыночек маленький как увидел мать, насмерть свалился, кое-как оживили. А свекр со свекровью до того состарились, ничего уже не понимают! Посадили их сын на носок ноги и подбросил кверху. Улетели они в небо. Летали, летали, упали на землю и вновь помолодели. Обрадовались невестке. И стали они одной семьей дальше жить. И до сих пор, наверное, живут. Все.

ЗОЛОТОЙ БОГ-ОТЕЦ

Сорни Турам Аси

На небесах за густыми облаками живет Золотой Бог-Отец с тремя сыновьями. Сыновья Турама днем и ночью играют, развлекаются, ничем не заняты. Долго ли они так жили, коротко ли, кто знает?

Однажды, когда сыновья Турам Аси поели, попили, отдохнули всласть, отец спросил их:

– Дети, что-то вы и днем и ночью развлекаетесь, может быть, слышали, приносил ли кто по короткой веревочке вести на небеса, что происходит у людей на земле?

– Нет, – отвечают они, – не слышали.

– Сынок! – обратился отец к старшему сыну. – Надо спуститься к людям на землю, посмотреть, как они живут, какие дела творятся под облаками на земле у нашего народа. Сколько можно развлекаться, надо бы и делом заняться.

Старший сын, отвлекшись от своих игр, увлечений, ответил:

– Отец, я бы спустился на землю к людям, но не знаю, как туда попасть. Нет у меня лестницы, по которой с такой высоты на землю попадают.

– Об этом не беспокойся, – ответил Турам Аши. – Это моя забота.

– Хорошо, – ответил сын, – но когда я буду на земле, что мне там делать?

– Как окажешься на земле, сделаешь все свои дела, сходи в дом моего друга Лапат Мил Тапал Мила. Посмотри, что делает Семь Шапок Имеющий, Семь Шапок Загнувший, посмотри, как он живет. Если не примет тебя мой друг, если не посмотрит он на тебя, иди в самый конец города. В последнем доме на краю города живет другой мой друг Сорнен Лэцтан, Золотое Точило. Он всегда напоит тебя чаем, обогреет, поможет.

Взял Турам Аши красиво сплетенную, изящно изготовленную железную цепочку, и спустил по ней своего старшего сына на грешную землю. Спустился старший сын вниз, на землю, осматривается: то ли город перед ним, то ли стойбище перед ним, кругом люди ходят. Идет он по городу, идет он по улице, ведут его ноги к указанному отцом дому. В самом центре города ищет он видный дом, самый богатый дом Лапат Мил Тапал Мила. Раз отец направил туда, значит, надо зайти к его другу. Подходит он в центр города, видит, дом стоит, новый, красивый да ладный, издали дом виден, словно светом окутан вокруг. Постучал в двери богатого жилища, вошел внутрь. Семь Шапок Имеющий, Семь Шапок Загнувший с тремя сыновьями за столом сидят, едят, пьют. Богато стол накрыт, ломится от еды. В доме чего только нет, словно месяц освещает золотые, серебряные вещи хозяина. Что сукна, что шелков – всего достаточно, все блестит, все светится. Стоит в прихожей у двери старший сын Турам Аши, с ноги на ногу переступает. Никто не приглашает его в дом. Вспотел от стыда за хозяев старший сын Золотого Турама, но без приглашения хозяев не проходит дальше.

– Кто пришел? – спрашивает хозяин.

Хотя очень даже хорошо видит, что непростой человек в дом его вошел.

– Ты что, отец! – отвечает старший сын Лапат Мил Тапал Мила. – Разве не видишь, глаза твои пеленой разве закрыты? Сын Золотого Бога, отца нашего, пришел, надо его пригласить чай пить.

– Да пусть хоть старший сын Турама приходит, мне-то что? Когда мы еду эту добывали, он, что ли, нам помогал? Сон недосыпал, пока добро наживал, добывал! Не буду его угощать. Если ты что добыл, принес в дом, ты и пои его да корми, – говорит он своему старшему сыну.

Очень плохо стало старшему сыну Турама, краской стыд залил его лицо. Бочком, медленно продвигаясь, вышел он незаметно на улицу и вздохнул с облегчением. И вприпрыжку побежал, зашагал в конец города, в конец стойбища. Туда, где живет другой друг его отца, Золотое Точило. Пришел он к последним домам города, на самом краю стойбища видит бревенчатый домик. Один угол дома в землю ушел – вот-вот дом свалится! К самым дверям гость подошел и постучал тихонечко. Дверь открылась, из дому вышел старый человек.

– Кто пришел? Сынок, заходи в дом, заходи. Жена! Постели самую лучшую шкуру, что в доме осталась. В доме чуть тлеющий огонь в чувале разожги. Темно, ничего не видать. Откуда, сынок, пришел, из каких краев? Садись на почетное место, гостем будь. Давно у нас гостей не было.

– Я старший сын Турам Ащи.

– О! Боже! Кто нас, бедных, посетил! Сыночек, проходи, садись. Жена, шевелись быстрее, ты слышишь, кто к нам пришел! Все, что есть в доме, неси к столу, чаем гостя напои.

Старуха живо подбросила дров в чувал. Огонь осветил жилье. Бедно жили старики, истлевшие олени шкуры не держали тепла. Даже огонь в чувале не согревал жилье стариков. Старушка собрала к столу все съестные припасы, которые были в доме. Последнее отдала гостю, самим уже нечего было есть. Накормили, напоили они старшего сына Золотого Турама, старик и говорит:

– Были времена, Золотой Отец помогал нам, и мы жили хорошо да богато. Даже точило в те времена было у меня золотым, оттого и имя у меня такое – Золотое Точило. Видно, стали мы забывать Золотого Турама, перестали молитвы ему посылать, и жизнь теперь нас не радует. Перестал Отец нас замечать, дом мой покосился, бедность пришла в мое жилище, даже спать не на чем, шкуры не греют, еды нет. Мы рады, что старший сын Золотого Турама зашел к нам, порадовал нас своим присутствием.

Крепко обнял его старик, поцеловал. Провожая, на руках его на улицу вынес, чтобы ноги старшего сына Отца Турама не ступали на грешную землю. А дальше и не помнит, куда делся старший сын Бога – то ли по земле ушел, то ли по воздуху улетел.

Золотой Турам, Бог-Отец, по веревке вверх поднял своего сына. Пришли домой, отец спрашивает его:

– Ну, сынок, рассказывай, что в мире творится, как люди живут, что делают?

– Как живут люди, спрашиваешь? – с обидой отвечает сын. – Лапат Мил Тапал Мил, наверное, тебе и друг, а мне уж точно нет. Пришел к ним, зашел в дом, сидят они за столом, едят, пьют. Стоял, стоял у порога, весь вспотел от стыда за них, наконец, заметил меня его старший сын. Говорит, сын Отца нашего пришел, пригласите его к столу. Друг твой рассердился, говорит, да пусть хоть старший сын Турама приходит, какое мне до него дело: когда я добро наживал, не он помогал мне, своими руками все добывал.

Говорит Бог-Отец:

– Сынок, да разве я людям помогаю? И что, так и не пригласили к столу?

– Нет, отец. Вышел я потихоньку из дому, пошел к твоему другу Золотому Точилу. Дошел до самого конца деревни, кое-как нашел маленькую избушку. До того покосилась лачуга, что наполовину в землю ушла. Друг твой Сорнен Лэцтан обрадовался мне, пригласил меня в дом. Видно, богато жил когда-то, но теперь в городе он последний бедняк. Даже чувал его дом не обогревает, до того все обветшало. Последние припасы еды достали и меня угостили. Рассказал Сорнен Лэцтан о том, как раньше, когда Бог-Отец помогал им, даже точило его было золотым. А сейчас, видимо, не вспоминаю Отца Великого, оттого и обнищали мы, говорит он.

Дальше живут Золотой Отец Турам со своими сыновьями. Долго ли жили, коротко ли жили, кто знает, только дети Великого Турама все развлекаются, все играют. Говорит Сорни Турам Ащи среднему сыну:

– Сынок, сходи на землю, посмотри, как люди живут, заодно к другу моему зайди, к Лапат Милу Тапал Милу. А на обратном пути зайди к Сорнен Лэцтан. Чем они, интересно, занимаются?

Как и старший брат, средний ответил:

– Я бы пошел, но не знаю дорогу на землю, нет у меня лестницы такой высоты, чтобы к ним спуститься.

– Не твоя это забота, – говорит Сорни Турам. – На землю тебя я спущу.

Взял он витую, ажурную серебряную цепочку и спустил среднего сына на землю. Видит средний сын: город перед ним большой, стойбище перед ним большое. В самом центре велел ему отец искать дом Лапат Мил Тапал Мила. Нашел самый видный дом в центре города. Правда, не такой уж он и богатый, как брат старший говорил, не такой уж и видный, не такой уж и красивый, дом как дом, ничего удивительного. Стоит возле дверей средний сын Великого Турама. Хозяин с тремя сыновьями за столом сидят, никто его не приглашает пройти в дом. Хозяин недовольно спрашивает:

– Кто там пришел?

Средний сын Лапат Мил Тапал Мила отвечает:

– Не видишь разве? Это же средний сын Великого Турама, надо пригласить его к столу, напоить, накормить.

Отец страшно рассердился:

– Если ты добывал пищу, тогда приглашай, но твоего тут ничего нет. Когда я добро свое наживал, он мне разве помогал?

От стыда за людей средний сын Великого Турама потихоньку из дома выскользнул и пошел к берегу на край города. В самом конце дом стоит. Не такой и старый, и вовсе он не ушел в землю одним углом, дом как дом. Постучал в двери.

– Кто пришел? – ответил хозяин. – Проходи, гостем будешь.

– Я пришел, – говорит средний сын Золотого Турама.

Обрадовался старик. В чувал дров хозяйка подбросила. В доме тепло, уютно. Жена Золотого Точила стол ставит, в доме чего только не хватает, все есть. Угощают, поят, кормят дорогого гостя хозяева, нарадоваться не могут среднему сыну Великого Турама. А как стали прощаться, обнял, поцеловал сына Великого Турама и на руках из дому вынес, чтобы ноги среднего сына Великого Турама по грешной земле не ступали. А на улице, видит, никого на руках нет. То ли по земле ушел, то ли по воздуху улетел гость. Исчез.

Вытянул Сорни Турам среднего сына на небеса за густые облака. Расспрашивает его:

– Ну, рассказывай, как живут люди на земле. Чем занимаются? Заходил ли в гости к моим друзьям? Видел ли Лапат Мил Тапал Мила? Здоров ли мой друг Золотое Точило?

– На земле все хорошо, люди живут, кто радуется, кто горюет. Заходил к твоему другу Тапал Мил Лапат Милу. Зашел, стою у порога, никто не хочет замечать меня, наконец, хозяин спрашивает, кто к нему пришел, средний сын твоего друга говорит: «Разве не узнаешь, отец, это же сын Сорни Турама, давай к столу его пригласим». Но Лапат Мил Тапал Мил так сильно рассердился на сына! Говорит: «Когда я добро свое наживал, мне Великий Турам не помогал. Если что-то ты добывал, ты и корми». От стыда я вышел из дому и пошел ко второму твоему другу. Золотое Точило живет благополучно. Дом его хоть и не новый, но вполне хороший. Живут они с женой в достатке, не нуждаются. В доме тепло, уютно. Обрадовались старики моему приходу, накормили, напоили. Друг твой помолодел, как птенец осенней поры на крыльях прыгает. А когда провожали, Золотое Точило на руках меня вынес.

Отец Турам говорит:

– Вот видите, сыновья, люди думают, что может Турам? Я смотрю на людей по их достоинству. На худого человека не могу смотреть, на хорошего человека приятно посмотреть.

Так и живут Бог Турам со своими сыновьями. Сыновья развлекаются, Сорни Турам Ащи за порядком на земле да на небе присматривает. Надоело однажды смотреть отцу на бездельников-сыновей, говорит он им:

– Хватит вам развлекаться! Сынок, – обращается к младшему, – надо на землю сходить, посмотреть, как живут люди, чем они занимаются. Заодно к моим друзьям загляни. Как они себя чувствуют?

– Да я бы спустился на землю, но не знаю, как, – отвечает младший сын.

– Это не твоя забота, это моя забота.

Взял он красивую, изящно сплетенную золотую цепочку и спустил сына вниз, к людям. Спустился младший сын на землю, видит: город как город, улицы как улицы. Пошел искать самый

богатый, самый видный дом в городе. Кое-как нашел дом отцовского друга Лапат Мил Тапал Мила. Дом старенький, невзрачный. Робко постучал он в двери и вошел. Хозяин с сыновьями по разным углам сидят, не разговаривают друг другом. Вчера братья говорили, Лапат Мил Тапал Мил видный, красивый, счастливый мужчина. Младший сын не заметил ни недостатка в доме, ни счастья.

Самый младший сын хозяина говорит:

— Сын Великого Турама пришел. Отец! Может, поздороваешься?

— Чего это я должен здороваться? Когда в достатке жил, никто мне не помогал. Сам наживал добро, Бог, что ли, мне помогал? А сейчас на голых нарах сижу, Бог, что ли, поможет? Куда все пропало, никак не пойму. Не Бог же прибрал все, что я нажил? Он на небесах сидит за густыми облаками, нас не видит, мы его не видим.

Стыдно стало за людей младшему сыну Великого Турама, развернулся он и с облегчением вышел из этого негостеприимного дома. Легко зашагал в самый конец города, туда, где живет Золотое Точило. Издалека он увидел красивый, светлый дом. Издали свет исходил от него, тепло исходило от жилища. Подошел к дому, постучал в двери.

— Кто там? — спрашивает Сорнен Лэцтан.

— Это я, младший сын Отца Великого Турама.

Золотое Точило от радости подпрыгнул, к священному углу сбежал, достал с полка сукна красного, сукна синего, и на пол дорожку из сукна раскинул, расстелил. А как зашел младший сын Великого Бога, на руки его подхватил и на самое почетное место усадил. Кормили, поили, всяческие почести оказывали. Говорит Золотой Лэцтан:

— Раньше мы жили бедно-бедно. Гнилые углы дома даже огонь в чувале не согревал. Есть нечего было, перебивались с хлеба на воду. Сколько ни трудились, все бесполезно, ничего не могли заработать. А сейчас, ты только погляди! Не успеем мы руки к чему-то приложить, уже все есть, всего достаточно. С каждым днем в доме все богаче да лучше. Даже точило мое вновь стало золотым. И вправду Бог есть на свете! Придешь домой, передай отцу мои слова.

Стал собираться домой младший сын Великого Турама, Сорнен Лэцтан на руки его взял, чтобы младший сын Великого Турама на землю грешную не ступал. Обнял, поцеловал его, а куда потом исчез младший сын Золотого Отца, не помнит, не знает. То ли по земле ушел, то ли по воздуху улетел. Приходит домой младший сын Сорни Турам Ащи, спрашивает его отец:

— Как живут люди на земле, чем заняты?

— Хорошо на земле, все благополучно. Сходил к твоему другу Семь Шапок Имеющему, Семь Шапок Загнувшему. В самом центре кое-как нашел его дом. Ничего издали не светится, не виден дом Лапат Мил Тапал Мила, как говорили старшие братья. Зашел к ним в дом, сидят по четырем углам хозяин с сыновьями. Не видать у них богатого стола, нет богатого жилища, как говорили мои старшие братья, бедностью светится из каждого угла. Хозяин дома даже здороваться не стал со мною. От стыда потихоньку выскользнул на улицу да в конец города решил идти, к другу твоему Сорнен Лэцтан. Издали дом его увидел. Окна светятся, дом новый, красивый. Только в дом вошел, под мои ноги сукна красные, сукна синие расстелили, разложили. Стол богатый накрыли, накормили, напоили. Сорнен Лэцтан говорит, что раньше у него только мыши по углам бегали да пыль по углам собиралась. В нищете да в бедности жили. А с тех пор, как приходил старший сын Великого Турама, откуда только что в доме появилось. И тепло, и сытно. Так и передай отцу, говорит, оказывается, и вправду Бог на земле есть и он людям помогает. Надо только почитать его да молиться ему. А как уходить собрался, на руках меня вынес.

— И вправду, — говорит Великий Турам. — С этих пор на земле, где ханты будут жить, умные, думающие люди хорошо будут жить, а глупые, нехорошие люди бедствовать будут. С молитвами люди пусть живут, молитвы пусть в небеса отправляют. Русский человек пусть по своим обычаям живет, ханты человек пусть по хантйским обычаям живет. Так должно быть. Людей не я мучаю, они сами себя мучают. Все.

СВАДЕБНЫЙ АРГИШ

Было уже довольно поздно, ближе к полуночи, когда на окраине Сан-гимгорта, маленького таежного поселения хантыйских охотников, спрятавшегося среди могучих кедров, явственно послышался звон колокольчиков, предвещавших движущееся стадо оленей. Впереди шли три оленьи упряжки, в каждую из которой было запряжено по три быка. Видно, путь их был неблизким: на капошонах каюров застыл иней, одежда побелела от изморози.

Приближалась весенняя пора, дни в месяце малого наста становились все длиннее, в природе заново зарождалась жизнь. Пока же стояли ясные морозные дни. Ярко сверкали в бездонной ночи, в блеклой темноте небесные звезды и, хотя зародившаяся краюшка месяца не освещала путникам дорогу к маленькой незаметной среди снегов деревне, многочисленные светила, как бы благословляя людей в пути, освещали каждый куст, заваленный за долгую зиму плотным снегом.

Люди в избах прислушивались к звукам колокольчиков, по гулкому топоту многочисленных животных жители догадались, что это оленье стадо. Наверняка движется свадебный аргиш, весной – это обычное явление. Но к кому он завернет, чей дом будет принимать гостей? Невест в Сангимгорте много, и чье же девичье сердце сегодня запоеет колокольчиком? И запоеет ли? Оленьи упряжки передвигались по едва заметным тропинкам от избы к избе. Дома словно прятались в темноте между ветвистых раскидистых кедров, запорошенных затвердевшим за зиму снегом, ничем не выдавая своего присутствия, под белоснежными шапками кедрача. Скоро каюр уверенно остановился у дома старика Юхура. Небольшой уютный двор, возле приземистой избушки высятся три хозяйственных лабаз. С девой стороны на одной ноге, с крутой лесенкой, стоит лабаз с запасами продуктов. Справа от двери, на высоком кедре, уютно расположилось хранилище для вещей. А позади дома крепко стоит на трех ногах священный лабаз, куда нет доступа ни для одной женщины.

В избушке, кроме самого старика, не было мужчин, зато невесты подрастали одна за другой. И никто не удивился, что аргиш остановился у их двора. Люди в деревне с завистью при-

слушивались к лаю собак, доносившемуся от избы Юхура. Приехали прошлогодние гости с Оби, значит договор о невесте у них в силе. И сегодня они пригнали стадо оленей – выкуп за невесту. Но за которую?

Гости тщательно отряхивали заиндевевшую одежду, привязывали оленей, не торопясь их распрягать: кто знает, как встретят хозяева?

Громко скрипнула в морозной ночи дверь, выпуская клубы теплого пара, из дому вышел человек в легкой домашней малице и неторопливо направился к гостям, полный внутреннего достоинства и спокойствия.

– Вуся улат. Здравствуйте! Как ехали, олени как?

– Вуся ула! Ханам! Благополучно приехали.

Обратное приветствие говорило о том, что гости не раздумали родниться. «Ханам» обозначает родственные отношения людей, которых породнили дети, создавшие семьи. Над крышей старика Юхура из трубы чувала-печи повалил дымок с крупными разлетающимися искрами. Растопку сделали сухими березовыми дровами. Береза хорошо дает жар, и чайник вскипает моментально.

– Пусть гости зайдут в дом, ночь морозная, дорога дальняя, – произнес в ответ Юхур.

Также немногословные, приехавшие женщина и двое мужчин, отряхнувшись, стали уверенно освобождать оленей от нарядной свадебной упряжи. Уставшие за долгий путь олени тут же легли возле нарт. Еще раз скрипнула дверь, и теперь, уже по устоявшемуся веками обычаю, вслед за мужчиной через определенное время вышла женщина, лицо ее было прикрыто цветастым хантыйским платком с длинными кистями, никаких эмоций на ее лице заметить было невозможно. Хозяйка дома и гости молча совершили тройной поцелуй приветствия.

– Вуся ула!

– Вуся, вуся! Пусть гостя заходит в дом.

Женщины, тихонечко переговариваясь, направились к дверям. Открыв дверь избы, приехавшая почувствовала гостеприимный, теплый и сладкий запах дыма, исходивший от только что затопленного чувала. У низенького окошка с левой стороны чувала горела керосиновая лампа, которая освещала присут-

вующих в помещении. У огня хозяйничала рослая, статная девушка, ей уже в самую пору ожидать сватов, иначе ради нее женихи уж точно не заедут в их дом. Лицо ее было прикрыто платком. У столика, вынимая чашки для чая из посудного ящичка и быстро передвигаясь от хозяйственных полок к столу, издавая звуки, похожие на смех, распорядилась длиннокосая, с непокрытой головой девочка лет шестнадцати. Девушка, что находилась возле чувала, быстро накинула на себя ягушку и, закутавшись в платок, юркнула мимо гостей за дверь. Буквально сразу же, гостя еще не успела снять дорожную, нарядную ягушку, она вошла обратно с охапкой дров. Подтопила чувал пахнущими морозом дровами.

На нарах сидела девочка лет двенадцати, спешно прятая куклы. Малышка внимательно, зоркими глазами наблюдала за гостьей, которую мама пригласила сесть на нары в женской стороне. Оглядевшись, Кева-ватнэ увидела на мужской половине дома еще одну девочку, лет тринадцати-четырнадцати.

— За этой еще не скоро приедут женихи, — подумала гостя. — В мужской половине сидит, еще ребенок, как и младшая. А вот старшие в самом соку, которая же моя невестка? Уж точно не черноволосая красавица у столика, ведь взрослая, и не стесняется, даже на голову платок не накинула! — подумала она. Почему-то к этой девушке у нее сразу возникла неприязнь. Наверно, вот та, что у чувала котел готовит, вон и чайник у нее уже вскипел, расторопная. Такая моему сыну точно подойдет. А платком, хоть и не закрывает лицо, волосы прикрыла и не вертится, и лицом ни разу не повернулась в сторону взрослых. Еще одна девушка, полностью закрыв лицо, сидела за чувалом, так и не взглянув ни разу на гостей. На ее коленях лежала старая оленья шкурка, а ее длинные косы с металлическими украшениями издавали звук в такт ее движениям. Она деловито и умело снимала шкуру с беличьей тушки. Рядом с ней лежала небольшая горка мяса. Рыжие шкурки она быстро натягивала на специальные узенькие досочки. Работы у нее было еще много, видно, у охотника сегодня был удачный день. Возраст девушки выдавали руки — натруженные, жесткие и в то же время ловкие и умелые. Видимо, среди сестер она и была самой старшей.

Взгляд гостя вновь остановился на мужской половине, когда вошли мужчины, хозяин с ее мужем и сватом. Девочка, что находилась на мужской половине, отодвинулась в самый угол, освобождая гостям место, и чуть отвернулась к стене. Взяла в руки орнаменты, вырезанные из лап оленьей летней шкуры, видимо, отложенные в момент приезда гостей. Уже почти готовые узоры для подола ягушки длинной лентой свешивались с ее колен. Иголочка же, изящно мелькая в ее правой руке, быстро входила в золотистый мех, делая стежок за стежком. Задумчивое, доброе личико девочки иногда расплывалось в улыбке, наверное, вспоминала дневные девчоночьи радости в кругу сестричек.

Ее игла, стучаясь о стальной, широкий хантыйский наперсток, плотно обхвативший указательный палец, издавала мелодичный звон. Орнамент, отсвечивая от керосиновой лампы, теплой меховой ажурной лентой поблескивал черно-белым цветом.

Тут перед гостями поставили низенький обеденный столик, вплотную придвигая его ближе к коленям, чтобы было удобно брать пищу. Никто из девочек, кроме младшенькой, не был приглашен к столу. Двенадцатилетняя девочка, весело щебеча, как птичка, дала повод для разговора между взрослыми, и односложные вопросы-ответы плавно перешли в беседу.

— Как нынче на Урале? Благополучно добрались до леса, волков не много было? — спрашивал Юхур.

— Волков-то нынче мало было, особо не беспокоили нас. А вот в мохнатой ягушке мужчина замучил нас, — отвечал широколицый гость. — Без огня не обходились, много оленей увел. Нынче у русского друга-купца ружье на мех красных лис выменял. Ох! Здорово шумело ружье. Боятся хищники близко подойти, от звука его бегут. Под осень, когда обратно путь держали, взял грех на душу, завалил одного: близко к стойбищу подошел. Играть, танцевать не стали, некогда было, но обряд как надо совершили, вроде ничего не упустили, не забыли. Вот только на один день остановились в пути, кажись, грех вышел, самое меньшее пять дней надо было почести оказывать, да торопились к перевалу, непогода за Уралом начиналась, — вздохнул гость. Дорогу заметет, тоже плохо, оленей берегли, — вторил ему сват, весело, с шумом втягивавший чай с блюдца. Юхур, с детства знающий все обычаи, связанные с промыслом медведя, да и сам

не раз добывавший хозяина тайги, понял, что оленеводы действительно не сумели соблюсти много условностей.

– Ну да, это их дело, – думал, прихлебывая ароматный чай с блюдца, хозяин дома.

Женщины тоже переговаривались, чуть отвернувшись от мужской половины стола, прикрывая лица с их стороны цветастыми платками.

Голову гостьи, Кеватнэ, прикрывала дорогая, цветастая шаль с длинными кистями, купленная на Оби у русских купцов. Хозяйка дома Суппосланнэ успела накинуть на голову шелковый платок, вышитый летом.

– Красиво шьет твоя дочь, орнамент ровный, шов, словно следы маленького зайчика, который быстро убегает от росомахи. Видно, мастерицей будет знатной.

– Любит Кунават эвие шить, только свет забрезжит в окошечке, так сразу к своим орнаментам, как будто невидимой жилкой привязали ее к игле. В прошлом году старшеньким, каждой по ягушке смастерила. Кисы для сестричек с мельчайшими орнаментами шьет, словно следы горносталя мелькают в снегу, такая она у меня старательная. Бывает, отец ругает Кунават эвие, отправляет заниматься делами по хозяйству, а она сидит себе, словно и не слышит его, ничего не делает по дому, а я и не заставляю, маленькая еще. Придет пора, быстро привыкнет к женской работе, она у меня смышленая.

У старших-то моих не лежит сердце к шитью. Если бы не младшенькая, все бы в лохмотьях ходили, иглу в руки ни за что не хотят брать. А она из всего зимнюю шубу – ягушку может сшить. Из беличьих шкурок, из утиных головок – и не лень ей собирать эти лоскутки – из шкурок оленьего лба такой «тучан» – женский мешочек для рукоделья смастерит, любо посмотреть. И чем меньше лоскутков, тем искусней его выкладывает на своем изделии.

Каждый кусочек меха в доме прибирает, прямо сносу нет. Прошлой зимой отец песцов добыл, уж очень их много было. Так доченька моя, – рассказывала Суппосланнэ – оказывается, все лапки от шкурок отрезала. Ох, разгневала она отца. Никогда таким не видела старика, бушевал и пенился, как волны на Оби во время шторма.

Купец потом не хотел принимать мех, говорит, испорченные шкурки. Старик выменял охапку белоснежных шкурок за один мешок муки.

А девочка моя ягушку с узорами меньшенькой смастерила. Все соседи удивлялись: мягкая, пушистая, беленькая, как первый снег на речке Куноват. Орнамент так и играет, глаз не оторвать.

– Старшая-то, видно, у тебя расторопная?

– Парску у меня все больше в лесу, да и когда ей шить, отец наш уже стар, в лес, в урманы дальние – тайгу, богатую диким зверем, теперь не ходит. Старшенькие мясо заготавливают и лося тоже добывают сами. Соболя бьют, белок вон нынче много в тайге. Кедр хороший урожай в это лето дал, а звери, птицы чуют, где пищи достаточно. Каждый день Парску добывает зверьков на весь мужской пояс.

Пока женщины беседовали, закончилось время чая, и мужчины вышли немного остыть на морозный воздух.

Кеватнэ из-за своей цветастой шали зорко наблюдала за девушками... Вот мелькнули черные косы Ели, непокрытые платком, она скоро и быстро убрала чайный столик и стала накрывать горячее. Котел был уже готов, и молчаливая Татьяна ни разу не оглянувшись на гостей, присев на корточки, вынимала ароматное белижье мясо в длинную деревянную чашу – «хуван». Гости даже мельком не удалось увидеть черты лица девушки.

– Которая же моя невестка? – непрерывно сверлила ее мысль. Лишь бы не эта егоза, которая так и мелькает с непокрытой головой перед мужчинами. Смуглые щеки Ели покрывал густой здоровый румянец цвета спелой брусники. Было видно, что она входила в пору своего девичества, подвижная, веселая и совершенно непохожая яркой, смелой красотой на своих покладистых сестер, и уж точно она распорядится этой красотой по своему усмотрению. Поди, старшая, – думала Кеватнэ, – уже выходит из возраста невесты, быстрее нужно избавляться от нее. Вон как ловко белок разделала. Но лицо-то какое хмурое, словно туча перед непогодой. Тяжело с такой невесткой в одном чуме. Руки-то вон какие, мужские, уж никак не приголубит моего сына.

А сердцем гостя все время останавливала свой взгляд на той, что возилась у чувала.

Девушка и с сестрами не переговаривалась. Стройный стан, плечи, склоненная головка прикрыты платком с длинными кистями. Словно лицо ее должно быть обращено только к огню. Хоть бы мельком, краешком повернулась! Освободившись от забот у чувала, Татьяна присела спиной к гостям на низенький стульчик и взяла в руки берестяной туюсок для воды, недавно изготовленный, орнаментов на нем еще не было. Кончиком ножа, скребя по бересте, она стала писать диковинные узоры с причудливыми птицами и животными, слегка смачивая то место, где водила лезвием по бересте. И коричневая основа изнаночной, внутренней стороны березовой коры приобретала желтый цвет, плавные линии орнамента на берестяном туюске превращались в чудную картину, главными героями которой были птицы, лесные зверьки: соболи, белки, горностаи.

Плотно поужинав, хозяева избушки стали укладывать своих гостей спать. В избушке наступила тишина, ни разговоров, ни предсвадебной суматохи. Все стали ждать следующего дня, когда разговор пойдет о самом главном, ради чего и проделали гости путь, длиной в несколько оленьих переходов, вместе со стадом условленных оленей.

Чуть только забрезжил рассвет, встала хозяйка дома Суппосланнэ и раздула огонь в очаге чувала. Девочки почти разом, кроме самых младших, тоже поднялись и одна за другой вышли из дому. Парску встала на широкие лыжины, обитые лосиной шкурой, и ушла проверять ловушки и петли, находившиеся вблизи от деревни. К весне куропатки возле речки табунами летают, да и лиса повадилась ходить в деревню, глядишь, в ловушку попадет.

Татья углубилась в ближайшую опушку леса, там у нее был заготовлен лес для дров. Веселая, неугомонная Еля, подшучивая над сестрами, взяла берестяные туюса для воды и убежала к живуну, незамерзающему источнику на краю деревни, там с утра обязательно собираются шаловливые девушки. На этот раз она скоро вернулась домой. И пока мать доставала угощенье, быстренько собрала гостям столик для завтрака.

После утреннего густого, настоящего на таежных травах чая, веселый сват прочистил горло:

– Охе, хе, хе – в прошлом году в это же время приезжали мы в гости в ваш гостеприимный дом, в котором в заточении сидят глухарки, не видя света солнечного. Одну из них обещали оленеводу удачливому, кочующему в Приобской тундре. Условие со стороны жениха мы выполнили. Долог был наш путь до Куновата, но быстро добрались до реки, всего за четыре дня. У подъезда в Сангимгорт, на ягельной опушке стоят тридцать оленей. Теперь ждем ответа, которая же наша невестка?

В избе воцарилась такая тишина, что слышно было, как далеко на речке сосед долбит лед в проруби. Хозяин, который в прошлую весну с легкостью обещал отдать любую из дочерей, почему-то долго молчал.

Только стук иглы Кунаватэвие об металлический наперсток – чок, чок, чок – нарушал угрожающую тишину. Наконец, хозяин дома начал говорить, видно было, что он уже стар, сухим шепотом, не терпящим никаких возражений, голосом который ни разу не дрогнул, он сказал:

– Лето думал над своим обещанием, осень думал, вот и зима прошла, и снова бог Турам к весне повернул природу. Стар я уже. Все думаю, на кого я оставляю своих дочерей, дом, случись что со мной. Нет у меня сыновей, нет кормильца, который бы принес с урманов мясо, наловил в реке рыбу. Старшую Парску, помощницу, кормилицу хотел отдать. Отдам ее при одном условии, зять должен войти в дом невесты, а не невеста к нему. А иначе...

Отец жениха хмуро шевельнулся на оленьей шкуре. Кеватнэ, не скрывая чувства досады и возмущения, охнула: «Да как же так, не было такого уговора!»

Хозяин ждал ответа мужчин, сидя так же спокойно, как и говорил. Растерявшийся сват глянул на отца жениха и только раскрывал беззвучно рот, как рыба, выкинутая на песчаный берег.

– Только сирота входит в дом тестя, – выдавил оленевод. – Мой же сын при отце и матери и имеет свои шесты для чума, свои нюки возит в грузовых нартах, грех такому парню при живых родителях входить в дом жены. У тебя еще две дочери на выданье, любую из них возьмем. Сердце Кеватнэ радостно

запрыгало в груди, не откажется она от молчаливой Татьи, уже и сердце за это короткое время прикипело к ней материнской любовью.

А сыну пора жениться, не могла она одна кочевать с мужчинами-тундровиками, ох, много хлопот с ними. Оленеводу ежедневно надо сушить меховую обувь, часто рвутся кисы, и чинить их приходится почти ежедневно. Ох, и много бегают ее мужчины по тундре вслед за оленем. Тяжело одной, нужна помощница.

И опять заговорил старый Юхур: «Татья в доме помощница матери, никак без нее. У Ели характер, только посмеется, в лес сбежит, а в свадебную нарту не сядет, знаю ее».

Возмущенная Кеватнэ, редко прислушивавшаяся к слову мужа и к мужскому мнению, напомнила:

— Ханам, мы, как обещали, пригнали тридцать оленей к твоим урманам. Подарки для всех привезли: и сукно, и шелк лежат в моих дорожных нартах, отдай Татью и породнимся с миром. Молчала Суппосланнэ, зная тяжелый характер своего старика, она уже поняла, другого ответа не даст. Ему ни подарков, ни оленей не нужно, кому их пасти без мужчины? А на стороне, в других руках держать, все равно, что чужие будут, пропадут.

Юхур ики кашлянул и твердо сказал: «Мужское слово во второй раз не повторю. Не хочет ваш сын зайти в мой дом, другой зайдет. Будем ждать». И почти в шутку сказал: «А хотите, берите Кунават эвие, все равно толку от нее никакого, одни убытки», — видно, надолго засела обида на дочь за обесцененных прошлогодних песцов.

Ахнула под своим платком Суппосланнэ: «Да что ты, старик, говоришь, грех какой, ребенок она, еще на мужской половине сидящая. Не отдам дочку!»

— А тебя, женщина, никто не спрашивает, молчи, не давал тебе слово, — резко осадил старик сникшую жену.

Кеватнэ, содрогнувшись от услышанного, долго не могла прийти в себя, но, хорошенько подумав под прикрытым платком, как халей, который спрятал голову под крыло, ожидая добычу, решила: «Такая мастерица в чуме не помеха, а что молода, так не страшно, сама буду учить Кунават эвие хозяйству, глядишь, и вырастет когда. А помощница в чуме нужна. Ничего,

сын подождет год-другой, не гнать же оленей назад в четыре дня пути, они и не выдержат, по пути все свалятся: дело к весне, они и так отошали. В дороге и ягеля-то не найдешь: не одна упряжка, почти стадо, пока доберемся в таежные урманы, все равно погибнут». И все было решено в считанные минуты.

Кеватнэ, как халей, в красивом белом оперении, но хищник в душе, быстро дала добро, пока никто не передумал, она берет девочку. Суппосланнэ из-за жгучих слез и боли в сердце промолчала, обрадованный Юхур и успокоившаяся Кеватнэ быстро договорились друг с другом, при чудовищном решении двух сторон, они как обские ненасытные халеи уже готовы были разорвать свою добычу. Остальные же молчали, не подавая признаков жизни, словно и не было их в избушке.

Кунават эвие не прислушивалась к разговору взрослых, тихая улыбка освещала ее нежное личико, и стежки один за другим мерно бежали за ее иголкой.

Суппосланнэ, осмелившись, объяснила случившееся дочери. Кунават эвие, словно проснувшись ото сна, широко распахнув глаза, вздрогнула, пронзительно вскрикнула и, как маленький нахохлившийся гусенок, бросилась к ней в объятия, желая спрятаться под теплым материнским крылом. Она долго молчала, а Суппосланнэ слышала сердцем всю огромную боль, разом поселившуюся в маленькой груди молчаливой девочки. Съевшись, вся превратившаяся в комочек горя, Кунават эвие чуть слышно проронила, еще на что-то надеясь:

— Анги, не отдавай меня. Я знаю, сестра ждала гостей, она согласна, только не говорила никому. Уже от третьего жениха отказывается. Она уже устала ждать своего счастья. Мама, скажи отцу, пусть пожалеет меня, я не хочу уходить из нашего дома. Пусть он отдаст Парску.

Но мать только крепче прижимала дочь к застывшей груди, знала, муж все решил и никогда не изменит своего мнения...

К обеду в дом вернулись Татья и Еля, чуть позже с богатой добычей зашла Парску. И, услышав похоронный плач сестренки и матери, все поняла. Потемнело лицо старшенькой, зло глянув из-под платка на отца, с грохотом бросила дичь возле чувала и выскочила из дома, ставшим для нее мрачным заточением, обратно на улицу, где солнце, не замечая горя девичьего сердца,

светлым лучиком ласково коснулось ее потемневшего от негодования лица. Но она этого даже не заметила. Солнечные лучики скользнули дальше на ветки берез, заблестели серебряными капельками воды на длинных сосульках, свисавших с крыши домов и высоких лабазов, стоящих на высоких ножках вокруг дома. Весна затяжной будет, шептали длинноногие сосульки, сердце девичье не скоро отойдет от обиды. Схватив лыжи, Парску побежала в дальние урманы, где было множество теплых охотничьих избушек. Она переждет свое горе там, в светлой весенней тайге, далеко от дома, от упрямого отца и бессловесной матери...

На следующий день после вялого невестиного свадебного стола и без особого азарта забитого у священного лабаза в честь нее оленя, соседи, приглашенные на такое событие, узнав об очередной выходке Юхура, вышив крови и поев свежего мяса, быстро разошлись по своим домам. Каждый нашел пищу для обсуждения и разговоров на целый год. Такое не скоро забудется: полный дом невест, а выдать замуж девочку, еще сидящую на мужской половине! Суппосланнэ и две ее дочери укладывали свадебный аргиш Кунават эвие. Кеваватнэ внимательно наблюдала, какое приданое дают за девочку. Придаться было не к чему. И постель, и посуда, и берестяные покрывки для чума, все было в порядке. А ягушки! На загляденье!

Вывели из дому невесту. Даже в меховой ягушке слепой мог увидеть хрупкое тельце ребенка, а не женщины. Покрытую сразу тремя слоями платков, — верхний предназначался духам рода будущего мужа, — с закрытым лицом ее усадили в свадебную нарту, под нарядной накидкой, которую она сама же вышивала для старшей сестры. А теперь сестры именно ее почему-то собирают в дальнюю дорогу.

От непрерывных слез и щемящей тоски молчаливая Татьяна, собиравшая в дальний путь пожитки сестренки, уже ничего не чувствовала: ни обиды на родителей, ни злости, только беспрестанно жалела худенькую, рыдающую мать и застывшую, как льдинка, сестричку. словно на похороны собирались. А не невесту рядили в богатый чум. Даже веселая Еля утирала набегавшие жгучие слезы и, все старалась что-то шепнуть Кунават эвие. Татьяна, так и не показав своего лица гостям, молча склады-

вала приданое — платки, кисы, ягушки, нарядные женские платья, еран хир — мешок для одежды и обуви, тучан — мешочек для рукоделья, вещи любимой сестренки. Она знала, пока отец не дожидется зятя в свой дом, ни за что не отдаст и ее замуж. Но найдется ли такой мужчина или сирота, что заменит отцу сына? Три раза объехала невестина нарта вокруг оси, чтобы не было возврата невесты обратно в девичий дом, и свадебный аргиш тронулся в путь. Сама свекровь везла бесчувственную Кунават эвие. Девочка же сидела без движений, как деревянный идол, застыв за спиной свекрови, ни слова не проронила больше, не ответила на поцелуй матери, сестер.

У Кеваватнэ бешено колотилось сердце от гнева на Юхура, так легко продавшего дочь, на всех новых родственников, но и она молчала.

«В хозяйстве все пригодится, и невеста-подросток тоже», — думала она. Четыре дня пути пролетели для Кеваватнэ мимолетно, как ни растягивай мысли, а все приходит им конец. Под вечер пятого дня приехали в Вульгорт. На лесной опушке в ряд стояли три чума. Весело залаяли собаки, учуяв своих, над шестами чумов появился дымок.

Хозяева распрягали оленей, снимали отяжелевшую кожаную упряжь оленей, отряхивали одежду от изморози. И только Кунават эвие молча, затаившись, как напуганный таежный зверек, не двигалась в нарте. Наконец, когда мужчины уже вошли в чум, к ней приблизились свекровь и соседка по чуму. Лицо Кеваватнэ уже не прикрывала тяжелая шаль, лишь накинутый на волосы легкий платок. Она взяла под руку Кунават эвие, с другой стороны подхватила соседка, и они повели ее к чуму. Еще не подняв покрывку от входа в чум, свекровь прошептала на ухо невестке: «В этом чуме, покрытом нюками из оленьих шкур, ты будешь жить так, как сама устроишь свое гнездышко. Будет в нем холодно, если в твоём сердце будет лед, и будет в нем тепло, если в сердце твоём будет гореть огонь». С этими словами свекровь широко откинула покрывку чумового входа. Жених, сидевший в мужской половине, шевельнулся. От волнения он опустил взгляд на свои кисы, сшитые из белоснежных оленьих лап, перевязанные ниже колен яркой шерстяной повязкой.

И все же, когда с невесты убрали слой платков и сняли нарядную, из черно-белого неблюя ягушку, он поднял незаметно взгляд и вскрикнул:

«Анки, так это девочка, она же ребенок! Мама, кого ты привезла»? Кеватнэ молча усаживала невестку. Достала из дорожных мешков Кунават эвие семейный полог и повесила его за спиной сына. Не проронив ни слова, подвела под руку дрожащую, как таежный зайчонок, девочку и усадила рядом с сыном. Занесла с невестиной нарты ее столик и стала готовить невестин ужин. Но обычаю, заведенному не ею, она достала продукты из невестиной продуктовой нарты. Здесь было все: и рыба, и мясо, даже хлеб, шумах – рыба, вяленная на солнце и затем обжаренная на огне, незатейливые сладости, болотная морошка, лесная голубика, брусника, травы и березовая чага для чая. Была припасена и священная вода для богов рода Сорьехан ех, предназначенная для первой молитвы в доме жениха о благополучной жизни девушки в чужой еще для нее семье. Все это накрывала сама свекровь и соседки по чуму. Ни звука, ни разговоров, тишина, будто в чум покойницу привезли, а не невесту. Только огонь отчего-то весело потрескивал в очаге. Он с жаром облизывал большой черный закопченный чайник, чугунный котел с оленьим мясом, висевший тут же на шесте, прикрепленный на двух рогатинах.

Огонь сполохами освещал вечерний, просторный чум, играл яркими язычками, пытаясь заглянуть под закрытое платком лицо невесты. Именно она теперь будет пробуждать ежедневно его жизнь. Какая она хозяйка, какие дрова, какую растопку приготовит для огня? Вот что было интересно веселому пламени в чуме жениха.

Накрыв столик, Кеватнэ придвинула его в угол, где находились духи семьи. И только, когда закипел чайник, свекровь подняла низенький столик, перенесла его на новую семейную половину, поставив к коленям жениха и невесты. Пригласила молчаливого мужа, соседей угоститься.

Трудно давался ей разговор, голос ее прерывался, от волнения чарка в ее руке дрогнула:

– Сынок! Так получилось, боги дали тебе в жены совсем девочку. Потерпи год, может, другой, Охшаман хоятэн («человек в

платке», жена) станет хозяйкой в чуме. Я видела, какая она мастерица, от такой невесты грех отказываться, и я привезла ее в свой чум, в твою половину хозяйкой, мне невесткой, помощницей в чуме.

Она пригубила горькую водку. Но сердце все не отходило, словно обманули ее, а не сама соглашалась на страшный грех...

Как только над дымоходом забрезжил блеклый рассвет дня, Кеватнэ, так и не отдохнувшая за ночь, уже готовая было по привычке подняться с постели, чтобы разжечь огонь в очаге, услышала шорох на второй половине чума. Худенькая, почти незаметная в предутренних сумерках, Кунават эвие, накинув на себя старенькую ягушку, подошла к очагу чума, присев на корточки перед кострищем, положила на самую его сердцевину серебряную монетку. Губы ее слегка дрожали, но она шептала: «Богиня огня! Прошу тебя, прими мой дар, теперь я буду каждое утро будить тебя. Я буду очень стараться, растопка и дрова всегда будут сухими, только прими меня у своего очага». Затем разгребла нежными пальчиками золу и, найдя еще тлеющий уголек, поднесла к нему тоненькую сухую пластинку бересты, слегка подула на уголек, словно целовала его, и тот обрадованно вздохнул, весело лизнул сухую мягкую бересту и запыхал ярким пламенем в руках Кунават эвие. Улыбнулась и сама девочка.

Разведя огонь, новая хозяйка очага выскользнула из чума.

Вопросы и задания

1. Выполните анализ сказки З. В. Лонгортовой «Золотой Бог-отец».
2. За какой грех наказана героиня сказки З. В. Лонгортовой «Плохая мать»? Можно ли оправдать поступок юной матери, отправившей ребенка в люльке на льдине? Аргументируйте свой ответ.
3. Можно ли отнести сказку З. В. Лонгортовой «Ведьма и Сказочница» к волшебной сказке? Обоснуйте свой ответ.
4. Составьте сравнительную характеристику Порнэ и Мощнэ по сказке З. В. Лонгортовой «Ведьма и Сказочница». Какие элементы традиционной культуры ханты встретились в этой сказке?

5. Какие сказочные приемы можно выделить в сказке З. В. Лонгортовой «С неба спустившаяся девушка»?

6. Согласны ли вы с утверждением героя сказки З. В. Лонгортовой «Золотой Бог-отец»: «С этих пор на земле, где ханты будут жить, умные, думающие люди хорошо будут жить, а глупые, нехорошие люди бедствовать будут. С молитвой люди пусть живут, молитвы пусть в небеса отправляют. Русский человек пусть по своим обычаям живет, ханты человек пусть по хантйским обычаям живет»? Обоснуйте свою точку зрения.

7. Назовите основную тему рассказа З. В. Лонгортовой «Свадебный аргиш».

8. Составьте характеристику членов семьи Юхура по рассказу З. В. Лонгортовой «Свадебный аргиш».

9. Чем руководствовались Юхур и Кеватнэ в выборе невесты?

10. С какими традициями хантйского народа знакомится читатель на страницах рассказа З. В. Лонгортовой «Свадебный аргиш»?

11. Определите сюжет и композицию рассказа З. В. Лонгортовой «Свадебный аргиш».

12. Выпишите из текста этнографизмы, составьте их классификацию.

13. Можно ли утверждать, что решение Юхура сделало несчастными всех членов его семьи? Обоснуйте свое мнение.

ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА ШУЛЬГИНА

МОЙ БЕЛЫЙ СТИХ

Словно белая вьюга
Закружит меня
В вальсе восторга,
В неслыханных звуках.
Снежные хлопья,
Как белые шали
Ложатся на плечи
Тоскою незримой.
В вальсе восторга
Шелками накроюсь,
В любовных стихах.
В вальсе восторга
Сети накинута,
В тине искупаюсь,
В чистых озерах
Светлое слово найду.
В вальсе восторга,
В неслыханных звуках,
Белые хлопья,
Как легкие перья
Накроют меня,
Таинством слов,
Магией сна...

ВЬЮГА

Снова память меня унесет
Милым детским годам:
Слышатся стоны,
Лампадные тени,
Скрежет за дверью.
Вьюга стучится в окно,

Заплачет, завоет,
Затихнет чуть-чуть
И с новою силою
В гневном порыве,
В снежной пучине
Завертится бал.
Словно нечистая сила
Закружится в вальсе
В кромешном аду.
Правит балом вьюга,
Вьюга с северных морей.
В страхе прячусь,
Завернувшись в шкуры,
Смотрю на спокойный
Мамин силуэт.
Огонь в печи, тепло...
Мама шьет кисы.
У меня проходит страх.
Не боюсь я вьюги,
Вьюги с северных морей!

О! ВЕСНА, ВЕСНА!

О! Весна, весна!
Какое пробуждение,
Какое чудо из чудес!
Как будто в первый раз,
Очарован видом,
Невесты молодой.
Дивный, нежный запах
Ведет меня на вальс.
Все в движении:
И небо, и земля,
Птичьи трели
Свадьбы – гул лесной.
И раскаты громовые!
Будоражат землю...
– Проснись, краса!
Весна пришла!

ОЧАГ ЛЮБВИ

Холодное дыхание реки
Окутало серым дымом
Поселок над рекой.
Лишь лай собак
Тревожит тишину.
Кое-где мерцают
Отсветы огня,
Это люди шлют
Привет друг другу
И путникам далеким.
Печка топится так жарко.
Седой старик сидит
И смотрит в пламя,
Как на пепелище...
Он полон дум
О превратностях судьбы.
И юноши в мечтаниях своих,
Что невозможное свершится.
И старухи мудрости
Своих преклонных лет
Оставляют внукам.
И муж, жена и сцены:
Трагедии, любви
И ласки, и прощения.
Над ними зритель и судья
Лишь только Бог один.
Еще последний домик,
Там мать, дитя
В ожидании шагов знакомых.
Огонь в печи
Тепло, уютно.
И это все очаг.
Очаг любви и наставления,
Надежды, веры и добра.

СМЕРТЬ

О, сколько слов земных:
Блаженных, милых, страстных,
Научных, светских и благих,
Таких обыденных, простых.
Но есть среди них одно,
Это слово смерть. С детских лет навеян,
Страшный образ:
Широкий, черный плащ,
Коса, глаза, пустых глазниц.
Ледящий душу твой приход.
Твоя дорога: плач, страдание, тоска,
Я ненавидела тебя,
Бежала в страхе,
Отгоня мысли.
Гналась вперед
За вечной жизнью.
Ведь жизнь,
Казалось мне, одна,
Одна в земной пыли.
В твоих сетях
Я путалась
И падала,
Рвалась вперед.
Ты шел за мною по пятам,
Вонзая стрелы боли.
Боль, как чистилище земное,
Озаряет путь.
И смерть –
Становится покоем.
Покой и сон...
И вновь рождение звезды.
И эта смена
Так торжественна и вечна!..

ЗОВ РЕКИ...

Обь, как величава
И прекрасна ты.
Здесь детство, юность
Пронеслись рекой.
Осталась память,
Боль, печаль, тоска...
Еще я в чреве
Матери родной
Любила слушать
Музыку волны твоей.
С рождения лодка
Была мне люлькой.
Колыбельной песней
Были крики чаек,
Комариный писк,
Плеск волны твоей.
Штормы, вьюги и ветра.
Кто не познал все это –
Тот не знает зов реки моей!

ЧЕРЕМУХА

Ох! Весна, весна,
Весенние деньки!
Засцвела черемуха,
На душе легко,
Взгляды страстные,
Поцелуи нежные.
Ох! Черемуха душистая,
Любовью одурманена,
На душе легко.
Хороши деньки весенние.
Страстные деньки.
Отцвела черемуха,
Улеглась душа...

ЖИЗНЬ

Жизнь? Жизнь?!
Что же она – это жизнь?
Вечный вопрос встает,
Сквозь призму столетий.
Это реальность и тайна,
Это день и ночь,
Это он и она,
Это любовь и ненависть,
Это приход и уход.
Все это – искры...
Творения – искры...
Вечные странники,
Вспыхивающие
И изумляющие
Лики времен.
Ищущие
И творящие
Волю свою,
Но вы
Не властны
Своим необузданным
Страстям!..
Вы – прах
И вечность!
Вы – Дух!
Блуждающий в Бардо...
Когда же вам
Достичь до Полноты?..
Тогда вопрос исчезнет
Будет просто Полнота!

ЖИЗНЬ – ЭТО РЕКА...

– Жизнь и реки – дар Небес!
Так мне деды говорили.
– Если хочешь ты познать

Жизнь своей реки,
Сходи к началу...
А начало где-то там
Со скалистых гор Алтая...
От начала до конца.
А конец где-то там,
На краешке земли...
И ты познаешь жизнь.
Жизнь, как река
Рождается, уходит
В вечность,
Чтоб родиться снова. –
Так мне деды говорили...

Вопросы и задания

1. Что такое «белый стих»?
2. Можно ли утверждать, что в лирике Л. Я. Шульгиной черемуха стала символом любви? Поясните свой ответ.
3. Выполните анализ стихотворения Л. Я. Шульгиной «Очаг любви».
4. Можно ли утверждать, что в лирике Л. Я. Шульгиной преобладают философские мотивы? Обоснуйте свою точку зрения.
5. Определите семантическое поле образа реки в поэзии Л. Я. Шульгиной.
6. Выполните сравнительный анализ стихотворений Л. Я. Шульгиной «Жизнь» и «Смерть».

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА НАКОВА (СЯЗИ)

КОГДА УЛЫБАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Шел путник...

Ранее, мартовское солнце, заняв свой трон на небосводе, играло на снегах наступающей весны, перекрашивая их белизну в разные краски. В это время молодой месяц, выгнувшийся спинкой прекрасного горностаю, радуясь своему росту, разглядывая земного путника, весело улыбался с небес... Человек в темных одеждах сначала шел медленно в проснувшемся утре наступающего дня. Взгляд был устремлен в даль, в ту даль, где виднелась седая шапка каменного великана Кев Йир. В нем любопытный месяц разглядел молодого парня. Когда путник щурился от яркого сияния, его глаза, вобравшие всю синь снегов, словно светились, излучая внутренний свет.

В целом в облике человека без труда можно было увидеть одновременно печать трагедии и нескрываемое свечение радости от встречи с новым и очень долгожданным моментом жизни — свободой...

Человек шел, шел и шел, останавливался, разглядывая окрестности, смотрел на небо, искал и гладил взглядом синь родных ему земель и рек в снегах. Временами снимал свою шапку-ушанку и слушал. Слушал каждый звук, каждый шелест, каждый трепет ветра, переходящие в мелодию родной земли. Он вдыхал свежесть снега, слышал его бодрый скрип под ногами и был твердо уверен, что земля, его породившая, также ждет его в свои щедрые объятия материнской любви, как могла бы ждать его Мама. Он шел и шел, а его путь сопровождали два вечных странника, живущие на небосводе — яркое весеннее Солнце и подобный белому горностаю молодой Месяц. Человек уходил все дальше и дальше, в глубину своей новой жизни, но страшная тяжесть поры неволи, скрепленная печатью памяти, непрощеным, наглым гостем, вривалась вновь приобретенную реальность свободы. ...

В страшный день суда, после объявления приговора, казалось, всю земную твердь и окружающие воды взяла в плен бес-

просветная сила тумана. На маленьком катерке он отплывал от берегов родного селения. Мелкий, колючий дождь осени уютным полотном покрывал палубу судна, ложился на укрывающий его от непогоды суконный гусь. Сквозь полотно тумана и дождя он пытался разглядеть берег родной Реки, который, теряясь и исчезая из виду в пелене силы осени, одиноко и сиротливо, и также промокая насквозь, провожал его в неизвестность. Рассматривая его густоту и насыщенность, подумалось: «А может быть я больше не вернусь, раз туман застилает путь и родные места?» Мокнувшие под дождем, еле державшиеся на ветках последние дрожащие листочки деревьев пытался сорвать грубой силой ветер Осени. В этом покрытом молочным покрывалом окружении ему казалось, что вселенский Туман, окутал все: Небо, Землю, сердца и разум людей. Туман сильнее и сильнее, торопливыми объятиями пытался запеленать, застлать глаза всему миру: в его широте, глубине, высоте. И никто, кроме самого юноши, никогда и не узнает, как раздираемо, подобно волчьей стае, рыдало глубоко внутри его сердце, и как скупые мужские слезы его растерзанной, растоптанной злосчастным случаем души застелят этот день его жизни.

...В такие сложные моменты, независимо от возраста, человеку всегда не хватает Мамы. Прикосновение ее нежных рук, гладящих его жесткие черные волосы, пряча от всего мира глубоко внутри своей памяти он всегда хранил в иконостасе своей души. Это самые сокровенные и дорогие моменты его жизни. В пору его военного детства, когда большая, большая вода залила всю округу, в месте, называемом Куртвол, что находится в протоке Сорам Ас, на возвышенности стояло много берестяных чумов. Кроме их семьи, неводить для дела Победы остались многие оленеводы. Бригадиром среди промышляющих неводом был Егор Иванович Рускаломов. Рядом стояли чумы Реври Василия, братьев Кондыгиных, Александра и Афанасия, и еще многих других. Жесткость военного времени требовала от людей выполнения плана по вылову рыбы. Когда изнуренные за целый день на солнцепеке рыбаки подъезжали к берегу, то специально назначенный человек проверял добытое за день, и если не хватало установленного вылова, то лодку тотчас отталкивали

от берега без разговоров, до выполнения экипажем своей определенной войной нормы.

В тех недолгих перерывах военного времени, когда Мама была свободна, маленький Акка очень любил ходить с ней на Морошковую поляну, на их нюром. Эти краткие мгновения, отпущенные свыше, щедро сыновьева и материнского счастья будут согревать его на пути многих жизненных холодов. Именно там, на этой Морошковой поляне он узнал, что в пору месяца Ледостава на Оби днем, освященным выпавшими снегами, он родился первенцем в семье своих молодых родителей Хорасангху Унтри и молодой, хрупкой девушки Пораватнэ Наталь, которая была сосватана с Лиственничного селения, что на Большой Оби. Имя Акке досталось от прадеда Атэлыи. Акка в переводе с ханты языка – старец, дед. Но его мама Наталья вкладывала в это имя свое понятие, свой материнский смысл, что ее младенец, ее малыш, ее долгожданный первенец очень похож на маленького несмышленьша олененка-окка. Особенно когда он стал вставать на еще некрепкие, дрожащие ножки и делать первые шаги на земле своих предков. Как и маленький олененок-окка, Акка лез везде, куда не разрешалось еще в его возрасте, но ласковые, самые добрые в мире руки Мама заботливо уберегали его. Позднее именно здесь, на любимой Маминой щедрой Морошковой поляне ее руки бережно стряхивали и убирали с его лица налетевшее комарье, будто она хотела защитить сына, своего дорогого первенца-птенчика не только от полчища гнуса, но и от многих внезапно врывающихся бедствий. Иногда, поправляя его платок, который покрывал не только голову, но и спину, ласкающим и очень пронизательным взглядом смотрела в глазки своего еще несмышленьша-сына, глядела, словно внутрь его и будто хотела что-то сказать или от чего-то предостеречь.

– Оми, омии, ты что-то хочешь спросить?

– М... м... нет, нет сыночек, просто смотрю и радуюсь, что у меня есть такой помощник...

Ее длинные, как смоль черные, подвязанные для удобства к поясу косы по-хантыйски были переплетены тесемками красного цвета. При движении металлические украшения на косах издавали мелодичные звуки, и образ Мама сливался в его детском воображении с понятиями добра и счастья. Еще тогда, в свои

младенческие годы он понял и научился различать, что у его Мама самое лучезарное лицо в этом мире. Независимо, светит солнце или нет, оно всегда сияло и излучало необычный внутренний свет, щедро переполненный маминым свечением любви и ласки. Трогая жесткие волосы своего мальчика, лаская его взглядом, она сорвала несколько переливающихся на солнце янтарных ягод и поднесла к его ротуку:

– Скоро, очень скоро, сыночек-птенчик мой, кончится эта большая беда, и жители нашего становья вновь пересядут из лодок в нарты. Жизнь для осевших в поселках потечет по мирному руслу, а мы вновь вернемся в свой олений мир.

Она задумчиво смотрела куда-то вдаль, будто пыталась что-то рассмотреть, при этом рукой все продолжала гладить по голове и по расправленному на всю спину платку своего малыша Акку.

На эту любимую его Мамою янтарную поляну маленький Акка будет приходить не раз с двоюродным братом Иосифом собирать наполненную соками земли, улыбающуюся солнцу морошку, цвет и свет которой, несмотря после на его прожитые годы, всегда будет напоминать сияние, исходящее от его Маминога лика...

Это самое излюбленное и дорогое его сердцу место на земле. Память будет не раз возвращать его сюда: златолиственной осенью, белой зимой, в пору первых капелей и морошковым летом. Именно здесь жизнь щедро качала его в колыбели апогея познания счастья, и здесь же он понял уязвимость и зыбкость этого мира...

В пору сильных морозов, в месяце длинных ночей, в их наполненное маминым теплом и сердцем зимнее стойбище вползет невидимый, скрытый от человеческого взгляда призрак смерти. Уродливыми лапами он разорвет целостность мира семьи и заберет в свои объятия нерукотворную красоту сердца Мама, умертвит ее плоть и душу. В тот страшный день превосходства Тьмы над Светом его беззаботный, детский мир, наполненный любовью самого дорогого на земле человека, разорвется, и бесприютное, не имеющие понятия милости, жалости сиротство безутешно покроет слезами жизнь ребенка...

...Солнце молодой весны уже успело согреть спину его телогрейки. Молодой человек все шел и шел, разглядывая и любясь нерукотворными пейзажами Творца. Вдруг навстречу ему через спину тальникового островка выехали две повозки. Верхом на лошадях сидели двое мужчин со звездами на шапках-ушанках. Поначалу юноша вздрогнул. Всадники недоверчивым взглядом оглядели путника, представившись, попросили документы. Молодой человек, расстегнув две верхние пуговицы греющей его почти два года одежды и, будто из глубокого нутра, вытащил и протянул самый важный для его жизни сейчас документ. Удостоверившись в их подлинности, люди в полушубках слезли с коней, один из них вытащил портсигар и предложили путнику закурить. Юноша отказался. Они спросили, в какую сторону он держит путь и ждет ли его где-кто. После непродолжительного разговора всадники вновь сели на коней, пожалели, что не в одну сторону и разошлись, разъехались – разъехались.

...Старые скрипящие доски нар, будто не выдерживая тяжести мыслей и участи ее хозяев, издавали стонущие звуки – скрежет сердечной боли многих обитателей тюремного барака. Рассвет медленно, как младенец, не понимающий меру дозволенного, вползал по бревенчатым стенам, играл лучами на испещренных морщинами, изнуренных невольничьим трудом лицах спавших людей. Лишь в глубине этого большого длинного дома, который стал свидетелем жизни его невольников, не спал Акка. Уже вторая весна из его девятнадцатилетней жизни будит его в ранний час своей веселой каплей в стенах промерзающего насквозь барака. Его мысли, его молодое желание жизни уводили его в родной олений мир, на берега своенравной горной Соби на Полярном Урале, где он, Акка, как и многие его сородичи, до появления на этой большой «501 стройке» века жил древним ритмом жизни, определенным свыше его народу. Мысли как предгрозовые облака находили одна на другую. Новые Снега два раза покрывали землю своими белыми одеяниями в пору его невольничьих лет. Ему казалось, что кроме него самого на этой большой земле его боль и большое сожаление о том, что не его первая тропа лыжни касалась чистоты первого снега, молчаливо и терпеливо разделяло Время.

Оно являло собой Веру, большую Веру, что обязательно, обязательно где-то там «вверху» разберутся в его деле, в том страшном деле, которого он не совершал. Лежа на «стонущих» от времени и бремени нарах, он наблюдал и размышлял о том, что лучи утреннего, весеннего света таили в себе большую силу, они пробуждали не только ото сна, а даже здесь, в темноте, сырости и в тесноте у многих обитателей мира невольников они выявляли как самые высшие человеческие черты характера, так и самые низменные.

Он знал и понимал в свои девятнадцать лет, что время все-таки и в то же время беспомощно в его воспоминаниях. Очень часто во сне и наяву он слышал звук того выстрела, того страшного подлого выстрела, похожего на звериный рев. Именно этот выстрел разделил его молодую, набирающую только цвет жизнь на два периода. В его тюремные сны приходила та маленькая девочка со смородиновой горсткой так и недоеденных ягод, и он далеко в глубине, в тайниках своей души, захлебываясь в слезах боли, пытался объяснить ей, что нет, нет его вины в ее смерти, и эта маленькая, содержащая в недрах себя горе и трагизм человеческой жизни пуля, разделившая прекрасный августовский день на время жизни и смерти, была не его, и вложена чужой рукой человека, которому пока так и не дано испытать земное понятие о человеческой совести.

Сколько раз прилетали и улетали птицы, сколько раз появлялась и падала листва деревьев, сколько раз выходили луна и солнце на небе, столько и пыталось его истерзанное душевными муками сердце найти оправдание человеческим слабостям того, из-за кого ему присуждены годы неволи. И именно там же, в иконостасе его души, жила Вера, что обязательно наступит тот очень жданный и желанный день освобождения.

Время не шло, а тянулось. Тюремная жизнь со своими волчьими законами помогла увидеть и познать как величие человеческого духа над плотью, так и несовершенство этого мира.

...Первые ноябрьские холода и морозы кое-как сковали в ледяные оковы талые воды Великой Оби. На белом, чистом снегу вступающей в свои права зимы для шпал новой дороги ее строители отдирали «кожу» с лиственниц. Их оголенные и отдирающиеся красным светом на солнце тела покрывали черной

смолой для будущих шпал. Темное, только что вставшее льдистое тело Вечнотекущей каждый день покрывали водой, которая за ночь по плану великих строителей должна замерзнуть. На это, не желающее податься человеческим желанием кое-как застывающее полотно воды-снега, укладывали рельсы, по которым должен был пройти паровоз от берега Семилиственничного селения к берегам Города на Мысу. Учитывая нежизненные сроки осужденных перевести паровоз предложили желающим испытать свое счастье, но даже в их среде, с их нечеловеческими сроками несвободы не оказалось тех, кто попытался бы разрешить вопрос неволи путем противоборства с силами природы. Лишь один, средних лет человек, срок которого преобладал над его крепостью мощи человеческих сил и лет жизни, вызвался на этот отчаянный шаг. За этот вынужденный, поистине героический поступок тюремное руководство обещало свободу невольнику после перегона поезда на другую сторону Оби.

Осторожный, ноябрьский рассвет, не торопясь, развевал тьму нового дня. Ленивое на поднятие предзимнее солнце своими лучами пыталось хоть чуть-чуть согреть обуглившиеся сердца людей в темных одеждах, что столпились у берега. Не-высокого роста, в очках, довольно хилого сложения человек, попрощавшись с собратьями по барaku, сняв с головы ушанку, сел в кабину паровоза, который должен был везти советское человечество к светлому будущему или потонуть и исчезнуть вместе с ним в темных, намытых трудом невольников и природой водах-льдах Вечнотекущей. Послышался долгожданный гул паровоза и никому – ни тюремному руководству, ни мерзнувшим строителям этой дороги не дано было знать – прощальный он или первый. Стук колес, гул машины и дальний треск льда над проложенными рельсами поперек тела замерзающей на долгую зиму Реки слышался, как сопротивляющийся рев природы над зыбким пространством невольника. Стоявшим неподалеку, успевшим попрощаться с ним сокамерникам, показалось время его в пути таким же долгим, как сроки их осуждения. Что пережил, что думал он в кабине, выкупая у случая жизни свободу, неведомо никому, кроме самого машиниста. Достигнув желанного противоположного берега Великой Реки, человек вышел из кабины паровоза, снял очки и ощутил, что

наконец-то за долгие годы томления в стесненных судьбой обстоятельствах он достиг самого себя, потерянного во времени Страх и Унижения. Это коротко-длинное пребывание в пути показалось ему самой главной дорогой в жизни, потому что позволило стряхнуть давящие его дух оковы плена и снять с глаз пелену заблуждения прошлого...

Действительно, руководство тюрьмы, несмотря на жесткость требований времени, исполнило свое слово и Перегнавшему Паровоз Великой Стройки, на достигнутом невероятными усилиями многих заключенных берегу было даровано продолжение Жизни...

...На белой, снежной фигуре великана Кев Йир, так величают ханты Старца Гор, солнечные лучи играли бликами и окрашивали его тело в различные оттенки весны. Издали, когда лучи оттеняли его снега, облик Каменного Старца виделся юноше строгим, неприступным из-за синевы его нарядов, а, когда же лучи переливались в его белизне и окрашивали его лик в веселые нежно-розовые оттенки весеннего солнцестояния, то в сиянии снегов Старца-Великана можно было увидеть радость долгожданной встречи с его внуком. Юноша шел и шел по мартовским снегам родной земли. Душа его ликовала в предвкушении встречи с близкими родными: с отцом, братом и сестрами. За спиной остались город Священного Мыса и мысли, одолевавшие его в долгие, невольничьи ночи...

Молодой месяц, выгнувшийся тоненькой ручкой котла, заглядывал через маленькие окна барака. Акка, размышляя над своей тюремной жизнью, ждал подъема. Рядом кашлял и ворочался на нарах старик ханты, по фамилии Емру, видать, тоже уже проснулся. Он не знал русского языка, потому что родился задолго до того, как в его лиственничном краю стали строить школы и обучать детей оленеводов русской грамоте. В своем родовом селении, что у Большой Оби в Поравате, и далеко за его пределами, он считался одним из самых уважаемых оленеводов и духовников. Не раз с многих близких и дальних окрестностей к нему приезжали зимой на оленях, летом на гребнях в поисках защиты и с верой на благоденствие и здравие. Не раз седой старец по просьбам сородичей отправлял свои молитвы и

заклинания в небесную высь. После кто-то получал долгожданное выздоровление, у кого-то росло поголовье оленей, а кому-то была ниспослана удача на промыслах.

Оказавшись в невольничьих лапах, умудренный жизнью старец очень часто спрашивал молодого Акку:

— Сынок, а сынок, может хоть ты знаешь, почему я здесь и так долго меня не отпускают?

Что мог ответить юноша? Пряча глаза, проглатывая ком в горле, испытывая стыд пред старостью... Несмотря на свои молодые годы, в которых ему пришлось вкусить горечь военного лихолетья, время «поры безвозвратного плена», сиротское детство, людскую подлость и предательство, жизнь была к нему благосклонна, хоть и оставляла глубокие рубцы переживаний в сердце, в схватках и борьбе жизненных перипетий она, жизнь, заставляла быть твердым и непокорным судьбе, ковала его дух.

Солнце достигло своего зенита. Путник остановился, снял с плеча рюкзак и достал из него скромный завтрак. Разворачивая его, он думал, как жизнь непредсказуема. Вчера из Города на Мысу с несколькими такими же, как он, под конвоем их повели через реку, в селение Семи Лиственниц для получения документов на освобождение. Проходя по длинным баракам тюрьмы, юноша заметил, что условия здесь более чудовищные, чем те, где он отбывал наказание. Ближе к вечеру вопрос выдачи документов разрешился. Весенние сумерки опустились на землю. Юноша, рассматривая окрестности селения, пошел в сторону реки. Вдруг его кто-то окликнул на родном ханты языке. Он очень удивился. Перед ним стоял пожилой человек, разговорился. Оказалось, что старик — зырянин, работал в оленеводстве, где близко общался с ханты и выучил их язык. Повидавший многое в своей жизни старец по одежкам определил, кто перед ним, спросил, куда держит путь и предложил переночевать, а рано по утру выйти в путь. Сейчас же, стоя на дороге, вытирая со лба пот, юноша мысленно благодарил посланного ему в помощь гостеприимного старца Витязева...

В один из поздних дней ноября, когда замерзающее на морозе солнце стало красным, и, словно уезжающая надолго Мама, хотело согреть своими лучами маленькие сердца всех одинаково обритых наголо тундровых ребятишек, их молодой учитель Анатолий Михайлович объяснял им знаки-письмена другого народа, рисуя их на доске.

Неведомо было тогда еще мальчику, что через многие годы он будет рассказывать своим детям и внукам о своем первом учителе, о Герое Советского Союза Анатолие Звереве, который в горниле войны ценой своей жизни во имя мирного будущего своих учеников повторил подвиг Александра Матросова.

В отличие от многих привезенных из стойбищ детей, Акке очень хотелось учиться и познать следы-письмена далеко и рядом живущих людей и народов. Листая страницы книг, которые им показывали в школе, маленькому Акке более всего нравилась картинка с изображением чудо-птицы-машины. Многие в их краях в те времена знали из висевшего в центре селения громкоговорителя о советском летчике Валерии Чкалове, перелетевшем на самолете через полюс вечного холода, и достигшего неизвестной пока малышу Америки. Поэтому детское воображение мальчика обязательно дорисовывало эту картинку с летающей чудо-птицей-машиной, что ею управляет самый смелый на земле Чкалов. Именно этот сюжет он старательно, чтобы не распозлись чернила, перенес на видное место в своей тетради. Акка тоже очень хотел посмотреть на землю с той высоты, куда поднимаются земные птицы, полюбоваться своей Мамой и увидеть с дальней небес самую быструю Папину упряжку. Ему очень нравилось, когда эту книгу с рисунками листала пухленькими пальчиками девочка Лувийиэви, сидевшая на парту впереди, с белым, сияющим как солнце личиком и с очень умными глазами. Акка был шалуном, поэтому, чтобы привлечь ее внимание, дергал, делал вид незнайки и спрашивал нужное задание, или обязательно находил какой-нибудь вопрос. В этом деле ему помогал родственник Пантя. Вместе они крепили кнопками ее тетрадки к парте, тем самым вызывая внимание к себе, но Лувийиэви своим мягким, спокойным взглядом умных глаз, с полуулыбкой, пухленькими пальчиками, больше похожими на

лапки маленьких щенят, открепляла тетрадь от парты. В моменты ее присутствия, наблюдая за ее смиренными стараниями, эти шалуны, которые еле слушали только строгие замечания учителя, робели, сгорая от стыда, и, испытывая неловкость, уже сами были готовы прийти на помощь. Эта девочка навсегда врезалась в Аккину память, и именно она после многих его жизненных передраг будет ниспослана ему Создателем как подарок судьбы уже в его взрослой жизни.

А пока он выводил в своей тетрадке очень трудно поддающиеся его руке знаки-следы целого слова. Неожиданно в окне он увидел своего Деда Павла, идущего по улице у школы. Малыш очень обрадовался, потому что его привезли в интернат задолго до того времени, как многочисленные олени стада покинули предгорья Урала. Сейчас детская непосредственность не могла удержать его на стуле, он стал стучать кулачком в окно деду, чтоб он увидел непоседу-внука, научившегося распознавать звуки и знаки другого языка. Мальчик, обрадовавшийся долгожданной встрече, рванулся к двери, но вдруг детское сердечко вздрогнуло, и он остановился. Вслед за Дедом семенил человек невысокого роста в черном полушубке, с пятиконечной звездой на шапке, догоняя его, толкал прикладом ружья. В душе мальчик весь съежился. Предчувствуя неладное, но еще не понимая этого, мальчик увидел, что на легендарном Дede не было ремня-пояса, украшенного вырезанными из мамонтовой кости украшениями и ножами. Обычно, приезжая из стойбища на своей белоснежной упряжке, Дед, решая свои поселковые дела, снимал капюшон малицы, но никогда не ходил по улице со снятым ремнем, это было не принято у ханты и поэтому это очень насторожило внука. Открылась дверь класса, и вошли какие-то люди, они смотрели в окно, как толкали Деда в спину дулом и прикладом ружья, уводили вдаль наступающих сумерек. Кто с тяжелым вздохом сочувствия, кто, не скрывая своего любопытства, произносил еще непонятные для маленького Акки выражения:

- Кулака ведут?
- Врага народа поймали?..

По чьим-то тяжелым вздохам и по еле слышной, невнятной речи взрослых мальчик понял – происходит что-то очень страшное, что бояться даже произносить вслух. Мальчик недоуменно посмотрел на взрослых, смахнув детской ручкой, появившийся от волнения пот, и перевел уже не по-детски серьезный, наполненный ужасом взгляд на удалявшихся в наступающих сумерках людей. Молчание смотревших из окна переполнило класс.

...Когда-то, будучи совсем юным, Павел слышал от своего деда Атэлийи, как во время поры поздней осени в петлю, поставленную для лосей, попала молодая важенка, рядом с ней оказался и ее олененок. Этой удаче на промысле молодой Атэлийи был очень рад. После, когда белые снега зимы сменяли свои наряды на темные проталины, а поднебесье огласилось звонкой мелодией текущих вешних вод, на свет появились маленькие оленията, матерью которых была Мощатамнынг – Пойманная, та, что однажды принесла удачу на охотничьей тропе деду Атэлийи. Именно эта удача и оказалась той отправной точкой благополучия для всего рода людей Ледяного селения, что издревле жили в месте Священного Изгиба Великой Реки. Немногочисленное вначале оленье поголовье умножалось с каждым годом рожденными по весне оленятами, и уже многочисленное стадо унаследует Павел.

Сквозь пелену запотевших окон и сквозь страх, слыша и чувствуя быстрый стук своего маленького сердца, Акка видел, но по хантыйским обычаям отвел свой взгляд с образа уходящего в неизвестность Деда. Тогда малыш еще не знал, что он будет свидетелем последних мгновений жизни деда на родной земле. И долгожданная, очень желанная встреча так и не состоится, перейдя навеки в последние мгновения прощания с Дедом...

Солнце перешагнуло через высоту своей дневной силы и перебиралось ближе к Уралу. Медленно, незаметно человеческому взгляду меняло дневной ярко-желтый наряд на вечерний – малиновый. Искристый снег под ногами стал издавать более четкие скрипучие звуки, словно запел песню наступающей весне. Путник все шел по узкой колее, проложенной полозьями нарт, саней, протоптанной упряжками оленей и копытами лошадей. Отливающая серебром кружевная льдистая вуаль покрыла обо-

чины дороги. Разглядывая окрестности с редкими тальниковыми зарослями, с дальними смешанными лесами, юноша думал, что и дорога похожа на человеческую судьбу, на жизнь, где пологие и крутые подъемы сменяются такими же спусками.

Остановился, стер пот со лба. Позади остался Луймас – бывшая «почтовая яма», которая располагалась на острове. В прошлом через нее проходила дорога, которая связывала большие и маленькие селения вдоль Оби. С западной стороны Луймас омывают воды Великой Реки, на востоке с ней соседствуют две протоки: Ларанг (Ершовая) и Харанг (Открытая), которая позже, когда берега Луймаса размывались весенним половодьем, изменила свое название на Харанг Ас, что значит Открытая Река. Сейчас, в пору снежной весны, Луймас был безлюдным и поэтому молчаливым, но народная память хранит много событий, связанных с этим местом.

Когда-то, во времена древних ханты, здесь жили две семьи. Промышляя лесных оленей, мужчины ушли по их следу. В доме остались две женщины – их жены с детьми. Та, что была по-старше, заготовила дрова на вечер и ночь, накормила ездовых собак, растопила снег для питья. Два дня прошло, как мужья ушли на охоту, и сегодня к вечеру они их ждали. Быстрые зимние сумерки опустились на одинокое селение, в чувале избы над огнем зашипел «вечерний котел», наполненный мясом. Пока старшая женщина справлялась по хозяйству, молодая, сидя на нарах, играя, грудью кормила младенца. Хохоча и щекоча ребенка, то давала ему сосок, то вытаскивала.

– Солнце уже село, – предупредила старшая.

Но та никак не хотела уgomониться. Не обращая внимания на слова, продолжала играть с малышом.

– Мужья наши ушли так давно и до сих пор не вернулись, темень опустилась на землю, ведь на закате солнца нельзя будить темные силы, – снова со вздохом предупредила старшая.

Но женщина, не внимая сказанному, держа на коленях ребенка, баловалась с ним.

Через завешенное снаружи оленьей шкурой окно в вечерней тишине послышался скрип снега. Женщины обрадовались, подумали, что это скольжение лыж их мужей. Но скрип быстро

приближался к двери и был очень громким. Они насторожились. Предчувствуя неладное, старшая женщина спрятала своего сына, спящего в берестяной люльке, в переднем углу за священным сундуком. Следы стали еще отчетливее.

– Вот и дождалась ты ночного гостя, – с укором в голосе сказала старшая.

Открылась дверь, и в дверном проеме появилась сначала большая волосатая рука, а потом и сам Куль – лесное чудище.

– В этом доме меня, похоже, очень ждали, – сказал он и, пригнувшись под низким потолком, прошел к нарам, которые за скрипели-заскулили под его тяжестью.

Глядя на него, та, что играла с ребенком, вся съежилась и забила в угол. Прикрывая по-хантыйски платком лицо, старшая женщина стала угощать позднего гостя тем, что у них было. В продолговатом деревянном блюде (хуван) поставила перед ним оленину. Куль брал мясо и, громко чавкая, быстро справлялся с содержимым. Женщина, вновь наполнив блюдо мясом, спрашивает ночного гостя:

– Йирэм ики (дедушка), не видел ли где наших мужей?

Куль, проглотив целиком мясо с костью, не торопясь, промолвил:

– Встречались мне вчера две маленькие птички. Одну ночь переночевали у Песчаного озера, а на другой день спустились к Черной реке и поплыли, больше я их не видел.

Уразумев смысл этих слов, скрывая слезы, она еще более прикрыла лицо платком. Мясо в блюде стало заканчиваться, а аппетит у куля все нарастал. Заметив это, женщина вышла в сени, где хранились запасы сунгхлант (мука из сушеных молотых рыб). Заодно она успела запрячь одну из ездовых собак. Куль очень быстро справился с сунгхлантом, поэтому она вышла еще раз за пищей и при этом успела запрячь вторую собаку. Перед тем как выйти последний раз на улицу, женщина незаметно вытащила спящего сына из-за священного сундучка, прикрыв его полкой меховой шубы (сах), вышла на улицу, где запрягла еще одну собаку и тронулась в путь. Съезжая с горы, услышала, что в доме раздались страшные крики. Погоня собак, вспотев от страха, оглянувшись, увидела, что Куль на взгорье, на дереве, развесил черепа молодой женщины и ее сына, а теперь со звери-

ным ревом гонится за ней. Уже слышно за спиной хрипкое, громкое дыхание, а лунный свет отражает его страшную тень с длинными руками впереди ее упряжки. Собаки, чую запах Куля и чувствуя страшную опасность, мчались, как бешеные, комья снега из-под их лап попадали в лицо женщины и застилали глаза. Спустившись в протоку Харанг, догоняемая волосатым, разъяренным Кулем, она укусила свой мизинец и взмахом окровавленной руки очертила крест на ночном сизо-синем снегу. Куль, бежавший в неистовой ярости и реве, стал заплетаться в своих ногах и в бессилии бросил ее преследовать.

Перебравшись на левый берег Великой Реки у лесного селения Суп, увидев людей, женщина упала без чувств.

Это событие, хорошо сохранившееся в общей предковой памяти жителей этих мест, и закрепилось в названии Луймас (луй – палец, мас – отдала). Впоследствии юноша не раз будет рассказывать эту поучительную историю своим неугомонным внукам, когда в вечернее время те сильно расшались.

Исконная жизнь ханты была всегда подчинена единому, вечному ритму природы. Когда долгие зимние холода сменялись весенними оттепелями, многочисленные олени стада, покидая зимние пастбища, перекочевывали через Великую Реку и держали свой путь через Тэнар (Лесной Урал) на места летних стоянок. Узкими серпантинами, петляющими между гор, проходили вековые тропы касланий древних ханты к предгорьям и горам Полярного Урала. Преодолевая сложный путь, оленеводы переплывались через бурные горные реки. Зная безопасные водные переходы (лухрамат), достигали необходимого местостояния, где олени были менее подвержены полчищу кровососущих.

А в это время на Оби, вслед за веселым гулом ледохода, в такт прорастающей зелени, вместе с устройством птичьих гнезд сюда, в Луймас, тянулись ханты на вертких калданках, на длинных, нагруженных домашним скарбом лодках (каяк). Некоторые из оленеводов оставляли своих оленей родственникам и до самой осени выезжали на вылов рыбы. Это особое время, когда земля меняет свои отяжелевшие за зиму наряды и вновь зарождается новая жизнь. Здесь, в древнем Луймасае, в новолуние устраивали большой праздник в честь нового промыслового перио-

да, новой энергии Великой Реки. Кровью жертвенного оленя, в некоторых случаях лошади, окропляли священные воды и землю. Просили благих дней для всего живого, милости в непогоду, чтоб не обходила стороной удача.

Юноша шел по снегам родной земли и удивлялся тому, как древние ханты умели давать точные названия тем местам, которые окружали их. Как и улицы городов, здесь все имело имя: незначительный изгиб реки, лиственничные взгорья, места больших водоворотов. По названиям, словно по книжке, можно было узнать, какие хантыйские рода здесь жили, каковы были их занятия. Пригревшись в теплых лучах, из-за осевших весенних сугробов выглядывал Пеншаркurt – летнее становье рода Тарымовых.

– Видимо, они знали тайны общения мира людей с миром тех сил, что есть за пределами обычных человеческих возможностей, поэтому умели хорошо обходиться со священным бубном, что и место так прозвали, – подумал юноша, – ведь зря названия землям, тем более такие, не дают.

Старый Пеншаркurt, улыбаясь светом сияющего снега, приветствовал путника, а тот в ответ слегка кивал головой, словно жал ему руку.

В прошлом в этих краях было немало умеющих держать в руках священный бубен. Они, в тяжелых духовных и физических муках постигнувшие тайну гармонии этого мира, знали молитвы древних врачующих заклинаний, умели взывать к высшим силам с просьбами о благополучии сородичей. Но пришла страшная пора лжесвидетельств и безвозвратного плена, когда смешались воедино и правда, и ложь. Многих забирали. Кого из-за большого поголовья оленей, кого за то, что он был шаманом, кого просто по доносу. Так, разрывая, ломая традиционные, вековые устои мира ханты, устанавливался новый миропорядок, единый для всех. Такие трагические перемены переживала вся большая страна, но здесь, в северных окраинах, все усугублялось тем, что большинство ханты не знали русского языка, не понимали, что от них требуют, за что забирают, что они натворили против своего народа, против своей земли. Новая система силы и безнаказанности, запугивая людей, топила в

крови волю немногочисленного народа, калеча и выколачивая сознание особо непокорных, строило им «светлое завтра»...

Сейчас юноша уже знал, что значит неволя и какое оно, вожделенное чувство свободы. Оказалось, это одна из самых главных жизненных ценностей, и ради нее люди готовы жертвовать самой жизнью.

В августовскую пору вода стояла еще большая. К берегу заливного сора Щангитам причалила лодка бригадиров Гурия Канева и Петра Кондыгина. После производственного собрания было решено кастать в протоку Ошаху, а Акка с несколькими рыбаками должен был отправиться на главную ниву – на Обь. С другом Макаром они попросили бригадиров их не разлучать. Но те и слышать не хотели. Тогда за юношу замолвил слово статный, седовласый фронтовик, зырянин Антон Федорович Вокуев:

– Молодая сила – это всегда хорошо, но молодым ведь познать скучно.

Старик говорил убедительно, и бригадиры не могли не согласиться с ним.

Вода в сору не убывала. Через какое-то время берестяные покрытия с чумов стали снимать, и длинные лодки рыбаков потянулись в сторону протоки Ошаху.

Добравшись до нужного промыслового места, стали выгружаться. Дети тащили мелкие вещи, а взрослые на берегу устанавливали из длинных жердей остовы чумов. В летнее время оружием не пользовались, но оно было с собой, поэтому сейчас черноволосый, крепкого телосложения, перепоясанный патрон-ташем Ульку, который был старше Акки и Макара, собрав ружья за ремешки, нес их в гору навстречу молодым людям.

Уже созрела смородина, переливаясь в лучах августовского солнца, она словно манила к себе. Две маленькие девчушки пяти и семи лет сновали у смородиновых кустов. У одной из них родители сейчас с оленями в горах и поэтому временно оставили ее здесь у бабушки. Девчушки, весело хохоча, играя, ненадолго приседали то у одного куста, то у другого. Ульку, рассматривая с любопытством Аккино ружье, зарядил его патроном, и пока все были заняты перетаскиванием вещей на берег, решил тай-

ком поохотиться, хотя была еще не пора. Где-то совсем рядом крякали утки, словно звали его.

Солнечный день. В небе ни облака. Звонкий детский смех переливался с щебетанием птиц и еле слышной тихой песней бегущей воды. Девчушки, удобно усевшись у самого края берега, о чем-то весело ворковали между собой, пухленькими детскими пальчиками срывали красные, наполненные соком земли ягоды, и с наслаждением подносили ко рту. Вдруг в воздухе раздался выстрел, один из кустов резко вздрогнул, а затем раздался молящий крик ребенка, и пурпурно-красные ягоды, словно кровавые слезы, стали падать на землю с маленькой детской ладони. Акка с Макаром побросали жерди и побежали на шум внезапного выстрела. Бездыханное детской тело с горсткой ягод в руке и кровавым следом на груди лежало у смородинового куста. Прибежали бригадиры:

– Кто же? Как же? Ой-е-ей! Беда-то, горе-то какое!

– Хилыем, эвием (внученька, доченька)! – со стоном, пряча горестные слезы, глядя ребенка по голове, поверженная внезапным горем, тихо под платком рыдала старая женщина.

В это время спрятавшийся в высокой траве Ульку, увидев, что натворил, бросил чужое ружье и побежал прочь от людей. А для Акки этот августовский день раскололся надвое. Еще утром солнце купало, нежило его в своих лучах, а вечерняя роса вместе с жителями становья уже захлебывалась в горьких слезах заката.

Потом был быстрый суд, где Улькины грамотные родственники, живущие в городе, в том числе один из бригадиров, он же главный свидетель, всеми мыслимыми и немыслимыми способами доказывали суду, что Ульке нет еще и восемнадцати, а ружье Акки было заряжено прежде.

Что мог доказать сирота? Кто мог за него заступиться в это запутанное послевоенное время? Родственники находились далеко, в предгорьях. Ясный августовский день навсегда врезался в память юноши кровавыми красками капающего с ладони мертвой девочки смородинового сока и убегающего от своего же страха и трусости Ульки. Может быть, именно эти дни вместе с постигнувшим его горем и пробудили в Акке большую внутреннюю силу, чтобы, несмотря на торжество страшной лжи,

клеветы и бессилие правды, не быть согбенным под дальнейшими ударами судьбы. Именно тогда Акка и вспомнит слова своего сгнувшего в небытии деда Павла о той поре, когда улыбаются звезды:

– Звезды улыбаются, внучек. Они и в правду улыбаются, сынок, когда хотят разделить с человеком счастье, переполняющее его сердце. Счастье настоящее, потому что им дано видеть с высоты небес все: нашу человеческую жизнь, плохое и хорошее. И если хоть раз в жизни они тебе улыбнутся, значит, ты действительно достоин такой высоты.

Дед у Акки был одарен разными талантами, он умел глубоко рассуждать и понимать многие тайны и скрытый смысл природы и разных явлений жизни. Судьба его была непроста. Даже жену ему сосватали необычную. Народная молва назвала ее Еманг Ими – Священная Женщина. Бабушку Акка никогда не видел, но ее жизнь, овеянная легендами, передавалась из уст в уста по дальним оленьим тропам, память о ней всегда жила на берегах Великой Реки.

Когда-то ее сосватали с красивого урманного правобережья Вечнотекущей, где у тихой речки Суптэнг жили и сейчас живут представители рода Нева. Среди густых лиственниц и пышных берез стояли островерхие чумы, а рядом бревенчатые лопасы (амбары на ногах). Из этих богатых дичью, густых лесистых мест ее увезли к хрустально чистым водам Соби, где горные речные перезвоны сливались с хорканьем оленей.

В этих краях редко рождались двойни, а она рожала, и в третьих родах, тоже с двойней, умерла, но история продлила ее посмертную жизнь. Об этом знали многие жители окрестных селений и стойбищ. Позднее на родине своей легендарной бабушки ему, Акке, покажут место, которое так и назовет людская молва – Еманг Ими Хотвол – Стоянка Чума (домовище) Священной Женщины.

Из рассказов деда Акка знал, что корни их рода очень крепкие. Когда-то в древности на их селение, что у Изгиба Священной Оби, напали недруги. Жители этих мест, его пращурь, защитили свои земли, обливая их склоны водой, которая превра-

щалась в ледяную крепость и не позволила неприятелям шагнуть на нее. Вот и стали называть их род Ледяного Селения.

...Солнце левым боком все приближалось к Уралу, уже так слепило глаза. Юноша взглянул на небо. Над самой его головой оно было высоким и синим, словно в пору его детства.

В Пулгавате – так ханты издавна называют Город на Священном Мысу – на взгорье расположен дом его крестного, зырянина Никкаса. Оттуда в детстве он очень любил разглядывать разливы Пулехана, которые в половодье сливались с водами Великой Реки. Казалось, их волны, после долгой зимней разлуки соединившись в крепких объятьях, минуя линию горизонта, поднимаются прямо в небо.

Оленьих стад в этих краях хватало, причем зачастую жили в одном стойбище как оленеводы ханты, так и зыряне, поэтому особых языковых барьеров не было. Крестный Никкас в прошлом работал в экспедиции в горах, ну а потом – в оленеводстве среди хантов. Как они с отцом познакомились, юноша не знал, но оба хорошо понимали друг друга и говорили как на хантыйском, так и на зырянском языках. В то время весь груз и людей возили на оленях как вверх по Оби, так и вниз. Зачастую это было по приказу, а не по доброй воле. Никкас с отцом юноши были молодыми, поэтому им очень нравилось узнавать новые дороги и видеть неведомые земли, и они не упускали возможности перевозить грузы и людей на оленях в Тобольск, в Надым, в Березово, в Воркуту. По возвращении рассказывали много интересных и смешных историй. Потом Никкас женился на русской женщине и остался жить в древнем Пулгавате. Своих детей у него не было, и он с теплотой и любовью относился к крестнику, понимал, как нелегко с малолетства остаться без матери.

Никкас два раза приходил в тюрьму к крестнику, но ни передачи, ни свидания не разрешили. Позднее, в один из морозных дней января, приехали отец со своим братом Елисеем, чтоб передать сыну теплые вещи. Свидания опять не разрешили, поэтому родных лиц юноша не видел, но было приятно и тепло, что в том большом мире, за стенами промерзшего тесного барака, за пределами кольца из колючей проволоки, есть люди, которые ждут. Именно эта мысль и согревала юношу на всем про-

тяжении срока, поэтому как только он вышел из Семилиственничного селения, сразу направился к своему крестному. Старик, увидев человека в своей ограде, сначала не узнал его. Юноша снял шапку и поздоровался по-хантыйски:

– Вуща ула! (Здравствуйте!)

Никкас остановился, словно онемел, потом узнал по голосу, засеменял по снегу, опираясь на палочку, подошел, крепко обнял крестника и все приговаривал:

– Ехатсан, лиланг, йикием (Вернулся, живой, сыночек)!

Провел рукой по колючей лысой голове. Голубые глаза старика заблестели, он словно помолодел и быстрой походкой повел юношу в дом. Сейчас, вспоминая своего крестного, радость встречи и утренний чай, он думал о незримом присутствии мамы.

В горах прошел дождь, из-за чего маленькие горные ручейки (тольпы), словно шалуны, с перезвоном прыгая с камня на камень, набирая силу, превращались в полноправные ручьи. Утро дышало прохладой. Вершины гор, окутанные туманом, выглядели седыми. Эти ранние часы здесь, в предгорьях, особенные. Все еще не тронут движением ритма дня: молчаливые, строгие лики гор, в морщинках которых еще лежат прошлогодние снега, зеленое-зеленое покрывало из кустарников, лишайников, а по краям горных ручьев – тальниковые заросли, в некоторых местах низко склоненные к самой воде. Время гнуса уже закончилось, потому дышалось легко. Берестяные покрытия чума, выгоревшие на солнце, были белыми-белыми, как ягель. В ручье лежат заготовленные папой детали будущей нарты. Длинные лиственничные полозья и подполозья нарт отмокали, чтоб лучше гнуться при работе.

У Акки был олененок окка, который остался один, поэтому они с мамой его выхаживали. У него были белые пятнышки на передних ногах, из-за чего и дали ему кличку Навикур. Специально для него собирали траву у ручьев, хвощ, ягель, поили ухой, ставили маленький чум, в котором разводили дымокур, защищавший окку от комаров. Когда Навикур окреп, завидев маленького хозяина издали, бежал и подставлял свою шею, чтоб его гладили. Молодые родители Наталь и Унтри молча, чтоб не вспугнуть тихое семейное счастье, смотрели на играющих детей – белоногого окку и Акку – и просто улыбались. Вечером, ко-

гда незаходящее за горизонт летнее светило пыталось сесть на плечи горных великанов, мама звала детей в чум. Конечно, у Акки было много детских неотложных дел. Но как послушаться?..

К «вечернему котлу» собирались все, кто жил в чуме и не был занят на окарауливании стада. Шла неторопливая беседа, можно было услышать древнее сказание из уст деда и интересную, поучительную историю дяди Елисея. Он был очень одаренным человеком, любой предмет словно оживал в его руках. Его сын Юхур был ровесником Акки. По приезде на новую стоянку они ставили свой общий детский чум, где, как и взрослые, рассказывали младшим какие-нибудь истории и сказки, услышанные от старших. Оба умели держать мастеровой нож и вырезать несложные предметы. Им, как старшим, разрешалось ходить за водой. В прозрачной воде горного ручья мелкие камешки смотрелись особо красиво. Усевшись на край каменистого берега, ребянтня наблюдала за быстрым течением. Большие валуны, распластавшиеся поперек ручья, все равно не могли остановить дыхание тольпы, а наоборот, ручей, еще больше бурля, озорно обтекал-обходил каменного лежебоку. Акка с Юхуром шалили, придумывали игры для младших, ловили своих «олешней» – расставленные рога, помогали своим тетушкам, дядюшкам – ведь жили в одном стойбище. Не было чужой радости, чужого горя, чужих детей, чужих стариков. Так было издавна устроено в жизни ханты – общее родовое воспитание. Единая боль и единое счастье. Маленькому человеку помогали не только родители, но и все те родственники, что жили в стойбище. Ведь традиционный хантыйский мир – это тесная связь неба, земли и всего живого, где одно не может существовать без другого, как ночь, которая сменяется утром, утро переходит в день, день в вечер, перетекающий в ночь, и так по кругу – все друг другу необходимы.

В дневные часы Акка часто заставлял маму за шитьем. Иголка и наперсток в ее руках превращали отдельные кусочки белого и черного меха в единый мир удивительного причудливого орнамента, но еще интереснее выглядели они на завершенных вещах – обуви, меховых шубах (сах). Иногда Акка садился рядом с мамой на нары и наблюдал за ее работой.

– Омие, омие, что ты шьешь?

– Кисы для папы твоего.

– А когда я вырасту и буду таким, как папа, кто мне будет шить обувь, одежду?

Мама вытатила тонкую сухожильную нить. Узким концом вдела в ушко иголки и, чуть подняв от удивления брови, улыбаясь, сказала:

– Ну как кто? Жена твоя.

– А где же я жену возьму, откуда?

Мама, отвечая на такие серьезные вопросы сына, заулыбалась еще больше. В такт мелодии иглы и наперстка, она, делая ровные стежки, словно вписывала его жизнь в изделие.

– У тебя будет добрая семья. Настанет время, и твой папа сделает онтап (колыбель) твоему первенцу. Семья – это очень важно. Нельзя человеку одному. Придет время, и ты, ай-е (мальш), будешь знать, как и твои деды, дядя, следы многих зверей, повадки птиц, знать нравы горных рек, маршруты наших касланий, читать время по звездам, знать направление ветров и будешь нести дальше честь своего древнего рода через добрые дела. Ты ведь мужчина, а на нем большая ответственность за семью, за род. Ты как передовой олень в упряжке, от которого зависит многое в пути. Помни об этом, ай-е (мальш), не торопись.

Она гладила его черные жесткие волосы, и сын засыпал от теплых прикосновений и ласковой, тихой мелодии ее слов.

Вдалеке, на взгорье, среди раскидистых крон деревьев, показались темные крыши приземистых хантыйских избушек. Их красно-коричневые бока отливались в лучах заходящего солнца, в воздухе потянуло сладковатым запахом бересты. Дорога стала еще более крепкой и широкой. Местные собаки, увидев человека в темных одеждах, стали громко лаять и бежали с собачьей яростью навстречу.

– Нави, Нави-й-и, Ляпа, Ляпа-е! – назвал юноша по кличке собак.

Те, услышав знакомую хантыйскую речь, завиляли хвостами, стали ластиться, прижиматься к ногам, будто и не они только что в бешеной ярости хотели наброситься. Вместе и поднялись в гору. Селение смотрело в сторону восхода, видать, днем хорошо прогревалось под лучами весеннего солнца, поэтому в некото-

рых местах была видна земля. На крышах домов висели прозрачные сосульки, которые сейчас, рассматривая путника, словно присмирели и застыли в своем движении.

Здесь, в этом маленьком селении Сось, жила его тетя Оккуля, сестра отца. Одна из собак, что отозвалась на кличку Ляпа, проводила путника прямо к дверям дома, стоящего среди молодого березняка. Юноше стало жарко, он расстегнул пуговицу своей телогрейки и вступил на крыльцо. Тетя Оккуля его сразу и не узнала, но когда он снял шапку, она, поправляя на голове платок, вымолвила:

– Апщии, нанг (Братик, ты)?

Бросив шитье, опершись на маленькую скамейку, встала.

– Акка, Акка! – всматриваясь в него, твердила она, – братик, живой, вернулся...

Трижды целуя, она радостно приветствовала его. Юноша прошел к нарам, ближе к окну, на полу лежала расстеленная без подклада меховая новая шуба, рядом – заготовленный рукав.

Пока Тетя Оккуля хлопотала у железной печи и за столом, пришли двоюродные братья Порака и Пантя. Их радости не было предела. Порака воевал, на войне он был снайпером, освобождал многие города в Европе, но особенно запомнился венгерский город Будапешт, с боями дошел он до самого Берлина и где-то там, на стенах Рейхстага, вычертил свою хантыйскую тамгу. Он поздно вернулся с войны, потому что помогал восстанавливать разрушенные города и часто очень звучно напевал: «Хороша-а-а страна Болга-а-рия, но Россия лучше всех...»

Тетя Оккуля поставила низенький хантыйский столик с угощениями.

– Апщиём, лингат ехатсан (Наконец-то, братик живой вернулся), – еще долго будет повторять тетя, словно не веря, что это на самом деле.

Она рассматривала его, провела рукой по жесткой, коротко стриженной голове.

– Кус кепа ехатсан (хоть вернулся).

Радость от встречи слышали старые стены дома, а веселый чайник на огне, булькая пузырями, ворковал, ведь и он тоже хотел помочь растопить эту долгую боль в грустных синих глазах юноши.

Отведав пышущее ароматом жаркое из оленины, попив до выступившего пота чай, Акка вместе с братьями решил пойти на стойбище к отцу, ведь это совсем недалеко, рядом.

На темно-синем небе появились звезды, а растущий месяц с таким же, как и утром, любопытством рассматривал не одного, а уже троих путников. Молодые березки, стоявшие вдоль дороги, застенчиво улыбаясь, перешептывались между собой и передавали одну и ту же счастливую, долгожданную весть:

– Наш Акка вернулся! Акка вернулся!

Несмотря на спустившиеся сумерки, от сияния звезд и месяца вся округа была залита сине-серебряным светом. Дышалось легко. Братья шли, наперебой рассказывая Акке последние новости, смеялись и радовались тому, что вновь они вместе.

Вот поворот в устье родной реки, по ней когда-то он, одинокий, отплывал ранним утром, и беспросветный туман, и слезы застилали, казалось, весь мир. У подножия большого склона с полуденной стороны раскинулось стойбище. Белый дым ровной струей поднимался над чумами. Внутри юноши все клокотало. Он взглянул вверх, а там переливались и ярко мерцали в темно-синей выси небес сопровождавшие его звезды, а чудные переливы северного сияния, поражая грацией движения таинственного танца, сливались в радости с растущим над становьем месяцем. Небесные светила глядели на юношу, он – на них, и память воспроизводила те далекие, но очень дорогие мудрые слова деда Павла:

– Есть такая, сынок, пора, когда улыбаются звезды, и ты обязательно будешь достоин этого. Они действительно улыбаются вместе с человеком, когда разделяют его счастье. Это и есть чудо – слияние земной человеческой радости с небесной...

Пройдет время, и эта река в звоне хрустальных волн запоет новую песню о своем славном сыне, который прославит высотой и чистотой душевных помыслов, трудом своим стать и красоту этой реки, и люди будут величать его Хозяином Горной Соби. И однажды один из его кареглазых внуков спросит:

– Йиры (деда), ну почему, почему же я такой маленький, почти не расту?

– Хилые (внучек), ведь не в этом дело, не это главное в жизни. Ты посмотри на меня, и я небольшого роста, зато многое познал в этом мире, и ты обязательно увидишь удивительно прекрасную пору, когда улыбаются звезды... а они и в правду улыбаются, внучек!

P.S Нежно-розовое оперение рассвета отражалось в плеске утренних волн, которые и поведали мне эту историю, а я пересказала ее вам.

Ноябрь 2007 г., Сыктывкар.

Вопросы и задания

1. Можно ли утверждать, что мотив дороги в произведении Ю.Н. Наковой сыграл важную роль в определении категорий времени и пространства в художественном тексте? Обоснуйте свой ответ.
2. Составьте характеристику главного героя произведения.
3. Определите жанр произведения Ю. Н. Наковой «Когда улыбаются звезды». Поясните свой ответ.
4. Какие тропы использует автор в пейзажных зарисовках произведения? Иллюстрируйте свой ответ примерами из текста.
5. Как вы думаете, зачем автор ввел в художественный текст произведения предание о Куле? Аргументируйте свою точку зрения.
6. Какие особенности традиционной жизни ханты нашли отражение в произведении Ю. Н. Наковой? Составьте классификацию этнографизмов, используемых автором в художественном тексте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айпин, Е. Д. В ожидании первого снега: Повести [Текст] / Е. Д. Айпин. – М. : Советская Россия, 1990. – 160 с.
2. Айпин, Е. Д. Клятвопреступник. Избранное: Роман и рассказы [Текст] / Е. Д. Айпин. – М. : Русло, 1993. – 423 с.
3. Айпин, Е. Д. Божья Матерь в кровавых снегах [Текст] / Е. Д. Айпин. – Екатеринбург : Пакрус, 2002. – 304 с.
4. Лонгортова, З. В. Свадебный аргиш [Текст] / З. В. Лонгортова // Встреча родов ханты. – Сургут : Сургутская типография, 2004. – С. 55–63.
5. Лонгортова, З. В. Монсянг мув. Земля сказок [Текст] / З. В. Лонгортова. – Салехард : Красный Север, 2008. – 112 с.
6. Шульгина, Л. Я. Мой белый стих [Текст] / Л. Я. Шульгина. – Салехард : Спецкнига, 2008. – 56 с.

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок

ХАНТЫЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебная хрестоматия

Часть IV

Составитель Косинцева Е. В.

Оригинал-макет подготовлен в ООО «Доминус»
Редактор, корректор Шарова П. С.
Верстка Семенов И. С.
Дизайн обложки Матвеева Н.

Подписано в печать 23.11.2011.
Формат 60x84/16. Гарнитура Times New Roman.
Усл. п. л. 24,1. Тираж 300 экз. Заказ № 11.

Отпечатано в ИП Шепелев
628012, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Ханты-Мансийск, ул. Крупской, 26.